Юрий Домбровский

собрание сочинений
в шести томах



том четвертый

5 6 * * *

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ *роман*

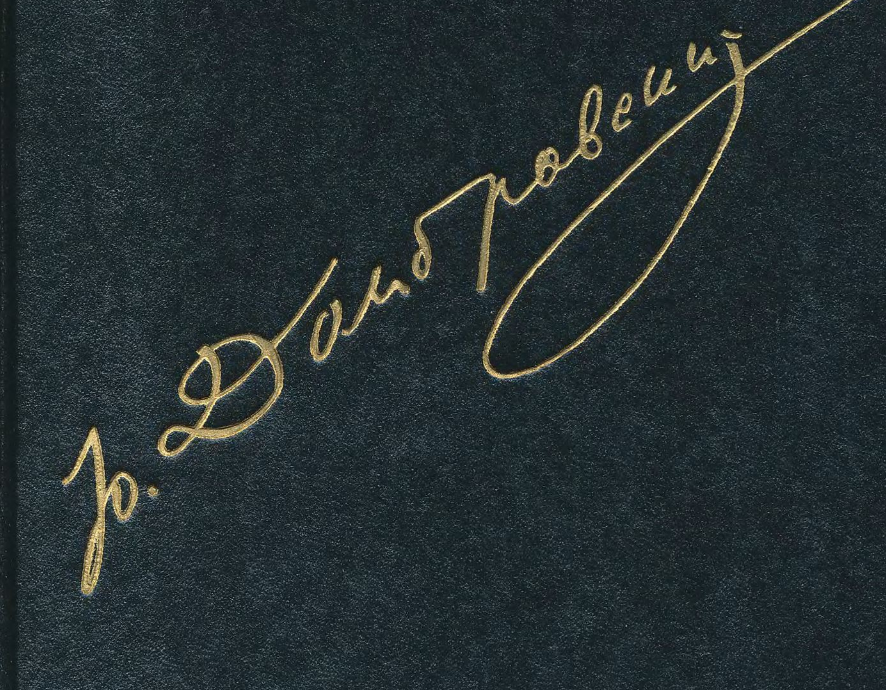
Юрий Домбровский



издательский центр «Терра»

4

Юрий Домбровский





Юрий Домбровский

собрание сочинений
в шести томах

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ••ТЕРРА••

Юрий Домбровский

собрание сочинений в шести томах



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ••ТЕРРА••

МОСКВА 1993

Юрий Домбровский

собрание сочинений *том* 4

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ

роман

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ••ТЕРРА••

МОСКВА 1993

ББК 84. Р7
Д 66

Редактор-составитель
К. Турумова-Домбровская

Художник
В. Виноградов

Д $\frac{4702010200\text{-}010}{А30(03)\text{-}93}$ **Подписное** **ББК 84. Р7**

ISBN 5-85255-262-3 (т. 4)
ISBN 5-85255-173-2

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ

роман

Памяти Файзулы Турумова,
героически погибшего 22 июня 1941 года
в Брестской крепости,
с почтением и благодарностью за его подвиг
посвящает автор.

”Теперь, наконец, мы оживаем, однако по природе человеческой лекарства действуют медленнее, чем болезни, и как тела наши растут медленно, а разрушаются быстро, так и таланты легче задушить, чем породить или даже оживить, ибо и бездействие тоже имеет свою сладость, и праздность, ненавистная сначала, тоже становится приятною.

Что же сказать, если в продолжение пятнадцати лет — великая часть жизни человеческой! — столько народу погибло по разным обстоятельствам, а даровитейшие по жестокости Вождя! — мы, немногие уцелевшие, пережили не только себя, но и других: ведь из нашей жизни исторгнуто столько лет, в течение которых молодые молча дошли до старости, а старики почти до самых границ человеческого возраста”.

Тацит. Жизнь Агриколы, 3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Впервые я увидел этот необычайный город, столь непохожий ни на один из городов в мире, в 1933 году и помню, как он меня тогда удивил.

Выезжал я из Москвы в ростепель, в хмурую и теплую погодку. То и дело моросил дождичек, и только-только начали набухать за заборами, на мокрых бульварах и в бутылках на подоконниках бурые податливые почки. Провожали меня с красными прутиками расцветшей вербы, потешными желтыми и белыми цветами ее, похожими на комочки пуха. Больше ничего не цвело. А здесь я сразу очутился среди южного лета. Цвело все, даже то, чему вообще цвести не положено,— развалившиеся заплоты (трава

била прямо из них), стены домов, крыши, лужи под желтой ряской, тротуары и мостовые.

Час стоял ранний, дорога предстояла дальняя. От станции до города меня довезли, а по городу надо было идти пешком. Но Алма-Ата спала, спросить дорогу было не у кого, и я двинулся наугад. Просто потому пошел, что лучше все-таки идти, чем стоять. Шел, шел, шел — прошел километра три и понял, что кружу на одном месте. Главное — не за что зацепиться глазом, все одинаково: глинобитные заборы, за ними аккуратные мазанки, редко белые, все больше синие и зеленые (потом я узнал, что здесь в белила хозяйки добавляют купорос); крепкие сибирские избы из кругляка, не закрытые, а прямо-таки забитые деревянными ставнями с черными болтами, кое-где рабочие бараки и желтые двухэтажные здания железнодорожного типа — с лестницами, балконами, застекленными террасами (только закончен Турксиб). И все это одинаково захлестнуто, погружено до крыш в сады. Сады везде. Один сад рос даже на мостовой: клумбы, газон, небольшой бетонный фонтанчик. Желтые тюльпаны, красные и сизые маки и тот необыкновенный цветок с черными глянцевитыми листьями, не то багровый, не то красно-фиолетовый, который алмаатинцы приносят из-под ледников и зовут ласково и почтительно по имени и отчеству — Марья Коревна (марьин корень, очевидно).

В другом месте, тоже прямо на мостовой, мне повстречалась рощица белых акаций. Просто повернул я за угол — и вдруг выбежала навстречу целая семья высоких, тонких, гибко изогнутых деревьев. "Восточные танцовщицы", — подумал я. И они в самом деле всем — лакированными багровыми иглами, перламутровыми сережками (точь-в-точь морские ракушки), кистями белых цветов (точь-в-точь свадебные покрывала), этой необычайной гибкостью напоминали танцующих девушек. От деревьев исходил сладкий, пряный запах, и он был так тяжел, что не плыл, а стоял в воздухе. Солнце еще не встало, а под

акациями уже трубили шмели и кружили большие белые бабочки.

Здесь я увидел, что зелень в этом городе расположена террасами, первый этаж — вот эти акации. Над акациями фруктовые сады, над садами тополя, а над тополями уже только горы да горные леса на них. Вот сады-то меня и путали больше всего: поди-ка разберись, где ты находишься, если весь город один сплошной сад,— сад яблоневый, сад урючный, сад вишневый, сад миндальный — цветы розовые, цветы белые, цветы кремовые.

А над садами тополя. Потом я узнал — они и есть в городе самое главное. Без них ни рассказать об Алма-Ате, ни подумать о ней невозможно. Они присутствовали при рождении города. Еще ни улиц, ни домов не было, а они уже были.

Весь город, дом за домом, квартал за кварталом, обсажен тополями. Нет такого окна в городе, высунувшись из которого ты не увидел бы прямо перед собой белый блестящий или черный морщинистый ствол. От Алма-Аты до Ташкента проходит большая дорога — день и ночь по ней мчатся грузовики. Но называется она не улица, не шоссе, не дорога, а просто — аллея. "Ташкентская аллея", — говорят алмаатинцы. И в самом деле, огромный сотнекилометровый тракт — всего-навсего только одна большая тополевая аллея.

Алма-атинский тополь — замечательное дерево. Он высок, прям и всегда почти совершенно неподвижен. Когда налетает буран, другие деревья, гудя, гнутся в дугу, а он едва-едва помахивает вершиной. Не дерево, а колоссальная триумфальная колонна на площади (не забудьте, каждому из этих великанов по доброй сотне лет). Но нет дерева более живого и говорливого, чем тополь. От самых корней до вершин он полон живой мелкой листвой, шумит, пульсирует, переливается серебром и чернью.

А над тополями уже горы.

Отроги Тянь-Шаньского хребта...Кажется, что два мощных сизых крыла распахнулись над городом — держат его в воздухе и не дают упасть. Но в то далекое утро сизыми эти крылья казались мне только снизу — там, где залегали дремучие горные боры, — вершины же их были нежно-розовыми. Кто был на Каспии, тот знает: вот так на заре горят чайки, когда они пролетают над водой.

Я стоял, смотрел на горы, на тополя, на белые акации под ними и думал: куда же идти, ведь здесь никогда не найдешь дорогу. Встало солнце, и хотя люди еще спали за замками, ставнями, болтами и решетками — город уже проснулся. С час как бойко шла перекличка петухов. Горланили — один бойчее другого — все дворы города. Не смолкая, чирикал и заливался вишенник. С сухим электрическим треском вспархивала розовая и синяя саранча. Заливались где-то на задах лягушки. Потом я узнал: в городе зверья не меньше, чем людей. В городском парке по вечерам ухает филин. По улицам, как только смеркнется, носятся летучие мыши, иволги кричат и поют на автобусной остановке в центре. На тесовые крыши предместий (их тут зовут по-старому — ''станицы'') садятся фазаны. Сидит такой красно-желтый красавец и тревожно озирается по сторонам: залетел с прилавка (так здесь называются травянистые холмы) и сам не поймет зачем. Дикие козочки забегают осенью и ягнятся в окраинных садах. Словом, нигде в мире, сказал мне один зоолог, дикая природа не подходит так близко к большому городу, как в Алма-Ате.

Нельзя сказать, чтобы улицы выглядели нарядно. Это еще не была ''красавица Алма-Ата'' сороковых, а тем более пятидесятых годов: хаты, хатки, странные саманные постройки, где добрую половину дома занимает стена, а окошко находится под крышей; потом вдруг выкатится крепкая, как орех, русская изба с резными подоконниками и широкими воротами, за ней потянется длинная турк-

сибская постройка на целый квартал — масса окон, террас, дверей, лестниц — и снова хаты, хатки. Глина, саман, тес, тростник. Ни бутового камня, ни кирпича. Новых двухэтажных домов мало — старых совсем нет. В общем, мирно спящая казачья станица самого начала века.

И вдруг произошло чудо: я пересек улицу и очутился в совершенно ином городе. Улицы здесь были широкие, мощеные, дома многоэтажные, изукрашенные сверху донизу, к каждому из них вела лестница с огромными церковными ступенями из белого камня. Крыши у этих хором были тоже особенные — сводчатые, и кончались они то шпилем, то цветным куполом, то петухом. И везде резное дерево, белый камень, колонны, узорчатые водостоки.

Здание, мимо которого я шел, растянулось, как мне показалось, на несколько кварталов. Оно походило на старинный пассаж или крытые торговые ряды. Мне почему-то пришли в голову такие слова, как "Деловой двор" или "Славянский базар". А напротив "Делового двора" стоял самый настоящий дворец Шехерезады, такой, как его рисуют на коробках папирос, — обвитая кружевами громадина с башней на крыше, с множеством окон и широкими узорчатыми дверями — не дверями, а целыми воротами. Так и хочется их распахнуть настежь.

Я повернул за угол и тут увидел знаменитый собор. Мне о нем пришлось много слышать и раньше, но увидел я что-то совершенно неожиданное. Он висел над всем городом. Высочайший, многоглавый, узорчатый, разноцветный, с хитрыми карнизами, с гофрированным железом крыш. С колокольней, лестницей — с целой системой лестниц, переходов и галерей. Настоящий храм Василия Блаженного, только построенный заново пятьдесят лет тому назад уездным архитектором. Собор стоял в парке, и около него никого не было, только на широких ступенях спал старый казах с ружьем за плечами, в войлочной шляпе. Я постоял, покашлял, вздохнул — ста-

рик все спал. Я тронул его за плечо. Он пошевельнулся, поднял голову, посмотрел на меня и очень чисто по-русски спросил, сколько времени. Часы висели напротив. Мы оба поглядели. Оказалось, что уже пять.

Сторож вздохнул.

— Рано, рано стали летом приходить поезда, — сказал он. (Я был с чемоданом.) — Вы что — прямо с вокзала?.. И пешком через весь город? Здорово! Значит, верст пять отмахали, если напрямик. Нездешний? А-а, нездешний! А куда же вы сейчас? А-а, на Октябрьскую? Ну, ну! Значит, в бывшие номера? Да нет, нет, не закрыты. И сейчас какие приезжающие останавливаются. Есть, есть такие! Их в тысяча девятьсот одиннадцатом году один наш семирек отстроил. Ну как же, все, все знаем! Во время гражданской в них еще товарищ Дмитрий Фурманов проживал. "Мятеж" его читали? Ну вот, как раз про них! А вот так и пройдете — прямо, прямо через парк — и они. Сразу увидите их. Крыльцо такое выдающее и крыша скатом. Их сразу узнаете. Они среди всех зданий выделяющие. Тоже зенковской постройки.

— Какой? — спросил я. — Зен... зенковской?

— Ну, зенковской, зенковской, — повторил сторож настойчиво. — Вот сразу видно нездешнего. Андрей Павлович Зенков. Он при царизме весь этот город снова выстроил — вот все это! — Сторож сделал рукой круг. — И собор этот тоже его. И собор, и ряды, и магазин Шахворостова, и офицерское собрание, и благородное собрание, и две гимназии, и суд окружной (там теперь типография) — все, все его.

— Как, все построил один человек? — спросил я.

— Один, один — не десять! — подтвердил он с удовольствием. — Андрей Павлович, инженер Зенков. Знаменитейший строитель был. И теперь еще жив. Но теперь что... А я еще его когда помню! Тогда помню, когда на этом месте ничего не было. Все начисто землетрясение снесло. Одни завалы остались. Я молодой парень был, батрачил. Так нас с лопатами сюда

гоняли. Хотели уж на другое место город перенести и с Зенковым советовались, а он отсоветовал. Говорит: ”Незачем переносить — строили неправильно, вот и снесло. А мы построим как следует — и будет стоять век. Ни одно землетрясение не шелохнет”. И вот верно, стоит — не шелохнется.

— Так, может, и землетрясений с той поры не было? — спросил я.

— Здравствуйте! А одиннадцатый год? — обиделся сторож. — Страшнейшее землетрясение было! Земля провалилась, горы разошлись. А что зенковское было, то так и осталось стоять. Даже стекла не вылетели. А вы знаете, какое это строение? Второе в мире по вышине. И ни гвоздя, ни железинки — одно дерево — вот! Что там — никто не знает, может — клей какой. Весь мир удивляется. Иностранцы приезжали — смотрят, ничего понять не могут, как так? Вот что это за здание. А вы: ”Землетрясений не было!” Тут такое было, что...

Он махнул рукой, кинул берданку через плечо и пошел вокруг собора.

Так через несколько часов после того, как я спрыгнул со ступенек вагона на алма-атинскую землю, пришлось мне услышать от первого же встретившегося мне старого казаха это имя. ”Андрей Павлович Зенков. Знаменитый инженер — тот, кто отстроил город Верный после землетрясения”.

А осенью 1960 года, уезжая из Алма-Аты, я зашел в Центральный музей Казахстана и попросил дать мне снимки всех строений Зенкова. В музее у меня старое и доброе знакомство. Во время оно я пробыл там три года старшим научным сотрудником и делал все, что мне поручали: ездил в экспедиции и командировки, разрывал курганы, описывал древние черепки, диктовал старенькой, дряхленькой машинистке текстовки ко всем вещам мира, неосторожно попавшим в музей, от николаевской копейки до летучей собаки с Яванских островов, делал еще сотню дел, больших и малых, нужных и ненужных, и в му-

зее меня помнили. Через пять минут сотрудница принесла мне целую гору снимков. Кто-то догадался их уложить в черный конверт из-под фотобумаги. Я раскрыл его, встряхнул, и вот на стол посыпались один за другим виды старого Верного — все, что чертил, рассчитывал и строил Зенков. Я увидел черную весну, бревенчатый мост без перил и свай через тихую грязную речонку, а вокруг тонкие, голые прутья ив, затем деревянное здание офицерского собрания, высокое, нарядное, кудрявое — не то купеческий памятник где-то на Ваганькове, не то фанерная пирамида в парке — терем в русском стиле с высоким-превысоким крытым крыльцом с петухами и деревянными полотенцами; около него остановились бородатые мужики и, улыбаясь, глядят в объектив аппарата. У терема широкие ступени и маленькая дверь в глубине крыльца — это производит впечатление мощи и устойчивости так, как ее понимал архитектор Зенков. Он был очень затейлив, этот огромный ларец, неуклюжий и сквозной, весь увешанный деревянными кружевами и полотенцами.

Еще и еще падали на стол снимки, и вот мелькнул покатый, тупой (ни дать ни взять мучной ларь) архиерейский дом; выспренное и лаконичное, как вицмундир чиновника, застегнутый на все пуговицы, здание гимназии (здесь учился Фрунзе); магазин колониальных товаров купца... купца... Я так и не разобрал его фамилии, набранной светлыми металлическими буквами на высокой и крутой, как радуга, вывеске, прочел только, что торгует он с сыновьями.

Удивительно точно и ясно вышла на старой фотографии диковатая и смешная молодость города. На ней все молодо и непривычно. Вот растет на первом плане тонюсенькое дерево, коленчатое, с ветвями только у самой вершины, такое, какое теперь никогда не встретишь на улицах Алма-Аты. Сейчас от самых гор до вокзала несется сплошной поток не умолкающей ни на минуту зелени. Она такая густая, что даже фонари здесь тоже кажутся зелеными. А на

снимке торчит что-то узловатое, кривое, несуразное. Но ведь я отлично знаю это дерево. Оно и до сих пор растет там же, на углу Красина и Горького. Под ним у меня и встречи были разные, и свидания я назначал там. Это такой же чернокожий, шумливый великан, как и все его собратья, что ныне сторожат улицы Алма-Аты. Значит, сколько же лет этому снимку? Тридцать, сорок, пятьдесят? Еще больше?

Стоит перед открытой дверью магазина понурая лошаденка с телегой, а на ней сидит кто-то, свесив ноги в сапогах, и ждет. Еще одна лошадь идет снизу — я знаю, с мучного рынка, от лабазов купца Шахворостова. Сейчас здесь заводское здание, но я застал еще эти белые, приземистые, слепые строения, похожие на монастырскую стену. Идут быстрым, бодрым шагом двое мужчин — тоже в сапогах (семиреки не любят ботинок). На ступеньках сидят (смотрю уже в лупу) две старухи, а около них раскрытые мешки. Неужели продают семечки? А здесь ведь, похоже, не расторгуешься, милые! Считаю: двое идут, двое сидят на телегах да еще две — значит, всего шесть человек. Подумать только! Шесть человек в яркий солнечный день на протяжении двух кварталов самой людной в городе улицы!

Итак, ранняя весна какого-то фантастически далекого года — десятого или одиннадцатого — возле узорчатого строения Зенкова. Я люблю рассматривать старые снимки тех мест, по которым хожу уже добрых полсотни лет. На них все смещено во времени и на все проливается какой-то новый, резкий, боковой свет. Вещи от него молодеют, люди улыбаются и становятся во фронт, старые, вросшие в землю здания снова вздымают свои фасады и резные узорчатые главы.

Однажды в ясный весенний день какого-то из этих годов бродячий фотограф (представитель Всемирного почтового союза, как значится на открытке) установил здесь на мостовой свой треножник, мановением руки разбросал зевак и щелкнул объек-

тивом. Это было лет пятьдесят тому назад; и вот через полстолетия я смотрю на все, что он увидел, его же глазами. Он удивлялся — и я удивляюсь. Он радовался всем этим необычайным куполам, радугам и шпилям — и я радуюсь.

А о строителе этого великолепия я и посейчас знаю не так уж много. Знаю, что он был военным инженером (''фортификатором'', как тогда говорили) и строил не только быстро и пышно, но еще — и это главное — крепко. А это в Верном ценилось превыше всего.

У города Верного в то время была тревожная и плохая слава. Его знали как край света и гнездо землетрясений необычайной разрушительной силы, как город на вулкане.

Говорили, что в городе Верном надо строить либо глухие деревянные коробки, либо одноэтажные, плоские, прижатые к земле дома с толстыми стенами и мощными фундаментами.

Но Зенков возражал: нужны цемент, железо и дерево. И вот он начал возводить из тянь-шаньской ели многоэтажные здания, окружал центр обширными дворцами и наделял эти дворцы всем тем, что должно было неминуемо рухнуть при первом же толчке, — шпилями, куполами, башнями. Он как бы смеялся над разрушительной силой землетрясения, дразнил ее.

''С глубокой верой за успехи будущего я не боюсь за наш город, — писал Зенков в ''Семиреченских областных ведомостях''[1], — за нашу Семиреченскую и в то же время сейсмическую область. Я верю в ее будущее, я верю, что... наш город украсится солидными, в несколько этажей, каменными, бетонными и другими долговечными строениями... При специальном устройстве фундаментов... вполне допустима конструкция грандиозных по высоте, до 30-40 этажей... зданий...'' И дальше: ''Наблюдатель-

[1] Номера от 8 и 10 марта 1911 года.

ный ум человека, его энергия, гений творчества, покоряющий стихийные силы природы (замечательные слова находил Зенков, когда писал о своем высоком ремесле), — уже теперь вселяют надежду, что стихийная сила землетрясений не страшна грандиозным постройкам человека".

Прошу заметить: это писалось в марте 1911 года, сейчас же после великого — десять баллов — землетрясения[1].

Жертвы этой второй катастрофы были тоже еще очень велики (хотя в десять раз меньше предыдущего), но из великолепных дворцов Зенкова не обрушился ни один. Дерево не подвело его! А в самом грандиозном творении Зенкова — кафедральном соборе — уцелели даже стекла. "При грандиозной высоте, — писал он об этом своем творении, — он (собор) представлял собой очень гибкую конструкцию. Колокольня его качалась и гнулась, как вершина высокого дерева, и работала, как гибкий брус".

Читаешь и видишь, как раскачивались и гудели в Верном тополя во время землетрясений.

Зенкову удалось построить здание высокое и гибкое, как тополь. Какая похвала может быть выше! И город выстоял. Он не потерял ничего. Все дворцы, гимназии, лавки, соборы остались целыми. Такими мы их видим и сейчас. Время, правда, внесло кое-какие коррективы в творения Зенкова. В одном месте сняли крыльцо, в другом в стене прорубили дверь, но все это чепуха, мелочь — в общем-то здания

---

[1] А оно было точно очень велико. Земля после него долго гудела, как огромный колокол. "Как сейсмическое явление, по определению ученых (акад. Голицын), землетрясение это является одним из величайших, известных науке. Оно во многом превышает силою своею последние землетрясения в Мессине, Шемахе и в самом г. Верном в 1887 г. Сейсмографы многих сейсмических станций Европы были им испорчены и перестали работать, чего не было при землетрясениях предыдущих" (Отчет князя Багратиона-Мухринского, "Семиреченские областные ведомости", 15 апреля 1911 года).

не изменились. Не изменился и зенковский центр города. И когда идешь, скажем, по улице Горького (бывшая Торговая) и видишь пышные деревянные ансамбли: деревянные кружева, стрельчатые окна (только не считайте, что это готика!), нависшие арки, распахнувшиеся, как шатер, крылья низко спустившихся гребенчатых крыш, — то понимаешь: это все Зенков — его душа, его золотые руки, его понятия о красоте. Ничего из его наследства не тронуто ни людьми, ни временем, ни землетрясениями. Землетрясениями-то особенно. Они ведь действительно больше не страшны его городу — бетонному, каменному, многоэтажному, долговечному, такому, о котором он писал в газете "Семиреченские областные ведомости" полстолетия тому назад.

Я видел фотографию Зенкова той поры — поры его славы. Это еще молодой, красивый офицер, стройный и подтянутый. Чем-то — нервной ли худобой лица, офицерскими ли усиками или этим знаменитым по всем снимкам плащом-крылаткой со львами — он разительно напоминает лейтенанта Шмидта.

И еще я знаю про Зенкова, что он любил красивые вещи. Вернее, не красивые, а изукрашенные. В музее хранится его портсигар из уральского камня. На нем не осталось живого места. Он весь в вензелях, образках, разноцветных жгуче-синих и розовых эмалях с картинками и видами. На протяжении ладони насажено около трех десятков этих разнообразных цветастых, узорных, крошечных предметиков. Я смотрел на эту чудесную игрушку и думал: как же все это похоже на творчество самого Зенкова! В течение полувека этот замечательный строитель рассчитывал, чертил и возводил все, что ему заказывали власти и частные лица, — особняки, мосты, церкви, церквушки, магазины и лабазы. И строил он их по одному плану. Он терпеть не мог обнаженного пространства и всюду, где только мог, скрады-

вал его, устремлял карнизы вверх и снова рушил их с высоты; изгибал и ломал линии крыш, украшал их мелкой резьбой и, заканчивая, воздвигал как пьедестал всему огромное гладкое лобное место крыльца, а потом накрывал его еще сверху куполом; в городе, подверженном землетрясениям, он возводил шпили, арки над окнами, узорные решетки на окнах, крыл их киноварью и зеленью (а охру, видно, не терпел), и мне кажется, что причудливые павильоны нижегородской промышленной выставки навсегда остались для него идеалом красоты, легкости и богатства.

Именно поэтому каждое его здание узнается безошибочно. Узнается по резным оконным рамам, по ажурному железу, по дверям, по крыше, по крыльцу, а главное, по свободному сочетанию всего этого. А то, что этот стиль не стал стилем города, в этом Зенков не виноват. В ту пору не было и не могло быть никакого стиля у города Верного. Он рос стихийно, произвольно — то лез на прилавки, то сбегал в овраги, то прижимался саманными подслеповатыми избушками к одной речке, медленной и грязной (ее и звали-то Поганка!), то шарахался всеми своими теремами и башнями к другой — к кипучему горному потоку, бьющему прямо из ледников. Он был так молод, жизнелюбив, энергичен, что никакой стиль не мог бы подчинить его себе...

И все-таки представить себе Алма-Ату без построек Зенкова невозможно. При всей его любви к архитектурным побрякушкам, резному дереву и гофрированному железу было у него какое-то честное и четкое единство детали, что-то такое, что роднило его здание с рождественской елкой, разукрашенной снизу доверху. Тут тебе и звезда, тут тебе и петухи, тут еще и другие бессмысленно красивые завитушки и кренделя. И есть, есть в его зданиях что-то действительно нарядное, по-настоящему ликующее и веселое. Он хотел радовать и удивлять людей, и, конечно,

ему это удавалось. Я уверен, что люди, проходя мимо его здания, поднимали головы и улыбались: до чего же это все-таки забористо! Выкиньте Зенкова с его чудесными теремами и башнями из города Верного — и сегодняшняя Алма-Ата станет уже чуточку иной. И даже не чуточку иной, а совсем иной, потому что она лишится своего главного украшения и естественного центра — поразительного зенковского собора. А представить Алма-Ату без этого полуфантастического здания попросту невозможно.

Я уже говорил: во время моей работы в музее мне пришлось составлять и писать всякое — от инвентарных списков старой мебели до ругательных писем лицам, не возвратившим нам экспонатов. Кажется, все вещи в мире были тогда названы и объяснены мною с помощью Брокгауза и Эфрона, и только о соборе, в котором я работал (ныне там Музей республики), я так ничего и не написал.

Да это было и понятно. Никто тогда не интересовался архитектором Зенковым[1]. Поэтому и я знаю о соборе только то, что вычитал в старых газетных подшивках. Вот говорят и даже пишут в путеводителях, что это второе по высоте здание в мире, выстроенное из дерева (недавно в газете я прочитал даже: "Высочайшее в мире деревянное здание"). Мо-

---

[1] О личной жизни Зенкова, кажется, никто ничего еще не писал. Именно поэтому и хочется привести клочок воспоминаний, появившихся в год смерти замечательного строителя. "В его маленьком гостеприимном флигельке у головного арыка побывало много строителей, и каждый уносил оттуда чувство большой теплоты к этому старику. Он любил город и край, в котором проработал больше полувека. Помню, собрались мы выбирать место для строительства лесозавода на реке Или (он был тогда губернским инженером). "Выедем в понедельник", — сказал я. "Нет, в понедельник не удастся — там выпадет снег", — ответил он. (До понедельника оставалось еще четыре дня!) И он оказался прав: мы сумели выбрать место только на следующий за тем день. Я навсегда запомнил и поездки с ним, и встречи, и рыбную ловлю на реке Или. Он был большим мастером рыбной ловли и любил охоту на фазанов" (П. Григорьев. Газета "Социалистическая Алма-Ата", 1963 г.).

жет быть, может быть... Хотя я и не особенно в это верю. В самом деле, кто сравнивал высоту зенковского собора и того, первого в мире, которое, как говорят, находится где-то в Испании или в Канаде? Кто вообще собирал сведения о сравнительной или абсолютной высоте деревянных зданий в мире? Тут все непонятно и недостоверно, начиная с Испании. Ведь Испания — страна камня, обожженной глины, широких известковых плит и гранита. Католические культуры вообще не любили строить из дерева, и если искать, где собор еще более высокий и великолепный, чем алма-атинский, то, вероятно, лучше бы обратиться к северу: Великому Устюгу, Архангельску или даже Аляске[1].

Все, что я писал о зданиях Зенкова, полностью относится к этому собору. Он так огромен и высок, что его не окинешь взглядом. Так пышен, что, если глядеть близко, не разберешь, что в нем главное, а что второстепенное. И вообще если пройти к нему от дома офицерского собрания (а для этого надо только пересечь парк), то увидишь, что и на церковное-то здание этот собор не очень похож. И тут и там те же самые купола, те же шпили, резные карнизы, узорные чердаки, шатрообразные крыши. И кажется, водрузи на офицерском собрании еще луковку с крестом, то и будет та же самая церковь. Вообще в архитектурной мистике строитель верненского собора понимал не много. Оно и понятно. Человек он был деловой и светский, на своем веку строил торговые ряды, офицерское собрание, дворянское собрание, и когда ему наконец город заказал кафедральный собор — невиданный, огромный, богатый! — он и для

---

[1] Во всяком случае на торжестве открытия собора епископ Туркестанский Дмитрий назвал его попросту "одним из величайших деревянных храмов нашего отечества". Мне кажется, что осторожная формулировка ближе всего к истине. Говорят еще, что весь собор построен без железа — ни гвоздя, ни болта. Но это уж вовсе неверно. Сам Зенков писал о колокольне так: "Стены ее в углах и простенках прошиты восемью сквозными вертикальными болтами".

Бога соорудил те же губернаторские хоромы. И все-таки повторяю: собор великолепен, он огромен и величествен так, как должно быть величественно всякое здание, вписанное в снега Тянь-Шаньского хребта. Город, лежащий около его подножия, оказался поднятым им на высоту добрых сорока метров. В варварских побрякушках этого здания отлично выразился весь дух старого Верного, как его нам построил Зенков: его молодость, его оторванность от всех исконных устоев, его наивность, его самостоятельность и, наконец, залихватское желание не ударить в грязь лицом перед миром.

Вокруг храма раскинулся огромный городской сад, растут тополя, дубы, сосны, липы, шумит веселый мелкий кустарник, распускаются ирис и розы, бьют фонтаны.

А внутри собор огромен. Его своды распахнуты, как шатер: под ними масса южного солнца, света и тепла, оно льется прямо из окон в куполе на каменные плиты пола, и когда разблестится ясный, солнечный день, белый купол кажется летящим ввысь, а стены как бы парят в белом и голубом тумане. И вообще в этом лучшем творении Зенкова столько простора, света и свободы, что кажется, будто какая-то часть земного круга покрыта куполом. Это очень южный храм, в нем все рассчитано на свет и солнце.

Мы, северяне, знаем совершенно иные храмы. В них потолки низки и давят, в них пространство зажато и стиснуто в узких угловатых сводах. В них темно, тесно и страшно. И все в таких соборах свое, собственное, мистическое — и лики икон, и тусклые пятна лампад, и черное серебро подсвечников.

А Зенков отдал Богу только то, что он много лет привык давать людям, — белые высокие стены, белые же своды купола, в прорезы которого видно чудесное алма-атинское небо, голубые и розовые иконы, похожие на картины. И писал эти иконы не

монах, не богомаз, а учитель рисования — художник Хлудов, такой же великий украшатель, как и сам строитель Зенков[1].

---

[1] Приведу некоторые из теоретических положений Зенкова, сопоставив их с данными современной науки.

Сейсмостойкое здание, пишет Зенков, должно:

1. Строиться из дерева или его заменителей. Здесь разногласий нет. "Только эластичные материалы и конструкции являются действенными антисейсмическими факторами в руках архитектора" (Н. Бачинский. Антисейсмика в архитектурных памятниках Средней Азии).

2. Иметь очень глубокий фундамент. "Опустите глубоко в землю фундамент — и вы не будете бояться за целостность вашего жилища". Вот это положение Зенкова признано только в последнее время: "Изучение последствий землетрясений показало, что малая глубина заложения фундамента отрицательно отражается на прочности сооружений во время землетрясений" (К. Николаев. Некоторые положения строительства в сейсмических районах).

3. Иметь обширные зазоры между землей и фундаментом. Ибо "каменный дом, не соприкасающийся в своем основании с верхними слоями земли, не боится землетрясений; подвал должен быть устроен под всем домом, так как он перехватывает сейсмические волны". (Зенков).

А вот что пишет советский инженер Ф. Зеленьков о предложенном им (как он считает — впервые) сейсмоамортизаторе: "В данной работе впервые описан новый метод... Для этой цели использован специальный фундамент, который отделяет, то есть изолирует, здание от земли воздушным зазором и тем самым от сейсмических ударов со стороны земли". Автор упоминает много имен, но имени Зенкова среди них нет.

Как развитие и продолжение этой мысли необходимо, считает Зенков, "огорождение здания рвами, которые при твердых грунтах могут засыпаться землей". Вот эту мысль Зенков вынашивал несколько десятилетий, после того как в 1887 году он наткнулся на следующие необычные явления.

После катастрофы 1887 года оказалось, пишет он, "деревянная минная галерея в г. Верном на расстоянии всего 12 верст от эпицентра (Аскайское ущелье) испытала, очевидно, настолько легкое сотрясение, что в ней не везде осыпалась земля". А в катастрофический 1911 год Зенков сделал и другой опыт: "Окопал свой дом антисейсмическим рвом". "Результаты считаю блестящими. При землетрясениях в 6 баллов, — пишет он, — только слышу гуд, жду толчков, но их уже не испытывает мой дом, окруженный рвом... Семь месяцев ходят ко мне люди смотреть ров".

Этого опыта Зенкова, кажется, еще не изучал и не повторял никто.

Глава вторая

Прошло не то четыре, не то пять лет. Получилось так, что в этом соборе я и стал работать.

Первое, с чем я познакомился, придя туда, был церковный чердак. В самый день моего поступления меня свела туда заведующая хранением. Дело в том, что на чердаке этом уже года три стояло несколько заколоченных ящиков с караханидскими (XI век!) черепками, и заведующей, девушке еще очень молодой, но хозяйственной и бережливой — ее звали Клара Фазулаевна, — страшно хотелось, чтобы я из них слепил хотя бы с десяток сосудов. Уж больно хороши были эти черепки — блестящие, новешенькие, разноцветные: и небесно-голубые, и черно-зеленые, и какие-то шоколадные.

"Понимаете, — умильно говорила она мне, — ведь тут все, все осколочки целы, и даже свой номер на каждом осколочке, тут только руки приложить". Руки я к черепкам прикладывать не стал, но на чердак полез и с тех пор туда зачастил.

Чердаки — моя слабость. Я их люблю и понимаю с детства. Когда мне было лет десять, мы жили в Москве в большом хмуром пятиэтажном доме, и самое лучшее в нем был чердак. Каждый день несколько часов я проводил там. Было страшновато, тихо и хорошо. Стояли необычайные вещи, каких на земле нет, — оленьи рога, поросшие мохнатой пылью, разбитый аквариум, чучело совы. Порой из старого умывальника показывалась морда огромной плюшевой крысы, и я замирал от восторга. Незнакомый кот, чудесный и рыжий, вдруг появлялся у слухового окна — стоял гордый, прямой и подтянутый и смотрел на меня. Как он не походил на тех худых, шершавых и умильных попрошаек, которых мне не разрешалось брать на руки. В щелях и застрехах пищали воробьята, и, если встать на цыпочки, можно было достать целую горсть их, страшно горячих, трепещущих, влажных. Внизу ничего этого, конечно, не было.

Но музейный чердак, по совести, был самым необычным из всех, которые я видел. Там лежали черепа. Представьте себе, вы по узенькой темной лесенке, как на колокольню, взбираетесь наверх, согнувшись, чуть не на животе протискиваетесь в узкую дыру, и сразу — желтоватый рассеянный свет, тишина, какие-то острые, хрупкие звуки — не то балка треснула, не то птица села на крышу, — запах земли и смолистых бревен. А под ногами черепа — целая верещагинская пирамида черепов. Сколько их тут было! Черепа длинные и круглые, черепа клыкастые и совсем беззубые, черепа рогатые и безрогие, черепа птичьи и звериные, черепа на полу, в фанерных ящиках, на балках и прямо под ногами. И кто только не сложил тут свою вольную голову! Рядами лежали архары с узорчатыми зубами, поодаль от них — тигры с коварными, по-кошачьи узкими и косыми глазницами, в углу — волки, тоскливые, длинные, свирепые собачьи морды. Их да еще кабанов здесь было больше всего. Отдельно лежало несколько медвежьих черепов — лобастых и скуластых. А на балке, прямо перед входом, как две пики, торчал турий череп. Под ним в ящике из-под сигар я нашел клык пещерного медведя. Я долго вертел его в руках. Это было самое настоящее орудие убийства — массивное, щербатое, свирепо изогнутое, как сапожный нож или ятаган для вспарывания животов. От него так и веяло одиночеством каменного века. Совсем недавно я прочитал исследования одного ученого немца. Пещерный медведь, пишет этот немец, не заслужил своей свирепой репутации. Это было смиренное травоядное животное; и даже так — это было самое первое животное, прирученное человеком. Еще не родился в волчьей норе тот щенок, от которого пошли собаки, а медведь уже ворочался и порыкивал в каменной нише, куда его запер человек.

"Грузное травоядное животное, проводящее треть своей жизни в зимней спячке, — пишет исследователь, — должно быть, было для человека чем-то

вроде кладовой. Ощутив голод, достаточно было пойти по подземной галерее, найти нишу и угостить (!) медведя по голове (нет, представляете себе, как это выглядело!). Наш предок поступал почти так же, как современный человек, идущий в хлев, чтобы зарезать свинью".

Не знаю, не знаю! Все, конечно, может быть: и человеческие и звериные репутации одинаково неустойчивы. Вот прочел я однажды в специальной литературе, что горилла — смиренное, добродушное животное и ее обожают жители Конго, что страшная зубастая рыба, способная за десять минут обглодать до костей вола, никогда не нападает на человека, что пещерный лев был полосатым, как тигр, и вообще был тигром, а не львом. Даже Джоконда, говорят, не Джоконда, а портрет какой-то куртизанки (только куда же тогда девать ее знаменитую улыбку?!). Что ж, может быть, по этой логике и пещерный медведь тоже не медведь, а что-то вроде допотопной свиньи. Но, по совести говоря, когда я вспоминаю этот желтый разбойничий клык и чувство, с которым его вертел, подбрасывал и взвешивал на ладони, мне не верится немецкому ученому. Нет, это-таки был медведь, и клыки у него были медвежьи, людоедские! Я долго таскал его в кармане, подумывая даже, а не просверлить и не сделать ли из него талисман, но потом добросовестность взяла свое, и я опустил его обратно в ящик. Так, наверное, он лежит там и по сегодня.

На чердаке было очень жарко и душно. Воздух здесь стоял неподвижной болотной заводью. Свою долю тепла испускало все — еловые стропила, крыша, черепа, пол. Пол-то особенно. На добрый метр он был устлан голубиным пометом. Это мне казалось необъяснимым. Голубей ведь в городе нет, так откуда же взяться их помету? Никто этого не знал. Молодые не интересовались, а старики не помнили. И вот однажды музейный столяр все-таки рассказал мне о верненских голубях. Это был высокий кряжистый

старик — пьяница и матерщинник, в промасленной тельняшке, заляпанной краской. Тридцать лет он прослужил в соборе и многое видел: видел он и то, как улетели голуби.

Помню, сидит он перед печуркой, мешает в консервной банке щеточкой черный вонючий клей и не торопясь говорит сварливым голосом:

— Голуби! Ты меня об них спрашивай, кроме меня, никто ничего не может помнить. Ты знаешь ли, сколько их тут было? Фатальоны! (Была у него такая счетная единица — тысячи, миллионы, фатальоны.) Я этих голубей очень хорошо помню. Батюшка раз за краской меня спосылал на чердак — новый иконостас мы делали, так золото понадобилось. Залез туда я — как они взлетят! Как крыльями засвистят! Ну! Сразу стало темно! Закричал я: "Кыш вы туда-то!" — и сорвал голос. Пылью задавился, кашляю, давлюсь, ничего не вижу. Одна пыль в роте да они свистят крыльями. И все меня по лицу, по лицу, по лицу! Вот ведь сволочи! Вылез я кое-как и бежать. Да как приложусь ногой о ступеньку, чуть не до кости коленку просадил. Прилез вниз в пуху и пыли, все лицо заляпанное, стою и ничего не соображу. Поп меня увидел, как грохнет: "А краска-то где?" А какая там краска? Я еле дух перевожу. "Там, говорю, у голубей ваших, мать ихнюю так..." Грохочет: "Ты что ж, говорит, голубей испугался, что они тебе, такой дубине, исделать могут?" — "Что? А сбросить вниз в лучшем виде". Совсем зашелся. "Да что это тебе, говорит, орел или ястреб? Это же, говорит, голубь, голубица, Христова птица, про них в писании сказано: "Незлобивы, яко голуби". Полезай сейчас обратно, вон художник стоит ждет". — "Нет, говорю, ваше преподобие, не полезу! И ты мне про птицу-голубицу не толкуй. У Христа особые голуби были, белые, вон что над алтарем или что по крышам ваши сынки-балбесы метлой гоняют, а это, говорю, сволочь необузданная..." Так и не полез, потом уж сам художник лазил. Не знаю уж, как он там с ними...

— А улетели-то они как? — спросил я.

— А улетели они вот как, — ответил он, прихватил тряпкой консервную банку, снял с огня и поставил на стол. — В один час собрались стаей, погуркали-погуркали между собой, взвились, сделали круг над собором и улетели. Весь город смотрел. Вон туда улетели! — Он махнул рукой к горам. — Все садами, садами летели, а дальше — в лес и в горы. Мой сосед заинтересовался, поскакал за ними, я потом его спрашивал. "Куда делись, говорит, окончательно сказать не могу, я их ночью потерял. Они чем дальше, тем все ниже летели, потом кто послабже на яблоньку, на траву стал садиться. Ну, а стая-то, конечно, та дальше летела". Так и скрылись. Вот как они улетели, никто этого не помнит, один я помню.

И сколько потом я ни спрашивал старожилов, сколько ни толковал с местными краеведами, никто ничего прибавить не смог. Вчера их около собора было тысячи, а сегодня посмотрели — ни одного нет. Я и раньше слышал о чем-то подобном. Какая-то таинственная сила иногда вдруг поднимет, взметнет с места какое-нибудь мелкое зверье и гонит, гонит его на новое место. Начинают, например, идти белки. Идут, идут, идут. Идут десятками, сотнями тысяч. Прыгают по сучьям, карабкаются по стволам, ковыляют по земле. Никого не боятся, ничего не видят. Поле так поле, улица так улица — им все дорога. Идут напролом в какую-то только им известную сторону. Так, говорят, в старом Петербурге со Щукина двора однажды двинулись крысы. Было их не сотни тысяч, а миллионы. Шли среди бела дня посередине мостовой. Вставали трамваи, шарахались и неслись, как от волков, хрипящие лошади — крысы все шли. Пересекли несколько улиц, дошли до Невы и как в землю канули. Было такое же и с альпийскими пеструшками. Но птицы, но сизари...

Я думал об этом, сидя на чердаке и разбирая черепа,— волк к волку, тигр к тигру, кабан к кабану.

Однако на чердаке я бывал только изредка. Разборка черепов не входила в мои прямые обязанности. Все служебное время я сидел у себя в ''археологическом кабинете''. Так называлась обширная светлая комната на хорах собора. Над этой давнишней надписью кто-то намалевал другую: ''Хранитель древностей'', а еще кто-то прибавил: ''И ходить к нему строго воспрещается'', а третий просто прибил жестянку — череп и две кости. Я часто думал: что здесь было раньше? Регент ли в ней занимался с хором, божественные предметы сюда стаскивали или еще что? Комната мне не нравилась: было в ней жарко и душно, а главное — высоко, попробуй полазай сюда с полным беременем камней да железа. А камней у меня было много. Почти все экспонаты были камни. Ведь древнее Семиречье — это не античное поселение. Это там амфоры, терракота, камеи, черно-красные вазы — здесь же серые глыбины с надписями, выбитыми железом, каменные болваны, чудовищные бронзовые котлы, которые не повернешь и не подвинешь, светильники на железных козлиных ногах, каждая нога по центнеру. Всего этого у меня собралось столько, что негде было сидеть. Середину ''кабинета'' занимала огромная стеклянная витрина с надписью: ''Индустрия каменного века''. Когда-то эта ''индустрия'' стояла в самом музее. Теперь ее перетащили ко мне, и она сразу забила всю комнату. Места осталось — только для мраморного столика на тонких железных ножках — такие стоят в пивных — да двух стульев.

Придя сюда, я прежде всего решил навести порядок. Заперся и стал все разбирать. Щиты — в одно место, ящики с камнями — в другое, бронза и монеты (монеты лежали в сумках) — от екатерининских пятаков до римских динариев и серебристых чешуек с арабскими надписями — в третье и четвертое. Одно это заняло у меня больше месяца. И тут, на ходу, только на одну минуту открывая и захлопывая ящики, я увидел, какое богатство накопили здесь мои предшественники.

А предшественники у меня были знатные. То и дело, например, попадалась фамилия Кастанье. "Из сборов Кастанье", "Из коллекции Кастанье", "Описано Кастанье", "Смотри рисунок в монографии Кастанье" и так далее. Этим человеком я заинтересовался уже намного позже. Тогда же мне просто было от него некуда деваться. Сколько он насобирал камней! И там Кастанье, и тут Кастанье, и везде один и тот же Иосиф Антонович Кастанье — "ученый секретарь Оренбургской архивной комиссии" (так он подписывался под своими статьями). "Преподаватель французского языка в Оренбургской гимназии" (так в одной строчке сообщил о нем Венгеров). Этими титулами, пожалуй, исчерпывается и все, что я о нем знаю. Да и только ли я один? И никто ничего не знал о Кастанье. Много позже мне пришлось просмотреть с добрую сотню словарей и библиографических справочников, я ни в одном из них не нашел упоминания о нем. Так я и не знаю, когда он родился, когда умер и даже какая цена его книгам. Знаю только, что был он подвижен и энергичен необычайно. Семиречью предан фанатично. Куда он только не совался с ним! В Париж, в Музей человека, где он вручил "великому Мортилье" доклад о каменных бабах; в Тулузу, где он говорил о них же со "знаменитым Картальяком"; в Мадрид, где он в археологическом музее изучал иберийские надгробья. В Берлин, на Корсику, в Тунис на развалины Карфагена. Все идеи и образы мировой истории, осевшие золотом, мрамором, гранитом и бронзой, этот человек хотел привлечь для того, чтобы они объяснили ему, что же такое каменные бабы его родных степей. Ничего из этого, конечно, не вышло. Карфаген и царство инков только вконец запутывали дело. Тайна так и осталась тайной. "Да, повторимость идей, как мне сказал еще недавно знаменитый Картальяк, но не общность народа, — меланхолично писал он. — Разве мы не видим египетских пирамид в Мексике, скифских курганов в долине Миссисипи, каменных

баб русских степей в древнем царстве инков? Одни и те же причины могут породить одни и те же следствия". Вот и все. С него начал, тем и кончил! Чтоб шагнуть дальше, надо было обладать не только материальной, но еще и теоретической истиной, а откуда мог взять ее Кастанье? На мнимой схожести совершенно разных явлений и предметов вывихивали себе мозги и не такие головы, как многолетний секретарь Оренбургского археологического общества. Но, как теперь сказали бы, краеведом Кастанье был первоклассным: внимательным, знающим, рьяным, из тех, для кого история действительно была музой. О чем он только ни писал, что только ни описывал, в каком только уголке степи ни побывал и какие только истории с таинственными подземельями и скелетами с ним не случались! Писал он и о надгробных памятниках, и о сирийских надгробьях, и о неолитических стоянках, и о свастике, и Бог знает еще о чем.

Конечно, я и в подметки не годился своему предшественнику. Он действительно собрал всю индустрию каменного века: в его ящиках лежали кремневые топоры, стрелы, наконечники копий, обломки кремня, обработанного и круглого, может быть, остатки какой-то палеолитической Венеры. И керамика, керамика... то есть черепки, черепки... Из этих черепков можно было слепить добрую сотню сосудов.

"Гребенчатый орнамент", "гребенчато-ямочный орнамент", — писал Кастанье на этикетках. "Ямочный орнамент" — вот это и был самый древний рисунок. Просто лежал однажды человек на берегу реки, тыкал пальцем в песок и смотрел, что получится. И получилась линия, точка, снова линия, снова точка, и вот уже не линия и не точка, а рисунок. А потом кто-то, может, он сам, а может, другой, перенес эти линии и точки на горлышко сосуда и поставил его на огонь обжигаться. Так родился орнамент. И опять, видимо, ничего не произошло и никто ничего не заметил. Только старуха, постоянно дремавшая около

огня, покачала головой да ребята завизжали, заплясали и стали просить, чтобы им дали подержать новый горшок в руках. Вот и все, что, вероятно, произошло в тот день у огня. Но орнамент уже родился. Он стал жить, расти, менять свое очертание, усложняться, обрастать новыми подробностями, тяжелеть. Теперь он занимал уже не только горлышко сосуда, но и весь сосуд целиком, заползал вниз, устремлялся вверх, извивался змеей, закручивался спиралями, вспыхивал то тут, то там, действительно стал походить на гребень. Словно раскрылись человеческие глаза, и они увидели то, что не могло даже присниться: чистые геометрические формы. Не круглый лист, не треугольный камень, а круг и треугольник — линию и точку в самых разнообразных сочетаниях. И кроме линий простых, двойных, зигзагообразных, изломанных под разными углами, появились еще и квадраты, овалы и пирамиды. До неузнаваемости изменилась и сама линия. Теперь она падала на мокрую глину пучками, связками, тончайшим излучением, елочками и крестиками. Вот, вероятно, именно так на горлышке пузатого горшка — сколько же десятков тысячелетий прошло с той поры? — зародилась под пальцами мастера прекрасная и почти волшебшая абстракция орнамента, к которому мы ныне так привыкли, что даже не замечаем его.

Под пальцами мастера! Я ведь употребил неточное слово. В том-то и дело, что творцом орнамента был не мастер, а мастерица. Не мужчина, а женщина. По отпечаткам пальцев, что сохранились на стенках посуды, ученые пришли к выводу: посуду лепила женщина. Вероятно, так и должно быть. Всякому свое. Мужчины каждый день видели смерть лицом к лицу, и была она то медведем, то пещерным львом. Орнамент прельщал таких охотников меньше всего. Вряд ли они понимали даже смысл и красоту всех этих черточек и ямочек. Слишком уж это было мелко и несерьезно, что-то вроде бус и ожерелья. Мужчины приходили к огню усталые и потные, покрытые

своей и чужой кровью. В час отдыха они вырезали на куске кости одиноких мамонтов, бодающихся бизонов, гигантского оленя с откинутыми рогами. Вырезали они и самих женщин. Даже не вырезали, а высекали из кости и камня так, чтоб их можно было покрепче зажать в кулак. Это были прекрасные объемные животные с могучими бедрами, с телом, разделенным на круги и треугольники. Даже теперь радостно глядеть на эти каменные цветки — неповторимых палеолитических Венер.

Вот так и возникло два этих течения — конкретное и абстрактное. Так они и существовали десятки тысячелетий, каждое в своей области, одно на горлышке сосуда, другое на кости и на стене пещеры, не отрицая и не трогая друг друга.

Здесь нужно оговориться. Я пишу не об абстрактном искусстве, а об абстракции в искусстве, а это совсем разные вещи. Я убежден, что современный абстракционизм вырос совсем не из орнамента.

Первобытный человек — homo primigenius — "человек перворoдный", как почтительно называет его наука, был существом положительным и реальным. Красоту он понимал как меру и число, гармонию и соразмерность. Он подмечал эту гармонию и на коже раздавленной им гадюки (ведь и на ее чешую тоже кто-то нанес гребенчатый орнамент), в расстановке листьев на стебле, в весеннем звоне капели, в окраске и пятнах на крыльях бабочек, в смене дня и ночи, зимы и лета. По закону этой же четности и рассчитаны созданные им орнаменты. А абстракционизм пуще всего боится равновесия. Отразите его в зеркалах, и он сразу же умрет, превратившись в обыкновенную обойную ткань. Если великий кроманьонец уравновесил мир на горлышке сосуда, то художник XX века взорвал его динамитом и атомом, пропустил через мясорубку и то, что осталось, полными пригоршнями ляпнул на полотно.

И оказались на полотне сгустки цветов, тени вещей, осколки форм. И опять надо звать кроманьон-

ца, чтоб слепить из дымящихся, растерзанных кусков мира тихую, чуть слышную мелодию каменного века.

Я это впервые ясно почувствовал, рассматривая коллекции Кастанье. И еще мне очень нравились и сосуды сами по себе. Человек меди и бронзы был величайшим мастером своего дела. Его горшки прочны, как каменные. Да они и в самом деле каменные, глина в них смешана с песком и дресвой — крупной зернистой галькой (красные, желтые и зеленые зерна ясно видны в изломах). Она служит как бы кремневым скелетом сосуда, поэтому этот сосуд и живет бессчетное количество тысячелетий. В музее была масса разных сосудов. От маленького обгорелого горшочка, в котором, может быть, кипела похлебка из мамонта, до огромных, в человеческий рост, кувшинов... Эти-то были непростительно молоды. Хорошо, если каждому из них было по семьсот лет. Совершенно гладкие, несокрушаемые, с мастерски вылепленным горлом, со следами гончарного круга на внутренней стороне, они никакой исторической ценности не представляли, а мешали мне страшно. До меня в них уборщицы хранили тряпки и швабры, а в одном оказалось чуть ли не с пуд тыквенных семечек. Я сдуру рассказал об этом кому-то — и вот весь музей начал бегать ко мне за ними в перерыв.

— Дайте, пожалуйста, семечек.

Я махал рукой, и вот сосуд наклоняли, опрокидывали и лезли в него железным совком. Я все ждал, что кто-нибудь ахнет это чудище о каменный пол и оно разлетится. Но сосуд был просто несокрушаем. Как его ни грохали, как ни катали — а пол-то был каменный, — ничего с ним не случилось. А ведь еще с пяток таких сосудов — и мне пришлось бы выбросить из комнаты даже пивной столик и разбирать свои камни, просто сидя на корточках. Поэтому, когда однажды пришел в музей древний старикашка и рассказал, что в горах в колхозе "Горный гигант" весь клубничник усыпан осколками, а в конторе колхоза даже стоят два совершенно целых сосуда,

нужно приехать и забрать, я подробно записал весь его рассказ, но никуда не поехал и ничего никому не сообщил. Я и свои корчаги давно выбросил бы на помойку, — они ведь тоже были из района "Горного гиганта", да как это сделать? Ведь на каждой же этикетка и запись: "Сосуд для хранения зерна. Эпоха караханидов (XI век). Из сборов И. А. Кастанье".

О старике этом — звали его Родионов — я еще расскажу. Как-то само собой получилось так, что с приходом его в музей все в моей жизни пошло кувырком.

Началось, впрочем, все с того, что рано утром мне позвонили из редакции республиканской газеты и попросили зайти к редактору. Я зашел. Секретарь-машинистка вынула из папки три странички с пышным заглавием "Индийский гость" и подала мне.

— Вот просили прочесть и дать заключение, — сказала она и снова уткнулась в какие-то листы.

При газете этой я состоял давно, катал прямо на машинку юбилейные статьи, давал информации о всех интересных приобретениях и находках нашего музея, консультировал, правил, знал всех, и меня знали все. Поэтому такие задания мне приходилось получать и выполнять часто. Но сейчас, только пробежав три странички четкого машинописного текста, я обалдел, онемел и вдруг шагнул прямо за стеклянную дверь, в кабинет редактора. Редактора не было, за его столом сидел заместитель — высоченный молодой человек в роговых очках и с трубкой во рту. Его недавно по распределению прислали к нам из Москвы, но он уже сумел задать тон всей редакции: "Старик", "Старуха", "А не пойти ли нам, старуха, в "Белую лошадь"..."

— Слушайте, — сказал я, — что это вы мне дали? Это же просто бред.

Он снял очки и стал их протирать. Это были, конечно, очки из оконного стекла, но я первый раз видел, чтоб он остался без них.

— Мнения насчет этого бреда резко разошлись, — сказал он. — Кое-кто считает, что, возможно, это и не вполне бред. Я здесь человек новый, ничего толком не знаю, так что... — И он улыбнулся, показывая великолепные круглые зубы, похожие на облупленные лесные орехи.

Но я даже вздрогнул: наконец-то я его увидел по-настоящему, его лицо, простецкое лицо хорошего деревенского парня, нос картошкой и бурые глаза в крапинках. Но именно это почему-то и рассердило меня больше всего.

— Значит, вы допускаете, — спросил я свирепо, — что удав может бежать из зверинца, проползти через весь город. Вы представляете — ч е р е з в е с ь г о р о д! — базар, улицы, площади, парки, дворцы — и доползти до прилавков, свернуться на каком-нибудь из них и перезимовать под сугробами. Ну, знаете...

Но он уже был опять в своих роговых очках и поэтому снова стал насмешливым, неприступным и гордым.

— Ничего я, дорогой старик, не знаю, — отрезал он уже совершенно по-редакторски. — Я всего четыре месяца в этом городе и поэтому ничегошеньки не знаю. Но вот первый вопрос к вам как старожилу: был ли мальчик? Сбежал удав из передвижного зверинца или нет?

— Не знаю.

— Вы не знаете! Вы, старожил, да не знаете! Ну, а откуда мне, homo nowa, знать, а? — Он выдвинул ящик стола, вынул конверт и положил передо мной. — Вот, пожалуйста. Читайте.

Я прочитал: "Бюро вырезок: "Газета... номер... от 6 августа... Сообщение нашего корреспондента "Индийский гость в окрестностях Алма-Аты".

"Алма-Ата. (Наш корр.)

Еще с прошлой осени по колхозу "Горный гигант" ходила молва о нежеланном госте. Его часто видели в роще. Зима прекратила эти разговоры, и только на днях "гость" вновь появился.

Увидели его в саду. Обвился он вокруг ствола и выбирал самые лучшие спелые яблоки.

Член колхоза Луценко рассказывает: "Шел я около часу дня через сад. Вдруг как что-то зашипит около меня: чуть на хвост огромной змеи не наступил. Серая. Длиной метра четыре. Как ствол средней яблони".

В последние дни в колхозе начали исчезать кролики. Оказалось, что в прошлом году из зверинца на колхозном базаре исчез индийский удав. Пробравшись за город, удав акклиматизировался и сумел где-то пережить зимние холода. Сейчас принимаются меры к его поимке".

— Ну что? — спросил заместитель, когда я бросил вырезку на стол. — Убедительно ведь, кажется: дата, фамилия, место, подробности?

Я только развел руками.

— Хорошо, читайте дальше. Вот вам свидетельство очевидцев. Это уже заметка из нашей газеты. От августа прошлого года.

"Охота на удава", — прочел я.

"За последние дни в районе стана 6-й бригады колхоза "Горный гигант" участилась пропажа кур и кроликов. Колхозники знали вора, но на глаза он показывался редко. 3 августа ребята из 6-й бригады играли в саду недалеко от стана и заметили большую змею. Она поднялась до первых ветвей яблони, срывала яблоки и ела. Ребята догадались, что это удав, и побежали в стан. Колхозники вооружились веревками, длинными шестами, и когда пришли к указанному месту, удава уже не было.

Колхозники решили непременно изловить удава живьем".

Я положил газету на стол и посмотрел на заместителя. Он поймал мой взгляд и улыбнулся.

— Вот мы, — сказал он, — то есть редакция — и просим вас — музей — дать нам научную консультацию на тему: существует удав в природе или нет. Но только точно, ясно, авторитетно, категорично. Понятно?

— Да понятно-то понятно, — сказал я, переминаясь. — Но неужели это вас действительно интересует?

— А как же? — опять очень весело удивился он. — Как же нас это может не интересовать, дорогой старик? Два года ползает по колхозам какое-то чудо-юдо, пугает народ, срывает работу, портит яблони, душит кур — возьмите, возьмите эти вырезки, покажете в музее! — и никто ничего не знает. Так кого же просить навести ясность, как не республиканскую научную организацию? Но если вы отказываетесь — хорошо! Тогда мы обратимся в филиал Академии наук.

— Да нет, почему же, — пробормотал я. — Почему же мы отказываемся? Мы совсем не отказываемся...

— Ну вот, я тоже думаю, что не надо вам отказываться, — улыбнулся он. — К тому же материал интересный, необычный, его, конечно, и напечатают и перепечатают, но ясность нужна крайняя. Сами знаете, какое сейчас время, как смотрят на паникеров.

Знаю, знаю, ох как знаю...

Я что-то пробормотал, взял заметку и пошел в отдельный кабинет: надо было обдумать все как следует. Подпись под машинописными строчками, что дала мне секретарша, была: "Д. Никитич" (следовательно, понял я, Добрыня-змееборец). Но я сразу же узнал волшебное перо местного златоуста — Даниила Ротатора. (Так я и не знаю, фамилия это или прозвище.)

"Тихи вершины Алатау, густы и темны леса его, — писал Д. Никитич, — цветисты альпийские луга и полны чудесных плодов яблочные сады предгорий. Синяя птица прилетает в эти сады из Индии. Она гнездится, эта чудесная странница небес — голубого цвета с голосом флейты, — на таких недоступных скалах, куда не ступала еще нога человека. Никто не сумел до сих пор заключить в клетку синюю птицу! До недавнего времени она была единственным индийским гостем, посетившим наш город. Но вот появился и второй гость — молчаливый, таинствен-

ный и древний. Несколько лет тому назад наш город посетил передвижной зверинец. В нем были львы и тигры, барсы и пантеры, в бассейне плавал нильский крокодил, а в отдельном павильоне жила огромная, похожая на дракона змея. Днем она спала, свернувшись чудовищными кольцами, а ночью зеленые фосфорические глаза гада... (Колонка про эти глаза; про то, как удав гипнотизирует свои жертвы; про заклинателей змей, про факиров, полколонки про Саламбо и про ее возлюбленного питона и, наконец, колонка про то, как ночью удав загипнотизировал сторожа и сбежал. Как пришли открывать зверинец, сторож спал, растянувшись на каком-то ящике. Когда его растолкали, он сказал, что его загипнотизировали, — а что скажешь иное?) ... С этих пор этот легендарный, библейский зверь поселился в яблочных садах Алатау. Два года он был неуловим и невидим. Но неделю тому назад бригадир шестой бригады колхоза "Горный гигант" Иван Федорович Потапов, обходя хозяйскими шагами свой участок..."

Тут я разыскал незанятый телефон и вызвал "Горный гигант". Подошли сразу. Грубый мужской голос спросил, кого надо. Я ответил: Ивана Федоровича Потапова, бригадира шестой бригады.

— Ну вот это я и есть, — ответил тот же голос. — Кто говорит?

Я ответил:

— Музей.

— Ну и что? — спросил Потапов.

Я сказал, что мы хотели получить от него коекакие сведения.

— Это какие же еще сведения? — спросил он почти враждебно.

Я начал спрашивать его про удава: сам ли он его видел или слышал от кого и есть ли в колхозе еще кто-нибудь, кто его видел? Когда все это произошло?

Потапов слушал-слушал меня, а потом вдруг тихо спросил:

— Командировочные получил?

— Какие командировочные? — не понял я.

— Какие? — крикнул он вдруг. — Золотые! Я вот про твои дела отпишу и сам приеду сдам вам в контору, тогда узнаешь какие! Бездельник! Черт лохматый! "Подпишите мне, пожалуйста, командировочную". И я-то, дурак, подписал, мать твою... — Он с размаху бросил трубку.

Я постоял, посмотрел на секретаря—машинистку, почесал лоб — ничего не понял — и поплелся к себе домой.

Вот тут меня и поймал этот проклятый Родионов. Он сидел на лавочке и ждал. Около его сапог лежала на земле наволочка, набитая до краев чем-то твердым и угловатым.

"Уже на дом стали приходить", — подумал я и спросил:

— Вы ко мне?

— Так точно, к вам! — Он встал. — Мне сегодня сказали, что вы в музее не будете. А у меня сегодня выходной. Я в горах живу. Вот я и осмелился...

Говорил он вежливо, но холодно и важно. И вообще он был весь какой-то подтянутый, с планшетом на бедре, этакий седенький козлик, с бородкой клинышком и строгими, выжидающими глазами. А сверх этого ничего: ни улыбочки, ни лишнего жеста. Парило вовсю, а на нем был бордовый шерстяной жилет и сапоги, на голове фуражка, на фуражке — малиновые "молнии".

"Не отвязаться", — понял я и сказал:

— Ну что ж, пойдем в комнату, — и толкнул ногой дверь. (Она у меня никогда не запиралась.)

Он осуждающе взглянул на меня, но ничего не сказал. В комнате было прохладно и темно. (Директор мне пожертвовал китайские занавески и жестяной вентилятор, и он целые сутки повизгивал и чуть не прыгал по столу.)

— Вы почтовый работник? — сказал я, подвигая старику кресло (кожаное, поповское, с бесшумно взрывающимися пружинами).

— Был, — ответил он, — сейчас уже на пенсии, работаю счетоводом в кооперативе дома отдыха ''Каменное плато''.

— А это что? Далеко от колхоза ''Горный гигант''? — спросил я как будто вскользь.

— Да нет, рядом, — ответил он. — Они на прилавках, в саду, а мы внизу, через Алма-Атинку, у шоссе.

— А вы там кого-нибудь знаете? — спросил я. — Всех знаете? Бригадира Потапова не знаете?

Очень нехороший был у меня тон, какой-то напряженно равнодушный, выспрашивающий, фальшивый. Никак он не мог не заметить этого.

— Это бригадира из шестой бригады? — спросил он. — Нет, не знаю. Так видеть много раз видел, а вот говорить что-то не приходилось.

Я думал, что он спросит: а зачем мне нужен этот Потапов? Но он ничего не спросил, только сидел смотрел на меня и ждал. ''Вот черт'', — подумал я и спросил:

— Что, змей у вас там, говорят, появился?

Не удивляясь, он пожал одним плечом.

— Да всякое говорят бабы. Я, откровенно говоря, не прислушивался. Мне это все ни к чему. — Он наклонился над своей наволочкой. — Я вот что хотел показать вам. Если разрешите, конечно...

Вся эта сухость, равнодушие, строгий взгляд, издевательская вежливость и учтивость — все это взятое вместе походило просто-напросто на вызов. И не знаю, зачем я протянул ему статью.

— Прочтите.

Он опустил наволочку, полез в карман жилетки, вынул пухлый сафьяновый футляр с золотыми инициалами, открыл, достал очки, надел, потом поднял со стола один лист и стал читать. Я смотрел на него. Читал он внимательно и хмуро. Прочел один лист, положил его на стол, взял другой, потом третий. Читал вдумчиво, не пропуская ни строки. Дочитал до конца все три листа, снял очки, спрятал в футляр, щелкнул им, положил в карман и сказал:

— Ну что ж, вполне художественно. Только вот про синюю птицу — зря, она не голубая, а темно-синяя с отливами, как вороненая сталь. И поймать ее тоже можно. Трудно, но можно. Я ловил. Это вы перемените. Это ведь дрозд, только зовут его — синяя птица. Так вот...

Он снова нагнулся, размотал бечевку на наволочке и достал довольно большую игрушечную лодку с тремя гребцами на корме. Лодка была черная, а фигурки — желто-палевые. Старик поставил игрушку на стол и посмотрел на меня. А я тоже смотрел на нее и думал: да где же все это — и лодку, и фигурки гребцов, стоячих, а не сидячих, — видел?

— Позвольте, позвольте, — сказал я, — да ведь это же... — Я хотел сказать: "Это же из музея игрушек", но почему-то осекся.

Вот только тут он позволил себе чуть-чуть улыбнуться, вернее, не улыбнуться, а только слегка растянуть углы рта.

— Узнали? — сказал он. — Точнейшая копия, могу сказать без хвастовства. Вот вырезал и подношу музею!.. Дар Родионова. — И он слегка даже поклонился.

— Спасибо, — сказал я ошарашенно. — Большое вам спасибо, но... я не знаю... — Я в самом деле не знал, как сказать ему, что эта игрушка — индийская или яванская джонка (даже не подлинник, а ремесленная копия) — ни на кой черт нам не нужна. Да ее и поставить негде, ни к одному отделу она не подходит. — Но только я не знаю... Мы ведь игрушки не собираем, мы республиканский музей.

А он уже опять подтянулся, одеревенел и смотрел на меня сурово.

— Не собираете игрушки? — спросил он любезно. — А вот эта, скажите? Это тоже игрушка? — Он снова наклонился над наволочкой и поставил на стол одну за другой несколько вещей: статую будды, позолоченную и раскрашенную — алые губы, голубые глаза, белый лотос в руке, потом золотого китайско-

го дракона и наконец узорчатую резную башню, похожую на винтовую лестницу с карнизами, перилами, узорной верхушкой, — все это было сделано чисто и точно под слоновую кость. Надо сознаться, что такие работы мне приходилось видеть не часто.

"Да, но делать-то с этим что? — тоскливо подумал я. — Ну, будда еще туда-сюда — тут где-то рядом был буддийский монастырь, ну а все это..."

— Так вы полагаете, что все это игрушки? — спросил Родионов. Он сидел на стуле и не отрываясь смотрел на меня.

— Да нет, не игрушки, — ответил я неловко. — Будду мы у вас возьмем и оплатим...

— Ну вот и та лодка тоже не игрушка, — отрезал он и начал собирать и засовывать в наволочку все свои изделия. — Эта лодка мертвых из изобразительного музея Пушкина. Если вы археолог, то должны были ее видеть. Там даже фотографии с нее продают. Я по фотографии резал, а потом ходил сличать. А вы говорите игрушки! Для исторического отдела эти игрушки — первое дело.

Вот черт возьми, надо же, надо же так сесть в галошу! И главное: только что он сказал про музей Пушкина, как я вспомнил, что ведь десятки раз видел я эту барку и даже знаю, где она стоит — по правую сторону от входа, возле шкафчика с мумиями: мумия крокодильчика, мумия кошки, голова женщины на подставке, а рядом, в другом шкафу, на нижней полке — вот эта барка. Но доказывать или говорить что-нибудь, конечно, уже было ни к чему.

— Так вот будду мы возьмем, — тупо повторил я.

— Спасибо, не надо, — гордо отрезал он. — Пойду через парк, кину детишкам, пусть играют... Теперь вот какое дело...

Он полез в планшет и вынул оттуда что-то большое, плоское, завернутое в суровую тряпку, развернул тряпку, а под ней оказалась пергаментная бумага. Развернул пергаментную бумагу — в ней оказались три небольших осколка сосуда: горлышко, до-

нышко и стенка. Все это было здорово обточено водой. Но я сразу же узнал останки родной сестры своей корчаги. ''Ведь притащит, идиот, две или три такие цистерны, — в ''Горном гиганте'' ими все участки засорены, — и не повернешься, и не посадишь никого''.

— Откуда это у вас? — спросил я бесцельно, вертя в руках обломки.

— Из колхоза ''Горный гигант'', — ответил он спокойно. — Как раз из тех мест, где голубая птица поет и удав ползает.

''Вот проклятый, — подумал я. — А ехать все равно придется''.

— Ну что ж, приеду посмотрю, — сказал я, вздыхая. — Вы оставьте здесь это все, я потом как-нибудь...

Но он сидел, смотрел на меня так, что я невольно спросил:

— Еще у вас чего-нибудь?

Он вдруг молча наклонился, полез в планшет, достал оттуда сложенный вчетверо лист ватмана.

— Что это? — спросил я, не протягивая руки.

Тогда он, сверкнув глазом, молча развернул, вернее распахнул, бумагу и положил ее передо мной на стол. Это был план. Зеленым карандашом были нанесены холмы, деревья, кудрявые кусты (так символисты изображали облака), а посередине прямоугольник с крупной надписью: ''Копать здесь''.

— Ну и что здесь выкопаешь? — спросил я уныло.

Он сверкнул на меня глазом и ответил.

— Если копать по-умному, — это он подчеркнул особо, — то большие вещи можно найти.

— А именно, — спросил я, — корчаги?

Никак не удавалось мне справиться со своим голосом. Как ни хотел я говорить тихо и спокойно, не получалось. Старик посмотрел на меня и отвернулся.

— Разнообразные, — ответил он коротко, опять посмотрел и опять отвернулся. — Два сосуда выкопаны, в правлении стоят, приезжайте заберите, а здесь целый римский город можно откопать.

— Даже уж римский? — улыбнулся я. — Ну, ну.

А мне ведь было по-настоящему совсем не смешно. Я понимал: эта новая идиотская история мне будет стоить изрядно крови. От меня этот кладоискатель пойдет к директору, а у директора пропадают спущенные еще с начала года кредиты на научную работу, за неиспользованием их срезали в прошлом году, срежут и в этом, а в будущем так и совсем не предусмотрят: раз не можете освоить, так зачем просить? Директор был человек новый, в музее никогда не работал, и этот свирепый старик со своими планами, черепками, римским городом, закопанным где-то тут поблизости, здорово может закрутить ему голову. Он ведь не знает, что такие приходят в музей чуть ли не каждый месяц. Один приносит карту местности, где зарыт клад Александра Македонского, другой отыскал в подвале чемодан со старыми бумагами, а в них оказалась десятая глава "Евгения Онегина", отстуканная на машинке, третий пошел гулять в горы, и там за ним вдруг погнался дикий человек, четвертый же... ну, вот этот четвертый сидит сейчас передо мной и свирепо глядит на меня. Он старый, восторженный дурак, но от него скоро не избавишься. У таких мухоморов не поймешь, чего больше — ослиной настойчивости или восторженной петушиной злости.

— Да почему же именно римский? — спрашиваю я уже вяло. — Ну пусть бы какая-нибудь Усуни или Саки, ну это еще туда-сюда, а римляне-то как сюда попадут? Они-то вон где жили!

Он усмехается. Я ему буду толковать про римлян! Так академик смотрит на шарлатана, выдающего себя за профессора.

— А что Александр Македонский воду из Сырдарьи шлемом черпал, вы знаете это? — спрашивает он меня в упор.

Этот проклятый Александр Македонский! Никуда от него не уйдешь в Средней Азии — он проходил везде, произносил афоризмы, зачерпывал воду шлемом, зарывал сокровища в каждом холме.

— Так ведь он же грек был, — кричу я, сорвавшись, — грек! Вы же слышите — Ма-ке-дон-ский! Значит, грек, если Македонский. А потом, где Сырдарья, где Алма-Ата? Есть разница?

Он усмехается все тоньше, все презрительнее.

— Никакой особой разницы. Обе в Казахстане. Сойдите вниз, взгляните на карту. А греки и римляне одной нации.

— Это как же так? — спрашиваю я ошалело.

— Да вот так, — отрезает он. — Античность!

Ну что тут делать и говорить? Я только развел руками, но это-то вдруг и вывело его из себя. Он даже фыркнул по-кошачьи.

— Ну что, что вы на меня машете? — зло заговорил он. — Махать нечего, если дело говорят. Там, коли хотите знать, уже находки сделаны. Пресса об них писала. Вам, как музейному работнику, первому надлежало бы знать.

— Это про римскую монету, что ли? — спрашиваю.

Он зло улыбается.

— Ага! Римскую? Признаете, что римскую? Так что ж, ее нарочно подбросили, что ли?

— Да нет, зачем же, — вяло отвечаю я, — кто ее будет подбрасывать? Монета, вероятно, подлинная.

— Ну и вот, — успокоенно кивает он головой. — Так бы и говорили с самого начала.

Тут и я засмеялся. Так уж это все хорошо получалось. Он крыл меня по всем швам!

А история с монетой была такая: год тому назад (значит, еще до моего поступления в музей) республиканская газета поместила на четвертой полосе большую статью: "Казахстан был римской колонией?" Знак в конце был чистым кокетством. Автор статьи, профессор Института национальной культуры Столяров никаких вопросов не ставил, а просто утверждал, и все. Утверждал же он очень многое. Казахстан от Арала до Тянь-Шаня, утверждал профессор, был частью римской провинции "Азия" ("остатки империи Александра Македонского"). Правил

этой провинцией римский наместник Сабанар; он впервые ввел в колонии латынь вместо "бытовавшего там греческого языка". Случилось это, по всей вероятности, в двадцатых годах первого века нашей эры. На западной окраине Алма-Аты, "в районе нынешних садов и огородов", находился тогда центр провинции с правительственными зданиями и дворцом губернатора. Холмы, тянущиеся вдоль улицы Дачной, не холмы, а "могилы императорских особ". (Каких-каких?) И наконец, заключал он перечень своих открытий, "представляется несомненным, что клинопись, несколько осложненная по сравнению с ассиро-вавилонской и персидской, была в ходу в Казахстане две с половиной тысячи лет тому назад".

И обо всем этом поведала профессору римская монета, откопанная где-то в огороде. Статья иллюстрировалась ее перерисовкой. На одной стороне этой монеты был изображен бюст бородатого мужчины "в обычном римском шлеме", на другой — "фигура человека, освещенного лучами солнца". ("Ногами он попирает побежденные народы", — писал профессор.) Вокруг бюста шла надпись, которую автор расшифровывает так: "Imp[erator] Cave[t] Elin[orum] Mu[ndum] Sana[bar]", то есть "Император хранит мир эллинов Санабар". На обратной стороне около фигуры человека была другая надпись: "Orines Mu[ndus]" — "Мир Востока", — и внизу непонятные буквы "P. X. X. T.".

Писалось далее, что монета эта совершенно уникальная. В Эрмитаже, правда, имеется динарий этого же самого Санабара, но надпись на ней халдейская, а не латинская. Английский историк Суингем относит такие монеты к началу двадцатых годов первого века нашей эры. Кончал профессор призывом ко всем научным учреждениям, археологам и краеведам произвести раскопки по Дачной улице. Лет сорок тому находили монеты, утварь, золу, столбики с орлами. Зола — следы кремации, орлы — знамя легионов.

Так можно же предполагать, какие сокровища хранят эти холмы!

Через два дня после этой статьи на дачные огороды двинулись люди с заступами и пятериками. И вскоре несчастные холмы выглядели так, как будто на них выпустили стадо носорогов. Но копались не только любители. (Ведь боевые орлы отливались из чистого золота и серебра — передавалось из уст в уста какое-то замечание профессора.) Вся десятая школа — самая большая в городе — вышла сюда на субботник с лопатами. А однажды, проходя случайно по этой же улице, я встретил Добрыню Никитича. Он шел, мудро и загадочно улыбался. Это был пузатый, грузный старик в пенсне, кокетливый и величавый, с розовой лысиной и острым подбородком. В городе его знали. Он преподавал литературу в пединституте и печатал эссе на литературные темы. И я читал их, когда мне попадались. Так, вероятно, возвышенно и мудро писал бы буриданов осел, если бы его научили грамоте. Когда мы поравнялись, Добрыня поднял руку, и я остановился. Поздоровались. Он спросил, читал ли я вечернюю газету. Я ответил, что нет, не успел.

— Прочтите, вам должно понравиться, — посоветовал он. — Я там поместил очень интересный этюд. Ничего особенного, конечно, но очень картинно и впечатляюще. Не понимаю, как они рискнули? — Он гордо хихикнул. — Такая, знаете, историческая миниатюра или мозаика золотом. Идут римские легионы, сверкают римские золотые орлы, дышат степи, гремит музыка... ну и тому подобное... Легионы ведет седой римский воин, изрубленный в боях. Ему уже пора на покой, но он все-таки хочет познать неведомое. Обязательно прочтите!

Статью Добрыни я прочитал через пять минут, стоя у газетного киоска.

"Жарко дышат надвигающиеся пески, — писал он. — Вспыхивает зарево степных огней, слышатся незнакомые и такие созвучные окружающему миру

мелодии. Это просторы неведомой земли... Пески, конечно, не зеленые луга; бесплодные равнины не хлебные поля. Но тот, кто ведет эти легионы, знает: надо идти на восток, свет оттуда... Это своего рода последнее рукопожатие земле... Странно, но факт: римские орлы в своем стремительном полете долетели до предгорья Алатау и смежили свои крылья под алма-атинскими тополями. И там, где сейчас только зеленая трава да синее небо..." И еще, и еще, строк на двести этих "степных огней", "волшебных мелодий", "рукопожатий земле".

После того как я опустил газету, у меня было такое чувство, словно я напился касторки с сахарином. Но чувство-то чувством, а римская-то монета была действительно откопана в огородах на окраине Алма-Аты, и действительно я не считал ее подброшенной. Поэтому и ответить старику на его вопрос мне по существу было нечего.

А он сидел на крае стула и глядел на меня с хмурой снисходительностью. Он уже понимал, что я окончательно зашился. Если монета подлинная, то не свят же дух принес ее на Дачную улицу. Значит, действительно римляне были тут.

— Слушайте, — сказал я горестно, — ну как вам все это объяснить? Ну, римская монета, ну, Санабар там какой-то, не слыхал я такого среди римских наместников, ну, царек такой паршивенький периферийный, верно, был — значит, вероятно, мог быть и наместник Санабар. Но ведь грош цена всему этому. Разве римская монета — документ? Разве доказывает она что-нибудь? Эх, вот не были вы никогда коллекционером! Да вы знаете, сколько их разбросано по свету? Тонны! Десятки, сотни тонн! Римляне ими заплевали всю землю. Они как семечки. Нет места, где не валялось бы этого добра. Из рук в руки, из рук в руки — вот и дошла медяшка до алма-атинских огородов. А стоила она и тогда не дороже солдатской пуговицы.

— Да не медяшка она, а серебряная, — рыкнул на меня старик.

— Ну да, серебряная! А знаете, сколько в ней серебра? — спросил я. — Два процента! И того не будет... В этих бляшках девяностовосемь процентов примеси. Когда я учился в школе, любая такая монета шла у нас за двугривенный. Ну, много-много — за полтинник, если была побольше. У меня их полный ящик когда-то был. Так что, если эту ерунду еще учитывать...

Он не стал терять больше со мной времени. Он попросту чинно встал, взял фуражку, надел ее, отряхнул брюки и пошел из комнаты. А на пороге остановился и сказал строго, укоризненно:

— Вот вы такие монеты по школьному делу за двадцать копеек или там за полтинник покупали, ящики ими набивали, все может быть, не спорю — чего не знаю, о том никогда не спорю, — да здесь-то она не покупная, а обретенная. Я же ее лично откопал в огороде. Так что вы меня не агитируйте. И может быть, действительно в Москве по всем улицам римские монеты разбросаны — чего не видел, того не знаю! — но здесь каждая вещь со смыслом... Вот так! И до свиданья.

И он забрал свои вещи и вышел. ”Побежал к директору жаловаться”, — понял я.

Глава третья

И действительно, черед день директор вызвал меня к себе в кабинет. Когда я вошел, он сидел за письменным столом, — высокий, крепкий мужчина лет сорока пяти — пятидесяти, в военной гимнастерке с расстегнутым воротом, с белоснежным воротничком под ним — и писал. Около его локтя лежали три красных черепка — горлышко, донышко и стенка, стояли лодка мертвых и золотой будда. Я взглянул на них и вздохнул. Директор посмотрел на меня и рассмеялся.

— Те самые, те самые, — сказал он весело. — Ты что же это, дорогой товарищ, о казенном добре не печешься? Какой же ты, к бесу, хранитель, а? Приносит тебе человек ценные экспонаты, отдает, заметь, задаром, а ты нос воротишь, отказываешься. Как же это так? — Он взял будду и стал вертеть его в руках. — Ты посмотри, от чего ты отказался, чудак? Работа-то какая. Смотри! Каждый ноготок отдельно и блестит, сволочь, как наманикюренный. А узор-то, узор на подоле! Его только в лупу рассматривать. — И он действительно вынул лупу и стал вертеть будду так и этак. — И ведь каждый, каждый завиточек, — сказал он восхищенно. — На, на! Посмотри! Иголкой, что ли, он его резал?

— Да, но нам-то зачем это? — спросил я. — Ну, будда, ладно, пусть валяется в запаснике. А баржа мертвых зачем? Мы что — древний Египет, Нубия?

— Опять зачем? — Директор откинулся на спинку кресла и строго посмотрел на меня. — Нет, это ты брось. Это ты по-настоящему брось. А антирелигиозная пропаганда? Ее кто за нас вести будет — Пушкин? Мы должны ее вести — ты должен ее вести, научный сотрудник, понимаешь? Вот я еще ему книжку Ярославского дал — "Как живут и умирают боги". Заказал вырезать Озириса, Адониса и Мирту. Мы все это выставим в вводном отделе — языческие христы. А рядом — икона нерукотворного спаса. Это уж я принесу. Стоит у меня такая, я на ней опыты показывал. Чувствуешь, какая пропаганда? — И он хитро подмигнул мне. — А ты текстовочку напишешь получше, позабористее.

"Да в кого же он меня хочет превратить?" — подумал я и официально сказал:

— Да ведь это дело массовички, Митрофан Степанович, что я-то в этом понимаю?

Он скорбно посмотрел на меня, вздохнул и покачал головой.

— Ах, как это мы любим все валить на других, то есть так любим, так любим! Она массовичка, а ты

научный работник, — прикрикнул он вдруг, — ты ей напишешь, а она твое писание до масс будет доводить, понял? Ну ладно, ты посиди, пожалуйста, одну минуточку тихо. Тут мне одну такую бумажку прислали... — Он вздохнул и покачал головой. — Кто там их только придумывает, не знаю. Сидит какая-нибудь штучка в перманенте и пишет, пишет. Сядь, пожалуйста, не ходи.

Было накурено и жарко. Я подошел к окну и распахнул его настежь, прямо в сирень. Потом взял графин и полил цветы на подоконнике, попробовал включить вентилятор — он не работал. Тогда я вспомнил, что он не работал и вчера и позавчера, и об этом все говорили и никто ничего не делал, снял телефонную трубку и задумался, вспоминая номер.

— Нет, ты сядь! Сядь! — повторил директор. — В глазах мельтешит! Ну что, в отделе есть что нового?

Я усмехнулся. Что у меня могло быть нового? Да ровно ничего — черепки и камни. Вся "древнейшая история Казахстана" в старой экспозиции умещалась на одной стенке, от окна до окна. Три щита — одна витрина. Щиты были обычные наши щиты — фанера, обтянутая кумачом. На первом щите — зуб мамонта, похожий на окаменевшую губку, а под ним несколько кривых осколков (каменный век); на другом — узкий, как только-только что народившийся месяц, бронзовый серп и круглое зеркало на длинной ручке, кольца от уздечки да три ряда голубых и зеленых бус, на третьем — темно-синие изразцы, содранные московской комплексной экспедицией с какого-то знаменитого мавзолея, да склеенная из осколков белая миска с черной свастикой (феодализм). Витрина же была и того проще: в ней помещался вырубленный кусок могилы — горшочек с просом да кости, собачьи и человечьи. Их открыла и доставила нам лет пять тому назад сотрудница комплексной экспедиции. Сосуд был обгоревший, кривобокий, треснутый — с одной стороны совсем черный, с другой — кирпично-красный, ну, одним словом, та-

кой, какой не жалко было сунуть даже и покойнику в могилу. Погребен в могиле был старик, и, наверно, очень дряхлый, скрипучий старик с ревматическими пальцами и съеденными зубами. И пес около его ног тоже был желтозубый и старый. Больше в могиле не нашли ничего — ни ножа, ни стрел, ни бус.

Но вот эта нищета и является, говорила москвичка, самым ценным в погребении. Курганы вождей, могильные насыпи царей и ханов, погребальные холмы над знаменитыми воинами, убеждала она нас, хорошо известны науке и давно изучены. А эта бедная, заброшенная степная могилка отлично отражает рядовой быт кочевников VI века.

Горшок нравился и мне, но по совсем иным основаниям. Я смотрел на него и думал: ну что ж, горшок как горшок, таких сейчас сколько угодно у деревенских стариков. Сколько раз, наверно, со зла толкали его деду под нос, пнув по дороге его никчемного пса: "Пшел, окаянный! Что лезешь под ноги!" И вот дед умер, пса зарезали, горшок разбили (целый в могилу не кладут), и все это через тысячелетия утратило свое настоящее человеческое значение и стало научной ценностью и памятником. И не сохранилось в этом памятнике ни старости, ни бедности, ни человечества. Осталось одно: "Усуньское погребение VI века" — полутораметровый ящик под стеклом.

О том, какое значение для науки имеет это погребение, очень бойко рассказывала посетителям экскурсоводка моего отдела — молодая разбитная девчонка со звонким голосом и крутым хохолком цвета свежей сосновой стружки: "Подойдите, товарищи, поближе. Так! Всем видно? Всем! Отлично! Итак, переходим к древнейшей истории нашей республики. В этой витрине (девушка, отойдите так, чтобы и всем было видно!) вы видите погребальный инвентарь усуней VI века. Обратим внимание на те предметы, что находятся в могиле... Ну, прежде всего горшок. В нем находилось просо". И о просе: "А просо,

товарищи, одна из древнейших земледельческих культур мира". Затем о собаке: "Около ног старика, как будто охраняя его, лежат кости собаки. Это не случайно, товарищи. Собака вывела человека в люди". И пошла, и пошла, и пошла... Об усунях, о саках, еще о чем-то. Голос у девчонки звонкий, вид восторженный, она машет руками, улыбается, поворачивается к посетителям, и вот уже побежал шепоток по рядам, ближние подвигаются еще ближе, дальние приподнимаются на цыпочках и стараются заглянуть в стеклянный ящик с серыми костями и красным черепком. Такая древность! Такая ценность! Такая редкость!

Так продолжалось с месяц, а потом экскурсоводку забрали в отдел реконструкции сельского хозяйства — и около моих щитов стало сразу пусто и скучно. В конце концов туда даже перестали сажать дежурную — перевели вниз, к семиреченским тиграм, а то у одного, самого страшного, обрезали усы. Попробовала было пойти к моим щитам заведующая культурно-массовым сектором, но с ней сразу же вышел грех. Кто-то из экскурсантов вдруг спросил: "А какой урожай проса снимали с га древние усуни в VI веке?" Вопрос был не предусмотренный инструкцией, заведующая смешалась, вспомнила мои рассказы про мифическую египетскую пшеницу, которая якобы дает сам-сто, да и ляпнула: "Сто", а потом перепугалась еще больше и пояснила: "И отсюда выражение — "сторицей". Скандал мог получиться грандиозный, с оргвыводами, объяснительными записками и прочими неприятностями. Дело-то в том, что как раз в это время знаменитый Чаганак Берсиев снял самый большой урожай проса в мире, и урожай этот, конечно, далеко-далеко не был сам-сто. Получилось, как тогда любили говорить, опошление подвига знатного просовода или и того хуже — клевета на советскую действительность. Заведующая, сообразив все, после экскурсии, полумертвая от страха, влетела в кабинет директора, рухну-

ла в кресло и заплакала, забилась, захлюпала, закричала.

— Это все он, он, он! — орала она. — Все этот ваш чертов хранитель! Я знаю, он нарочно под руку рассказывает про египетскую пшеницу. Зачем он рассказывает? Что, у нас в Советском Союзе своей пшеницы нет? Но пусть он не думает, что это ему пройдет. Я знаю, куда пойти!

Пойти она никуда не пошла (успокоили, дали воды, высморкали и не пустили), но возненавидела меня с тех пор люто. После того как у меня не стало экскурсовода, я тихо сидел наверху и инвентаризировал. Но скоро и этому должен был прийти конец: кончались инвентарные карточки. И сейчас, сидя против директора и глядя, как он быстро пишет что-то, видимо, очень решительное, я сказал:

— Работать мне уже не над чем.

Он поднял голову и недоверчиво взглянул на меня.

— Да ну, неужели правда все кончил? Вот молодец! А то говорят, забрался наш хранитель на хоры и что там делает — никто не знает, наверно, водку со столяром хлещет.

Водку со столяром мы, верно, "хлестали", но только не в музее, а по холодку в парке, на травке под сиренями.

— Что ж, — ответил я, — не будет карточек, верно, придется водку хлестать, только вот не по сезону она.

Директор задумчиво поглядел в окно.

— Да, жарища, черт ее! В тени сорок! И как ее дед лопает, не понимаю. Я вот сейчас в рот взять не могу, а он выльет пол-литра в кружку от бачка, крутанет — и все одним духом до дна. И не закусывает, собака. Понюхает корочку — и все. А еще на задышку жалуется. Какая там у него задышка! Его еще лет на сто хватит. Это, брат, не мы с тобой!

Мы оба немного посмеялись.

— Что ж, старых верненских кровей мужичок, — сказал я, — он ее в этом соборе еще лет тридцать то-

му назад с попами хлестал. Бегал, рассказывает, на Пугасов мост за смирновской очищенной.

— Как ты сказал? Смирновской? — переспросил директор и остановился, прислушался. — Да, да, смирновская, смирновская! Верно, верно, была такая водка — помню! Шустовский коньяк, смирновская водка, папиросы "Зефир". — Он посидел, подумал, поулыбался чему-то своему и вдруг сказал: — Ну, с этим дедом ладно, пусть... А вот другой дед на тебя в обиде. — Он кивнул головой на тетрадку. — И лодку не взял, и не с полным вниманием отнесся к его плану. Что ты ему насчет древнего горшка сказал? Сказал, что не надо, не поедем за ним?

Я пожал плечами.

— Наоборот, сказал, что надо и обязательно поедем.

— Да? — переспросил он. — Ну и правильно, поезжай, бери горшок и привози к себе. И не тяни ты, Христа ради, с этим, не тяни... Что тут тянуть? Раз вещь древняя, то рассуждать нечего, мы же музей.

— Это конечно.

— Ну а раз конечно, то и делай, как надо! А то вон твоя благожелательница уже ходит с раздутым горлом. "Ничем себя наш ученый утруждать не желает, даже поехать взять музейную ценность и то ему лень". Чувствуешь змею? А язычок-то ей не привяжешь. Нет, ты поезжай, поезжай, возьми этот горшок.

Он говорил и как бы извинялся передо мной, и я отлично понимал его. Никакого смысла в этих горшках он тоже не видел, но раз мы музей, а горшок древний, то давай его сюда. Таков приказ, не подлежащий обсуждению. А директор полжизни провел в армии, в музей попал по какому-то непостижимому стечению обстоятельств (таких непостижимостей много появилось в эти годы) и поэтому научную дисциплину тоже понимал по-военному. Раз положено, так о чем же тут и говорить! Музей... И все-таки в моем отделе он чувствовал себя всегда несколько неловко, совсем не так, как, например, в отделе

хлопководства. Там все яснее ясного. Вот экспонат, вот диаграмма, вот схема производственного процесса, вот портрет Вождя и над ним крупно: "Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей". Все понятно и ясно. У меня же ни черта не поймешь: каждая вещь имеет не свою обычную ценность, а какую-то особую, так называемую научную, и законы ее никак не уловишь.

Вот, например, ящики на чердаке. В них черепки; одни черепки обливные, то есть чудесные, блестящие, разноцветные, все в каких-то павлиньих и змеиных переливах; другие — просто-напросто осколки горшка. А ценность у тех и других одинакова. На каждом свой шифр, например: "Тр. 35. Б. Р. 3. С. 4. Б.", а означает это — "Тараз. Раскопки 35 года. Баня. Раскоп 3-й. Слой 4-й. Роскопку вел Бернштам".

Когда я объяснил это директору, он даже руки потер от удовольствия. Так ему понравилось то, что у каждого черепка есть своя формула. И потом ко всему, что я ему показал, директор относился покорно и уважительно, но с каким-то веселым недоумением. Повторяю же, он был военным человеком.

Дел у директора была масса и без меня. Все в музее осыпалось, рушилось, протекало, валялось без призора. Никто не знал, что у нас есть, чего нет и что нам надо еще. Целый день директор мотался по комиссиям, подкомиссиям, наркоматам, главкам и в кабинет возвращался только под вечер, когда спина на гимнастерке делалась у него черной. Человек он был энергичный, хваткий, даже горластый, умел выжимать и уговаривать. Но все это относилось к армейским делам. В музее же у него постоянно что-то не ладилось. То и дело он попадал впросак, писал не то, что нужно, а на самые простые вопросы ответить не мог, просил денег на то, на что не следовало просить, ссылался на то, на что ссылаться не полагается. Дело осложнило еще и то, что в свое время он кое-кого прижал, и те поэтому пакостили ему с истинным удовольствием.

Однажды, зайдя к нему в кабинет, я застал его на диване с мокрым полотенцем на лице. Именно на лице, а не на голове. Из-под мокрого комка высовывался один выбритый до синевы подбородок. Полотенце было тяжелое и невыжатое, вода текла ему прямо на распахнутую грудь, на ломающийся от свежести и белизны воротничок. Я притворил дверь и окликнул его. Он не пошевельнулся. Я поднял его руку. Рука была тяжелая, горячая, но совершенно мертвая. Я положил ее ему на грудь, подошел к телефону и снял трубку, но номер назвать не успел. Он вдруг сбросил полотенце (оно сочно шмякнулось о пол) и сказал: "Не надо. Это голова болит". И сказал о голове так, как говорят: "Не надо, это рак". Боль на директора налетала внезапно. Он сидел за столом и писал или разговаривал с кем-то — и вдруг вздрагивал, бледнел, у него отвисала челюсть, он с усилием глотал что-то, зеленел все больше и больше и вдруг очень ровно, опираясь руками о стол, поднимался с места, и плавно выходил из кабинета. А потом лежал на диване, плотно закрыв глаза, его тошнило.

И все-таки при всем том он не забывал меня. Раз в неделю, какие бы дела у него ни были, он вдруг вспоминал о том, что наверху, где-то чуть ли не на колокольне, сидит человек, который не то водку там пьет, не то карточки пишет, и, смешливо качая головой и подсмеиваясь, поднимался ко мне.

— Ну, как живем, что нового, хранитель? — спрашивал он.

Новыми были кости, черепки, бронза, которые я то стаскивал к себе с чердака, то опять, занеся в карточки, уносил на чердак и в подвалы. Директор ходил среди моих камней и каменных баб, кряжистый, плотный комбриг в отставке (скажем прямо, в какой-то очень странной отставке), в белой летней гимнастерке, с армейским ремнем, пряжкой-звездой, в брюках галифе и таких надраенных сапогах, что с них все время спархивали солнечные зайчики (толь-

ко армейцы так умеют чистить сапоги), и улыбался всему, что видел. Вопросов он сначала не задавал совсем, а потом понемногу стал задавать их все больше и больше и наконец столько, что мне уже было нечего отвечать. Он много читал, и память у него была отличная, военная. Он ничего ни с чем не смешивал и ничего не путал. И поэтому, когда он брал в руки гладко отшлифованный, серый или черно-синий кусок кремня и коротко говорил: "Неолит" — спорить не приходилось. Это был неолит. Точно так же, когда я ему однажды показал разукрашенный сосуд, где все гребни, круги, пучки тончайших пунктирных излучений чередовались в какой-то дикой гармонии взлета и падения, в круговом вихре уравновешенных и в то же время взорванных и взметенных линий, он сказал: "Вот только-то сегодня обнаружил в отделе хранения, смотрите, какой чудный андроновский сосуд", — образованно воскликнул: "А-а-а! Из Ачинска" — и прошел мимо.

Его уже все труднее и труднее было удивить чем-нибудь.

И все-таки раз я его не только удивил, но даже, пожалуй, потряс. Я показал ему цветы. В маленькой фанерной коробочке со стеклянной крышкой (в таких продавали чернослив) на вате, уже совсем серой, лежали желтые, белые, кремовые, почти черные свернувшиеся лепестки. Каждый с ноготь. Были они сморщенные, ветхие, легчайшие и какие-то очень, очень древние. И чувствовалась в них великая боль увядания. Это была насильственная, грубая смерть цветка. Коробка была наглухо запечатана и лежала в дубовом ящике. Я нашел этот ящик на чердаке среди волчьих и медвежьих черепов.

— Что же это такое? — спросил директор в растерянности.

Я не ответил и сунул коробочку ему в руки. Он бережно, почти робко взял этот крошечный стеклянный гробик с привешенными к нему огромными чер-

ными, как пломба, печатями, положил на ладонь и стал рассматривать.

— Сколько лет всему этому? — спросил он тихо.

Я ответил, что не меньше трех тысяч.

— Что? Три?.. — воскликнул он в ужасе. — Что же это такое?

Я ответил, что это белая акация. Когда-то целую ветвь ее сорвали с дерева и возложили на грудь умершего фараона Аменхотепа II. На лбу его, уже пустом, как горшок, лежал венок из лотосов, голубых и белых, а на груди эта акация. Тело этого фараона, сухое, желтое и звонкое, как чурка, отыскал в 1899 году французский археолог Поре в так называемой Долине царей, что около Фив, и снял с груди фараона цветы и еще какой-то амулет. Все это он поднес мадемуазель Ольге Козловой в день ее ангела 5 декабря. Обо всем этом было написано тушью по-французски на обороте ящика.

— А амулет где? — спросил директор.

— А амулета не было, были только эти цветы. Три тысячи лет тому назад их кто-то положил на грудь покойника — буйного, сильного человека, искусного воина, лук которого никто не мог натянуть, кроме него самого, — так хвастался он даже в своей надгробной надписи. Три тысячи лет они пролежали у него на груди.

— Отдай, отдай в отдел хранения, — сказал директор, — пусть запрут в шкаф вместе с фарфором. Ведь три тысячи лет этой белой акации.

Белые акации цвели в ту пору во всем городе. Это были высокие, гибко изогнутые деревья. От них исходил сладкий, пряный запах, и было под ними всегда темновато. К ним прилетали большие, таинственные, мохнатые сумерницы. Над ними, там, где уж не было ветвей и сияло солнце да небо, кружились золотистые бронзовки. Верно, все так же было и в Египте в тот день, когда кто-то сорвал с дерева эту ветку и возложил на грудь фараона.

А кем он был, этот человек? Жрецом, женой, любимым рабом? Рабыней? Кто же это знает? Никто ничего не может знать про эту смешную малость, про засохшие цветы, найденные в старинной книге или на груди покойника.

— Так ты съезди возьми горшок, — повторил директор и встал из-за стола. — Возьми! ”Возьми себе шубу, да не было б шуму”, как говорит Александр Сергеевич, а то видишь, что он пишет? — Он достал из папки две тетрадные страницы и подал мне. — Вот тут, где отчеркнуто, читай.

”Хранитель этого отдела, — прочел я, — человек еще молодой, но гонор у него непомерный. Все-то он знает лучше всех. А как проговоришь с ним десяток минут — видишь, что он полный Профан и Невежда — (оба слова с большой буквы). — И вот думаешь: да как же можно поручить изучение Родного Нашего Края — (все с большой буквы) — человеку, у которого нет к нему интереса?! Я очень прошу вас, уважаемый товарищ нарком, посмотреть на эти дела с серьезной точки зрения. Кроме того...”

Я бросил письмо на стол.

— Ты на почерк-то, на почерк-то обратил внимание? — сказал директор.

— Почерк потрясающий, — ответил я. — Прямо высший класс! И в остальном он тоже во всем прав. Никакого интереса я к нему не имею и говорить с ним тоже не буду. Начни — и дня не хватит. А он, видать, жук! Вот монету античную откопал где-то в огороде да принес в институт, так ведь какой шум там затеяли — римский легион в Алма-Ате! Дворец проконсула Санабара на месте колхоза ”Горный гигант”. Золотые орлы, императорские могилы. Ведь это все с большого похмелья и то не выдумаешь. И ничего — сошло. Здесь напечатали, в Москве промолчали. Кому охота связываться с психами! Так вот он теперь к нам пришел, экспедицию просит туда послать! Гоните вы его в шею!

— Да, просит, просит, — задумчиво согласился директор. — Даже докладную подал. Ну, экспедицию не экспедицию, конечно, а эти... как они у вас там называются? Разведочные раскопки, что ли? Ну, разведочные раскопки сделать можно бы было.

Я хотел огрызнуться, но сдержался и только спросил: какой же смысл он находит в этих разведочных раскопках? Поехать-то, конечно, можно — лето, погода отличная, яблоки поспели, карточки у меня все равно кончились, так почему же не поехать, но смысл-то какой во всем этом? Ну, привезем еще десяток корчаг да черепков, а делать что с ними будем? Их у нас и так с десяток ящиков на чердаке, и все из одного и того же места. Так и простоят, пока кто-нибудь не догадается снести их в мусорную яму.

— Дело не в черепках, — сказал директор. — Да ты что с ним, вовсе не разговаривал? На этом месте под землей находится древнейший город Алма-Ата, вот что он говорит. Есть, есть тут город, это и я слышал. Так вот он толкует, что нашел его. Сколько, мол, ни искали, никто найти не мог, а он нашел. Видишь, как он повернул.

Я усмехнулся.

Как все-таки легко завести директора, когда начнешь говорить ему о непонятных вещах! Но я ничего не сказал ему. Я только спросил: кого же он думает послать на эти разведочные раскопки. Я бросить отдел не могу, у меня на носу юбилейная выставка Хлудова, целый месяц придется копаться в запасниках музея, отыскивать его картины и рисунки и составлять каталог. Или он думает, что выставку можно отложить? Если отложить, то тогда другое дело, я поеду, поживу с недельку-другую на чистом воздухе.

— Нет-нет, ни в коем случае, — встревожился директор, — занимайся, занимайся, пожалуйста, Хлудовым, это наше первоочередное дело.

Мы помолчали.

— Вот если б еще хоть был один работник, — сказал я вскользь. — Да вы ведь все только обещаете, и

до вас у меня был такой же разговор со старым директором, и она мне тоже обещала...

— И она тоже обещала, — горько усмехнулся директор и покачал головой. — Она обещала, и я обещаю, а толку все нет. Да? Голубчик, да откуда же я тебе его возьму, работника-то? Наркомпрос никого не дает, а так с улицы взять тоже боязно. Вот у нас сколько всякого добра и ничего не учтено и не записано, все так и валяется навалом. Я третью докладную пишу, требую категорически.

— И что же?

Он пожал плечами.

— Ну вот, когда дадут, тогда и поедем в горы, — сказал я.

Он вздохнул.

— Да, видно, что уже так. — Он встал, прошелся по комнате. — Видно, так и придется.

Он покачал головой и засмеялся.

— А бедовый тебе попался старикашка, прямотаки фырчит от злости. Говорит, а внутри его что-то рычит. А ты занимайся Хлудовым, занимайся. Это сейчас наше первоочередное дело... Уже в газетах о выставке объявлено. Беда только, что старик кляузный, сейчас же жаловаться побежит. Ну, да уж ладно, пусть бежит. Хлудов для нас сейчас — это самое главное.

На другой день утром я застал в своем кабинете деда-столяра. Дед сидел за пивным столиком, и, далеко отставив локоть, что-то старательно выписывал химическим карандашом. Увидев меня, он быстро спрятал лист в карман.

— А я думал, что ты опять не придешь, — сказал он равнодушно.

— Это почему же я не приду? — спросил я, проходя и открывая окно. — Накурил ты здесь.

— Нет, я сейчас много курить не могу, — ответил дед печально. — Сейчас у меня задышка и грудь ло-

мит. Скажи, что это вот тут, под лопатками, колет? Вот тут, тут, смотри.

Дед опять похозяйничал, привел монтера Петьку, и они дулись в козла. Деревянный ящичек с костями торчал из лошадиного черепа (Усуньское погребение), и я сразу его заметил, как только вошел. И пили они тут, конечно. Вчера Клара впопыхах не заперла шкаф с запасными спиртовыми препаратами, а когда спохватилась, то недосчитала тигрового ужа.

— Уж не дед ли выпил? — сказала она мне.

— Ну, вы скажете! — ответил я и отошел поскорее от греха подальше.

— Смотри, дед, — сказал я, — ты такое хлебнешь, что ослепнешь. У Клары гремучая змея пропала, знаешь ты про это?

— Гремучая? — Дед взглянул на меня с неизмеримым превосходством. — Какой же дурак гремучую тащит! Ну взял бы там лягушку или ужа. А то выдумал что украсть — гремучую. Нет, ты вот скажи, отчего у меня задышка. Иногда будто ничего, а иногда так подопрет, вот тут, — он ткнул себя пальцем под лопатку, — ой-ой-ой!

— Ты у директора спроси, — посоветовал я. — Очень он твоей задышкой интересуется. Вчера про нее только и разговор был.

Я прошел к шкафу, отпер его, вынул ящик с карточками, поставил его на стол, придвинул чернила и приготовился работать. Дед сидел, смотрел на меня.

— Ну-ну, — сказал он через минуту. — Что же ты замолчал, рассказывай дальше: разговор был?.. Ну...

— Что ж дальше? — спросил я. — Лопнет, говорит, дед от водки, в самую жару ее дует — вот и весь разговор.

Лицо у деда стало нехорошее — усиленно спокойное.

— Да нет, не весь, — сказал он скрипучим голосом, — ты скрываешь.

Я положил ручку и посмотрел на него внимательно.

— Да говори, говори, — крикнул дед, — что ты жмешься, как... Кого вы там наняли?

— Ну совсем от водки помешался, — сказал я. — Откуда что берет, черт его знает.

— А почему мне директор приказал освободить один верстак в столярке? Мол, другой сюда придет по выходным работать. Что же ты скрываешь-то? Ты все говори.

— Ну и какая тебе беда, пусть работает, выпиливает.

Я снова взял ручку.

Дед недоверчиво покосился на меня, но я сделал вид, что не замечаю, и продолжал писать. Писал и чувствовал, что огромная льдина свалилась с сердца деда и он сразу просветлел и обмяк.

"Глупый ты, дед, — подумал я, — ах, какой же ты дурак! Да разве мы когда-нибудь с тобой расстанемся, старый ты пьяница? Как же этот собор-то будет жить без тебя? А директор — жук! Тоже хорош! Дразнит старика. Да разве два медведя в одной берлоге уживутся?"

— Ничего, дед, держись! Три крепче к носу, мы тебя в обиду не дадим! — крикнул я бодро.

Старик счастливо посмотрел на меня и быстро заворчал:

— Вы уж не отдадите... Вы не отдадите... На вас только понадейся! Знаешь, как я на вас надеюсь? Вот как!

А сам улыбался и улыбался, а потом что-то вспомнил и крикнул:

— Да ведь к тебе красавица приходила!

— Какая еще красавица? — огрызнулся я.

— А Бог тебя знает какая. К тебе, а не ко мне приходила. Если ко мне красавица приходит, так я знаю, какая она. Старое поколение, знаешь, оно какое было...

И он рассказал, какое было старое поколение.

3—166

”Ожил дед”, — подумал я и сказал:

— Ладно, дед, а то прискочит сейчас Клара насчет этого ужа...

— Да она с Кларой и говорила, — сказал дед счастливо, — ей-Богу, ей-Богу... Ничего ей не открыла, ничего! Та и так, и сяк, и ”передать, может быть, что-нибудь”, ”дайте телефон, он позвонит” — та ничего! Вся покраснела, пошла и говорит: ”Звонят тут ему всякие!”

И дед хмыкнул.

Он был заводила и озорник, этот семидесятилетний пьяница с толстым сизым носом. Пил он как дьявол, столярное дело знал ангельски, любил поозорничать, посмеяться, посплетничать, а может, — кто же его знает? — еще и вправду погуливал.

— Так, значит, не приходила, а звонила, — сказал я. — Так почему ж ты знаешь, что она красавица?

— Знаю, — хмыкнул дед, — я раз сам к телефону подходил. Знаешь, какой голосочек — незабудочка! Вот у барышни Фольбаум был такой голосок. ”Скажите, когда я могу увидеть...” — и тебя по всему артикулу. ”Можете, говорю, увидеть сегодня, его Совнарком вызвал, сейчас ожидаем обратно”. — ”Ах, большое, большое вам мерси”. — ”Пожалуйста, мы всегда хорошим барышням служить рады”. Так что ты в трусах сегодня не сиди, а то она придет, а ты, как Ванька малый, без брюк, довольно стыдно будет. (Был у него такой какой-то Ванька малый — предел человеческого падения, серости и дурости. Меня он с ним сравнивал еще редко и то больше за глаза, зато по отношению к остальным этот несчастный Ванька так и не слезал у него с языка.)

— Ну, ладно, дед, — сказал я, — иди-иди, а то, верно, она придет, а мы тут с тобой...

Пришла она только на следующий день. Я сидел и писал карточки и вдруг поднял голову и увидел привидение! — да, да, это первое, что пришло мне в

голову — привидение! Так она была страшна и так бесшумно появилась на пороге.

— В чем дело? — закричал я, вскакивая (я был все-таки в одних трусиках, иначе здесь было невозможно работать) . Музей закрыт!

Она чуть улыбнулась и сказала:

— Мне нужны вы. Я похожу по музею, одевайтесь! (Голос был, правда, мелодичный и молодой.)

Через пять минут она пришла снова и представилась: прозектор медицинского института, вдова профессора Ван дер Белен.

— У меня к вам дело.

— Садитесь, пожалуйста, — пролепетал я, а сам сесть не смог, да так и стоял до конца разговора.

Она давила меня всем — своей осанкой, желтым верблюжьим лицом, скулами, несгибаемым бурым пальто, словно выкроенным из жести, черным пузатым портфелем, который она сейчас же положила на стол.

— Вот что я хочу вас спросить, — сказала она, чуть кривя тонкие, высокомерные губы, — нет ли у вас в музее хорошего скульптора?

Я сказал, что и никакого-то нет, есть только мастер по муляжам.

— Му-ляжжи? — переспросила она. — Нет, это мне, конечно, не подходит. Дело в том, что мне надо вылепить бюст... — Она достала из портфеля застекленный портрет и поставила на стол. — Вот, смотрите!

Я посмотрел.

— Это что, портрет? — спросил я.

— Да, — ответила она, — это портрет! Это портрет моего любимого человека доктора Блиндермана. Я его сама сожгла, теперь я хочу вылепить его бюст.

Я молчал и ошалело смотрел на нее.

— Ну, конечно, он сперва заболел, умер, а потом я его сожгла, — объяснила она, улыбаясь. — Вы так на меня смотрите, что...

— Да нет, нет, — сказал я поспешно, — ничего особенного. Только, может быть, вы мне как-нибудь объясните...

— А все очень просто, — сказала она и начала рассказывать.

Действительно, история оказалась сумасшедшей, но не очень сложной.

Любимый человек Ван дер Белен был хирургом и работал в городской больнице. За что-то лет пять тому назад он попал в ссылку и уже кончал ее. Дома его ждали жена и дети, а он вдруг рехнулся и сошелся с этой страшной, костлявой, как смерть, старухой. Ван дер Белен была мрачна, юмористична, деятельна и ничего на свете не боялась. Маленький доктор Блиндерман (он был, верно, крошечный, я видел его фотографии — чижик-пыжик в пиджаке) боялся всего и паче всего повторного ареста. Так они жили, работали, встречались. Потом доктор Блиндерман заболел и слег. Осень 37-го года в Алма-Ате была очень плохой — дождливой, холодной, гриппозной. И Блиндерман схватил воспаление легких. Болезнь, как сказала мне Ван дер Белен, сразу приняла галопирующую форму. Доктор Блиндерман бредил, вскакивал, кричал, чтоб его спрятали, что за ним пришли, а над ним сидела страшная старуха Ван дер Белен, меняла ему влажную повязку на голове, поила чаем и уговаривала. Никого в комнате больше не было, никто не интересовался доктором Блиндерманом. Через неделю он умер. Старуха сожгла его в анатомической печи и собрала пепел в жестянку с надписью "Сахар". Затем достала где-то цветочную рассаду, высадила ее на жестяной поднос, и с тех пор доктор Блиндерман всегда стоял среди цветов. Так прошло несколько месяцев, старуха все продолжала думать и выдумывать. И додумалась. Летом 1938 года она стала посещать квартиры кое-каких алма-атинских художников. Она просила хозяина уделить ей пять минут, садилась, клала портфель на колени, вынимала банку и рассказывала всю историю жизни и смерти доктора Блиндермана. Художники пугались, шарахались, кричали, что она взбесилась, чтоб она немедленно катилась к чертовой матери, что на нее сейчас спустят

собак, милицию вызовут. Но смутить Ван дер Белен, старую смолянку, урожденную грузинскую княжну, было просто невозможно. Она засовывала банку опять в портфель, ласково просила извинения и уходила. Выдержка у нее была железная, а кроме того, она верила, что скульптор обязательно найдется. Деньги у нее на это были. Она целые полгода питалась молоком и хлебом и копила. И действительно, скульптор нашелся. Это был какой-то безумный изобретатель-химик и художник одновременно. Он сразу же заболел ее мыслью — слепить бюст неизвестного ссыльного из его же пепла. Он позвонил ей в прозекторскую и сказал, что он согласен. "Хорошо, — ответила старуха, — завтра я принесу вам его". А ночью к Ван дер Белен постучались два румяных паренька, третий, — управдом и предъявили ордер на арест. И первое, что спросили они, было: "А где же доктор Блиндерман?!" — "А вон, в резеде", — кивнул управдом на подоконник. И тогда один из пареньков смеющейся походкой (все трое были в отличном настроении) подошел, взял в руки кругленького застекленного Блиндермана и сказал весело: "Вы все-таки не ушли от нас, доктор Блиндерман!"

Полностью конец этой невероятной истории я узнал только через несколько лет. Но все основные элементы ее — смерть доктора Блиндермана, портрет, бюст, арест — я знал тогда же и рассказал директору. Он выслушал меня, не перебивая и ничего не спрашивая. И только когда я кончил, бросил ручку, которой играл, и спросил, правда ли это. Я сказал, что в основном да.

— Нехорошее дело, — вздохнул он, — очень, очень нехорошее.

— Жалко старуху, — сказал я.

Он удивленно поднял голову.

— Старуху? Эту ведьму-то? Вот уж кого ни капельки не жалко, старая психопатка и пакостница. Я бы такую дрянь дальше зеленого ларька не пускал, а ее, видишь ли, в трупарню допустили, бол-ва-ны!

— Да, — сказал я, — это вы правильно. Шекспировская ведьма! Она и внешне похожа — посмотрите!

И я открыл том Шекспира, лежащий у меня на столе, и показал ему рисунок. Он долго смотрел, а потом как-то смущенно, совершенно иным тоном сказал:

— Вот Шекспир! Я ведь его всего не читал, брат. Только что на сцене видел. А мне "Макбета" хочется прочесть. Есть он тут? — И он ушел, унося книгу.

А часа через два он снова зашел ко мне уже поутихший, спокойный и мирно спросил, кто у нас занимается вводным отделом.

Я засмеялся. У нас, собственно говоря, и вводного отдела-то не было, был просто вестибюль с фигурой мамонта (его намалевали прямо на стене в натуральную величину). Витрина с куском металлического метеорита, который очень быстро украли (мне и до сих пор, по совести говоря, жалко его, преотличный был метеорит, килограмма на три, отшлифованный с одной стороны до зеркального блеска, с другой — сохранивший всю свою первозданность — бугристый, черный, лобастый, опаленный огнем и холодом космического пространства). Висело еще несколько красочных таблиц — происхождение вселенной: везде взрывы, букеты желтого пламени, мрак, схема Канта-Лапласа, схема Чемберлена-Мультона, схема Джинса (о Фесенкове и Шмидте тогда еще никто не слышал).

Вот, пожалуй, и весь отдел. Да, была еще одна старая книга XVIII века "О многочисленности миров" с великолепным форзацем (гравюра на меди), изображающим коперниковскую систему мира. Я приобрел эту древность в букинистическом магазине и подарил заведующей отделом хранения. Тогда этот отдел только что оформлялся.

Вот с этой книги и начался разговор о вводном отделе.

Я ответил ему, что отдел этот растет сам по себе; вот найдет, положим, Клара у себя альбом "История религии", принесет его нам — мы и выдерем несколь-

ко таблиц, застеклим и повесим; принесут нам школьники кусок глинистого сланца с отпечатком древней рыбы — мы его приспособим туда же. А вот недавно попался нам зуб ископаемой лошади...

— Да, да, — сказал директор задумчиво, — понятно, листки из альбома, зуб... самотек, халтура!.. — И вдруг спросил: — А кто поместил среди этих таблиц и зубов книгу о системе мира, вышедшую двести лет тому назад?

Я ответил, что я.

Он полминуты молча смотрел на меня, а потом вдруг хлопнул по плечу.

— Ну, молодец, — сказал он как-то даже растроганно. — Есть вкус и выдумка... Есть! В нашей работе это главное. Вот что значит настоящая вещь. Повесь ты не книгу, а фотографию — и все пропало, пойдут мимо и не взглянут. Ты знаешь, ведь эту самую книжку святой синод постановил уничтожить. Един Бог и един мир, и никаких тебе множеств. Вот и весь тут сказ. — Он сел. — Напиши-ка об этом текстовочку, я дам литературу, хорошо?

Я кивнул головой.

— И так, знаешь, — он мужественно потряс кулаком, — покрепче, покрепче, вот как мы читаем об этом в красноармейских аудиториях: "Ненавидя и страшась человеческой мысли, мракобесы в черных рясах решили..." Понимаешь? Напишешь?

Я ответил:

— Если сумею, то напишу.

— Сумеешь, — великодушно успокоил он меня. — Ты сумеешь! Это твоя статья в "Казправде" о республиканской библиотеке? Что там находится первое издание Галилея? Твоя?

Я ответил, что написали эту статью мы вместе с одним из сотрудников библиотеки, Корниловым. Он мне показал эту книгу; кажется, она даже еще не заинвентаризована.

— Ну? — Глаза директора загорелись охотничьим огнем. В нем сразу проснулся пропагандист-агитатор,

член ОВБ (Общества воинствующих безбожников). — Даже еще не заинвентаризована? Слушай, а как бы нам ее сюда, в музей, на витрину, а? И надпись над обеими книжками: "Борьба церкви против разума — книги, запрещенные инквизицией православной и католической". Это в том же месте, где языческие христы.

"Христы... Вот напасть-то, не забыл, значит..." — подумал я и сказал:

— Не отдадут нам эту книжку. Там одна такая тетка сидит...

— Не отдаст? — посмотрел на меня директор. — Ну, это еще как сказать. Тут все дело в бумажке, как бумажку составить. Ты сам посуди, кто у них там по-латыни читает? Лежит и лежит она на полке. Не твоя статья бы, так никто о ней и не знал. Ну, ладно, я об этом поговорю кое с кем. Как фамилия-то тетки? Аюпова? Аюпова, Аюпова! Встречались как будто где-то на заседании в Наркомпросе, кажется.

Продолжение этого разговора было самое неожиданное.

Через два дня директор позвал меня к себе, открыл ящик стола и вынул то самое прижизненное издание Галилея в бело-желтом переплете из свиной покоробленной кожи, которое я с таким трепетом держал в руках месяц назад.

— Что, дали сфотографировать? — спросил я.

Он довольно расхохотался.

— Сфотографировать! Придумаешь! Я для этого книг не беру, я если что беру, так насовсем. — Он хлопнул ладонью по книге. — Наша! Триста лет нас ждала, из Голландии к нам приехала. Поместим на всеобщее обозрение. И вообще надо, надо тебе заняться вводным отделом. Мы же музей! Должны воспитывать. На одних камнях далеко не уедешь, товарищ археолог!

И снова засмеявшись и снисходительно похлопав меня по плечу, он ушел. А я остался и начал о нем думать.

Как он попал к нам? Почему его не послали, скажем, инспектором в Осоавиахим или не сделали ди-

ректором физкультурного института? Как вообще его можно было запрятать в музей? Надо сказать, что я и до сих пор не уяснил потаенный смысл этого назначения. Но, вернее всего, и никакого смысла не было. Просто надо было сунуть куда-то человека, вот и сунули. Сошлись мы с ним совершенно неожиданно. Оказалось, что мы интересуемся одной и той же областью, но с разных сторон. Я вплотную лет пять занимался кризисом античной мысли I века, а следовательно, зарождением христианства. А он лет двадцать как читал лекции на антирелигиозные темы, разоблачал поповские чудеса, обновлял иконы, превращал воду в кровь. Поэтому у нас нашлось много общих интересов. Лектором он был превосходным. Аудиторию чувствовал, так сказать, кожей, пряжкой своего красноармейского ремня, сбить его было невозможно. И поэтому попы его боялись по-настоящему. А к тому же опять-таки та же несокрушимая красноармейская память. Он помнил наизусть и тексты и критику их.

Тексты знал и я, но совершенно с другой стороны, а в ряде случаев и совершенно по-иному. Поэтому мы чаще спорили, чем соглашались. Но и это было тоже хорошо. Как все антирелигиозники того времени, он вопросы понимал прямо и лобово и так же лобово отвечал на них. Чертил, например, на доске родословную Христа (все это наизусть, наизусть!) — у Матфея так, у Луки — этак. Так как же, товарищи красноармейцы, на самом деле?

Для меня, понятно, все это никакого значения не имело. Я говорил ему о той вулканической почве, на которой возникло это молодое, поразительно сильное и живучее течение, о том, что, когда в начале нашей эры республика превратилась в монархию, а вождь ее — сначала в императора, а потом — в Бога, для обнаженной, мятущейся человеческой мысли не осталось ничего иного, как отвернуться от такого Бога и провозгласить единственным носителем всех ценностей мира человека. Но тогда пришлось пере-

нести царство его за пределы жизни, ибо на земле места для человека уже не оказалось. Директор все это отлично понимал, но вместе с тем это никак его не интересовало. В красноармейскую аудиторию с такими разговорами не сунешься. И конечно, он был прав. Мои ученые построения только вконец запутали дело. Попы (а их у нас появилось немало, директор задумал провести инвентаризацию музея, и ему потребовались грамотные люди; не шутка ведь — описать и занести в картотеки двести тысяч экспонатов), так вот, попы, слушая меня, только поддакивали и кивали головой (''Вот как теперь, оказывается, студентов учат: очень хорошо, молодой человек, очень хорошо! Что перед этим наше семинарское образование? Да разве нас, дураков, когда-нибудь так учили? Поэтому так и получилось все, что мы дураками были!''). Директор же их клал с ходу. Они только слабо барахтались под его железными аргументами. Нужно сказать, что теперь этот тип пропагандиста-беседчика вымер почти начисто. Но мое поколение его помнит. В двадцатые годы в рабочие клубы, школы взрослых, просто библиотеки и столовки пришло целое поколение этаких-разэтаких молодых, задорных, красивых, голосистых командиров. В течение нескольких часов они начисто разделывались с Богом, попами, церковью, самогонщиками, кулаками, спекулянтами и кончали свою лекцию показом какой-нибудь картины, такой же залихватской, отчаянной и веселой, как и они сами. (Ну, например, ''Комбриг Иванов'' — 1924 года. Комбриг пленяет своей громоносной антирелигиозной лекцией в клубе дочку попа и увозит ее на кавалерийском седле. И вот ведь великая культура гражданского стиха двадцатых годов! Все титры в картине были написаны стихами!)

Старая интеллигенция не любила таких лекторов. Она честила их архаровцами и хулиганами, называла их лекции похабщиной, то ли дело нарком Луначарский! Но из эпохи этих людей уже не выкинуть.

Они вошли в нашу жизнь так же плотно, как входили расписные агитпоезда с зелеными драконами и мускулистыми рабочими кумачового цвета, как Окна РОСТА, карикатуры Моора, красочные плакаты Маяковского.

Вот на этой красочности мы и сошлись с директором вторично. Оба мы понимали и любили художника Хлудова, выставка которого впервые открылась в залах нашего музея летом 37-го года.

Глава четвертая

Жил в городе Верном такой художник, автор многочисленных этнографических картин, кажется, по выслуге лет еще статский советник, учитель рисования верненской мужской гимназии Николай Гаврилович Хлудов[1].

---

[1] Вот какие сведения содержатся в единственной известной мне статье о нем: "Родился в 1850 году в Орловской губернии.

Отец — фейерверкер Брянского арсенала. Учился в Одесской школе рисованию. В 1876 году учился в мастерской Гоголинского. В 1877 году с художником Глушковым очутился в Верном учителем рисования. Составил вместе с Глушковым этнографический альбом (казахи, уйгуры, дунгане, узбеки), потом работает на межеванье земли в Семиреченской и Сыр-Дарьинской областях. В 1887 году привлекается Мушкетовым и путешествует с ним по местам разрушения. Награжден серебряной медалью. С 1910 по 1917 — учитель рисования и черчения в Верненском высшем начальном училище, учительской семинарии и женской гимназии. С 1910 — участвует в выставках Петербурга и Москвы. С 1918 по 1919 преподает рисование и черчение в Верненском сельскохозяйственном техникуме". Добавлю сюда еще последнюю черту его биографии: "Педагогическая деятельность Хлудова имела большое значение для советского казахского искусства. С 1921 года он возглавлял студию, где занимался с группой начинающих художников" (Е. Микульская). Эта школа просуществовала десять лет, до 1931 года, но значение работы Хлудова далеко выходит за эти узкие временные рамки, потому что в этой студии получили первые профессиональные знания многие художники, которые работают и сейчас в Алма-Ате.

В молодости он был строг и педантичен, а под старость сделался чудаковатым и смешным. Угощал гостя в половине тридцатых годов папиросами "Ю-ю". Очень хотел получить государственный заказ, но никак не мог понять, зачем ему заключать договор с государством. Спрашивал, как можно за пять дней написать плакат метров в десять, когда он, Хлудов, и на картину в один метр тратит больше месяца. "Я вижу — все вы сошли с ума", — сказал он скорбно и отмахнулся. (Так заказ и не состоялся.)

Судьба послала этому чудаку при редком долголетии еще и завидную плодовитость. Добрая сотня картин и этюдов до сих пор хранится в запасниках Центрального музея. Картинная галерея взять их отказалась. "Что за художник? — сказали искусствоведы. — Ни стиля, ни цвета, ни настроения. Просто бродил человек по степи, да и заносил в свой альбом все, что ему попадалось на глаза, — казаха, казашку, казачат с луком, еще всякое". Так ничего и не взяли. И когда я, готовясь к юбилейной выставке, попросил кое-кого из Союза художников показать, где и что повесить, на меня поглядели, как на блажного. "Господи, да валяйте их всех подряд, — сказал мне самый известный, — из чего тут выбирать? Это же все Хлудов". И я повесил все подряд — казаха с ковром в руках, и девушек в реке, и ребятишек с луками, и ночную грозу, и расчудесных казаков-семиреков на конях и с шашками наотмашь, и еще множество всякой всячины, и все они висели и сияли, и вокруг них всегда останавливались. Ведь это был Хлудов!

Вскоре после этого мне предложили написать о нем небольшую популярную статейку для журнала. Я ухватился за это предложение — перерыл все музейные архивы, собрал целую папку фотографий, а потом написал с великим трудом с десяток мучительно вялых страниц и бросил все. Ничего не получилось. Не нашлось ни слов, ни образов. В редакции меня выругали, а статью через год написал другой,

уже настоящий искусствовед. Один кусок из его статьи я уже цитировал. Вот еще два о мастерстве художника.

"Единственное влияние, которое испытал Хлудов, — это влияние верещагинского натурализма. Хлудов достигал временами значительных результатов, соединяя скупую, выдержанную гамму с четким рисунком".

А рисунки эти описываются так. "Уйгурская школа" — восемь мальчиков сидят на полу во время урока по чтению корана, позади учитель-мулла с длинной палкой-указкой; "Жатва" — семья казаха жнет пшеницу на переднем плане, одна из женщин наливает другой в чашку кумыс; "Ночная баранта" (грабеж) — горный пейзаж, ночью в грозу несколько казахов угоняют косяк лошадей; "Похищение невесты" — молодой казах переносит через реку девушку, на другом берегу поджидает его товарищ с лошадьми".

Вот и все. Десяток раскрашенных фотографий, этнографические документы о быте казахской степи начала века — восемь мальчиков, четыре казаха, одна девушка, один мулла. Этим исчерпана жизнь художника.

Я не хочу ни оскорблять этого искусствоведа, ни тем более спорить с ним прежде всего потому, что, вероятно, в чем-то он прав, но, вероятно, также прав и я, когда говорю, что он ничегошеньки не понял в Хлудове[1]. И та моя давняя статья об этом художнике не удалась мне, конечно, только потому, что я тоже пытался что-то анализировать и обобщать, а о Хлудове надо разговаривать. И начинать статью о нем надо со слов "я люблю". Это очень точные слова, и

---

[1] Впрочем, дело не в нем. Такой подход к работам Хлудова был в то время обычным. Художника в нем даже не угадывали. "Полотна Хлудова являются маленькой энциклопедией Казахстана, передающей своеобразие этого края в красках и линиях", — писала "Литературная газета" в дни первой декады искусства Казахстана (15 мая 1936 года).

они сразу ставят все на свое место. Так вот — я люблю...

Я люблю Хлудова за свежесть, за радость, за полноту жизни, за красоту событий, которые он увидел и перенес на холст.

Я люблю его за солнце, которое так и бьет на меня со всех его картин. Или яснее и проще: я люблю и понимаю его так, как дети любят и понимают огромные литографии на стене, чудесные поздравительные открытки, блестящие переводные картинки, детские книги с яркими лакированными обложками. Все в них чудесно, все горит. И солнце над морем (солнце красное, море синее), и царский пурпур над золотым ложем, и наливные яблочки на серебряном блюдечке — один бок у яблочка красный, другой (с ядом) зеленый, и темные леса, и голубейшее небо, и луга нежно-лягушачьего цвета, и роскошные кочаны лилий в синем, как небо, пруду. Вот и Хлудов точно такой. Только, пожалуй, гениальный таможенник Руссо не боялся рисовать такими ясными, я бы сказал, лобовыми красками, как он. Именно красками, а не тонами — тонов у него нет, как и нет у него иных настроений, кроме радости и любования жизнью. Он заставлял луга пестреть цветами, коней подыматься на дыбы, мужчин гордо подбочениваться, красавиц распускать волосы. Он вытаскивал узорную парчу, ковры, ткани и все это вываливал грудами перед зрителем. "Смотрите, я все могу!" Рисовальщиком он был великолепным, даже не рисовальщиком, а мастером рисунка. Иногда он просто кокетничал своей техникой, тем, что он все может. Вдруг возьмет и вычеканит ни с того ни с сего на уродливом, тяжелом браслете из черного серебра старинный казахский узор или вдруг распишет кошму так, что рисунок ее сделается рельефным, — прямо хочется потрогать! Или пропустит солнечный луч через воду — и вода вспыхнет и засветится. Все, что он видел, он видел с точностью призматического бинокля. А ведь в такой бинокль не уловишь ни тонов, ни

переходов. Одни цвета да жесткий, четкий контур: дерево, холм, человек на холме. Нечто похожее, но только еще резче и жестче можно найти в рисунках, приложенных к научным отчетам и описаниям старинных экспедиций (все старинные естествоиспытатели отлично рисовали). Точность этих рисунков равнялась только той латыни, которой она сопровождалась. Животные в таких рисунках были видом, человек — типом или народностью. Ученый, стоящий над художником, начисто лишал его творческой свободы, но зато он учил его конкретности, точности, бережному обращению с вещью, заставлял не только изображать мир, но и разнимать его на части. Это и была наука. До души такие художники через платья, тюрбаны и побрякушки дорваться не могли, зато плоть они любили и передавали ее отлично. История несправедливо отнеслась к этим великолепным рисовальщикам, она не сохранила нам имен. А об этом стоит пожалеть. Все эти фактографы и протоколисты были романтиками и фантазерами.

Попробую пояснить это примером. Лет четыреста пятьдесят тому назад какой-то предприниматель или капитан корабля привез в славный город Нюрнберг носорога и выставил его в балагане, а художник Дюрер протискался через толпу зевак, открыл альбом и начал рисовать. Рисунок у него получился очень точный. Носорог как носорог. Можно определить все: и породу, и возраст зверя. И все-таки повторяю (я даже не полностью понимаю, как это выходит): это не только реальный носорог — это еще чудовищный и фантастический зверь "Апокалипсиса". Его панцирь распростерт, как крылья дракона или гигантской летучей мыши. У птеродактилей, как их рисуют в фантастических романах, точно такие крылья. Ясно видны сочленения, сухие пальцы и когти, какие-то скрепки и шляпки гвоздей. Вся фигура его словно выкована в кузнице оружейника. В ней куют мечи, иты, шлемы, нагрудники, вот выковали для украшения арсенала и этого зверя. Это то самое чудови-

ще, о котором в книге Иова написано: ''Он поворачивает хвостом, как кедром, ноги у него, как медные трубы, кости, как железные прутья''. Таким Дюрер его увидел и зарисовал. Но мы-то с детства знаем совершенно другого носорога. Это просто-напросто громоздкая, неповоротливая скотина, толстокожая и нечистоплотная, с узенькими свиными глазками и тяжелым задом. Он громоздко ворочается в загоне, сопит, фыркает, грузно шмякает по соломенной подстилке так, что летят навозные брызги. Таким мы его узнали в детстве по зоопаркам и учебникам зоологии, и иным нам его уже не увидеть, даже после Дюрера. Но посмотрите на его рисунок — и вы поймете, что приходило в голову мастера, когда он впервые открывал свой альбом перед клеткой зверя.

А раскрашенные гравюры Бюффона! Это был преудивительный человек, этот Бюффон — натуралист, путешественник, придворный остроумец, гениальный стилист и кавалер многих орденов. И это был еще человек, который вдруг захотел принять на себя обязанность Ноя. Он проинвентаризовал все живое — всех чистых и нечистых, и сделал это со всем блеском в томах, переплетенных в бурую кожу и залитых золотом.

Конечно, современным зоологам нечего делать с этой горой книг, но зато какие там гравюры! Разве можно равнять с ними рисунки иллюстраторов Брема? И те были мастерами первого класса. Каких павлинов они, например, рисовали — великолепных, блестящих, распахнутых, как гигантский веер! Как умели они передать мягкость пуха райской птицы, мельчайшие чешуйки на крыльях колибри, светоносность, изумруд и бронзу оперения зимородка! Они вырисовывали каждое перышко, схватывали свечение раковины, блеск пера, лоск шерсти, тусклый желтый огонь глаз зверя. Но поздно, слишком поздно они пришли со своими кисточками. За сто лет прошло удивление, выдохся восторг первооткрыва-

телей и остались на их долю только верность рисунка, твердость руки, зоркость глаза. И сразу же их великолепные картинки превратились в олеографии. Все удивительное, неповторимое, сказочное ушло из их рисунков безвозвратно.

Кто хочет вступить вместе с Робинзоном на его необитаемый остров, кто хочет полюбить Пятницу, пусть отыскивает в музеях и библиотеках старинные альбомы, листает их голубоватые страницы, всматривается в точные и четкие зарисовки! Только там найдешь портреты невиданных людей, зарисовки с еще неизвестных животных. И не в мастерстве, конечно, дело. У рисовальщика была одна задача — дать точный документ, не нарисовать, а запротоколировать. Но разве не чувствуется, когда смотришь на эти необычайные линии, изгибы и формы, дрожь, которая вот-вот охватит карандаш художника? Вот, например, гравюра в одном из томов Бюффона — птица-носорог. Она чудовищна, огромна, зловеща — этакий тропический черный рогатый ворон. Художник был скрупулезен, он ничего не упустил. Его карандаш и резец доходили только-только до определенного предела и останавливались на нем; но чувствуется, как хотелось ему пририсовать этому дьяволу еще второй рог, сделать его клюв крючковатым, как нос у ведьмы, а ногти когтистыми, вообще намекнуть как-нибудь, что тут и до черта не так уже далеко. И другая гравюра — гриф. Смотришь и понимаешь, что художник рисовал птицу, а вспоминал-то дракона. И размах дьявольских крыльев, и перья, похожие на чешую, и стальные когти, и змеевидная, морщинистая шея гада — все, все ясно выдает мысль художника. Он понимал, что гриф вышел из рук создателя не совсем таким, каким был задуман, что не все намеки в нем расшифрованы, не все дожато, додумано до конца. И будь, например, Господом-Богом он, художник, все брошенное мимоходом было бы доведено до полной ясности. Дракон был бы драконом, а черт — чертом. Но над художником стоит

ученый, и мысль о всей этой дьявольщине только чуть-чуть сквозит в точных, уверенных линиях его карандаша.

Таковы были старинные рисовальщики. И Хлудов тоже мог бы на всю жизнь остаться только одним из них. Но его окружали горы, пески, моря, зелень, голубейшее небо, цветастая земля — и он бросил карандаш и взялся за кисть. И недаром, конечно, взялся. Мир заблистал, задвигался, замерцал в его полотнах. Он так и не расстался — старый учитель рисования провинциальной гимназии — со своей почти фотографической сухостью и жесткостью рисунка, так и не узнал иных цветов и красок, кроме тех, которые выдавливаются на холст из тюбика.

Я уже писал: ему были недоступны ни полутона, ни переливы. Он не признавал ненастье и серое небо. Все, что он видел, он видел либо при свете солнца, либо при полной луне. Но тут ему уже не было соперников. Ведь он рисовал не только степи и горы, но и ту степень изумления и восторга, которые ощущает каждый, кто первый раз попадает в этот необычайный край. И именно поэтому каждое его полотно ликует и смеется от радости. Конечно, радость эта грубовата. Хлубов был начисто лишен того чувства, которое заставляет художника вдруг останавливаться в сумерках перед кустом сирени или перекатывать в руках светящуюся раковину. Но зато какие великолепные кисти винограда — сочного, спелого, тяжелого, пронизанного насквозь зеленым солнышком, — несет на лотке разносчик фруктов! Он стоит в древесной тени темной и светлой аллеи — рослый, сильный красавец, солнце жгуче пробивает сквозь листву и рассыпает на песке желтые медали и браслеты. На разносчике белая, сверкающая рубаха, высоко засученные брюки, крепкие, босые, бронзовые ноги, и сам он — бронзовый, молодой, крепконогий, с полновесной тяжестью на голове. Только взглянешь — и сразу станет легко на душе. Вот все это — жаркий

полдень, зеленоватые потемки, тени и свет на песке, груда виноградных кистей, рослый улыбающийся красавец — и есть мир Хлудова. И вот что интересно. Семиреченская степь, как всякая древняя страна, просто набита памятниками. Огромные мазары, развалины великолепных мечетей — пышные, как взбитые подушки, — надгробья с узорчатыми надписями и полумесяцем, каменные бабы — целые мертвые города, населенные каменными людьми... Но ведь Хлудов все это попросту не заметил. Ни одной такой его зарисовки я не знаю. Вероятно, где-то в каких-то альбомах что-то подобное и есть, но картины на эти темы он определенно не рисовал. Он жил только настоящим, интересовался только сегодняшним, проходящим, живым.

Ясно, какой храм они построили с Зенковым. Однажды я это понял с полной отчетливостью. Долгое время на чердаке валялось несколько длинных черных досок, никто на них не обращал внимания, но как-то я перевернул их и через пыль и лампадную копоть увидел проступающую живопись. Досок было много — наверно, десятка полтора, я их все обтер мокрой тряпкой и выставил вдоль стены. И они все стояли в ряд — воины, цари и мужи. Одни суровые и решительные, другие — затуманенные раздумьем предстоящего подвига; на них сверкали панцири, латы и мечи, над ними парили нимбы и небесные короны. Потом был какой-то старец с детски розовым лицом и длинной благостной бородой. Он истово заводил глаза горе, а под ним лежали разбитые скрижали — осколки синеватого мрамора. Красавицы с нежным овалом лица, голубоглазые, тонколядые, пышноволосые, держали в длинных прохладных пальцах пальмовые ветви и лилии. Были видны все мерцающие лепестки, маркие, желтые, похожие на гусениц тычинки. Были еще и детские личики с крылышками (зачем их оторвали от земли и сделали ангелами?). Были быки и львы, змеи и голуби. Наверное, я наткнулся на остаток того самого большого

иконостаса, о котором верненский батюшка Марков, грешивший стишками, писал в ”Семиреченских ведомостях” так:

Иконостас здесь резной и прекрасный,
Золотом чисто, искусно покрыт,
Он грандиозный, высокий, трехчастный,
Точно охвачен огнем и горит.

И он действительно горел со всех сторон и со всех досок. Горел даже на чердаке. Даже через пыль и копоть. Даже через десятки лет забвения и пренебрежения.

И когда я ушел от этих досок и спустился вниз под белый купол музея, к высоким окнам, под целые столбы и туннели света, к своим каменным, бронзовым, медным и железным векам, я понял, почему Зенков поручил украшать храм именно Хлудову.

И мне стало очень радостно за них обоих.

Глава пятая

Недели через две после этой выставки директор забрался ко мне наверх и спросил, не знаю ли я такого — Николая Семеновича Корнилова. Я ответил, что если он говорит о том молодом человеке, который служит в публичной библиотеке, то знаю. Раза два мне пришлось обращаться к нему по разным личным нуждам. Один раз я его просил доставить мне две очень важные для меня книги, другой раз, когда меня послала в библиотеку редакция ”Казахстанской правды”, он водил меня по отделам и показывал книжные редкости. Ведь речь, наверно, идет о том самом индексаторе Корнилове, что показал мне издания Галилея.

— О том самом, о том самом, — обрадовался директор. — Там этой завали, по его словам, осталось еще ящиков двести, и никто не знает, что в них, — то

ли старые газеты, то ли арабские рукописи. Вот он сидит и пишет на них карточки. Год сидит и еще два года, говорят, просидит. Вот порядочек! — Директор засмеялся. — Десять лет гниют у них эти ящики, и никому до них нет никакого дела. Как привезли их в двадцатых годах заколоченными, так они и стоят, а все нас ругают за беспорядок! Так что ж, достал он тебе книги?

Я сказал, что нет, — наверно, не нашел или позабыл.

— Не нашел! — махнул рукой директор. — Конечно, не нашел. А то б он принес.

— Нет, нет, он не трепач.

— Слушай, так вот он к нам в музей просится. Что-то не нравится ему там, никак с начальством сладиться не может. С Аюповой, с Аюповой! — крикнул он смеясь. — Как ты на это смотришь?

Я сказал, что буду очень рад такому начальнику, археологу.

— Вот именно, — подхватил директор, — вот именно, что он археолог. Но только почему ты говоришь "рад начальнику"? Сотруднику рад, а не начальнику.

— Как же не начальник, — сказал я. — Он специалист и будет как раз на месте, а меня вы переведите куда-нибудь к тиграм. Так мне уж надоели эти черепки да камни...

— Ну, ну, — махнул рукой директор, — ты тоже выдумаешь. Тигры! Так вот я пришлю его к тебе завтра же — потолкуйте.

Назавтра Корнилов не пришел, и на этом разговоре все пока и кончилось.

И вот однажды я повстречал Добрыню в парке. Медленно и важно шагал он по аллее. Со всех сторон с ним здоровались. Он отвечал чуть заметным наклоном лысины, розоватой, как кусок мыла. Поблескивало пенсне, мягко лоснилась эта самая лысина, руки с бескостными кистями висели, как ласты, и весь он,

круглоголовый, грузный, с перетянутым животом, походил на дрессированного динозавра средней величины. Удивительно много в нем было чего-то от большой желтой вялой ящерицы. Увидев меня, Добрыня остановился, нахмурился и сделал мне знак пальцами подойти. Я подошел, мы поздоровались.

— Вы что? — спросил он, подходя. — Хотите оформить Корнилова?

Я ответил, что да: хотим, был такой разговор.

— Да Боже мой, — махнул на меня Добрыня мягкой розовой ладонью. — Да что вы? Вы не знаете, почему он уходит из библиотеки?

— Нет!

Добрыня сделал испуганные глаза.

— Да он с Аюповой так поссорился, что она его выгнала. Да нет, как же вы этого не слышали?

Ничего я не слышал про это, но Аюпову, ученого секретаря библиотеки, знал хорошо. Мне несколько раз приходилось обращаться к ней с просьбами. Надо сказать — то были пренеприятнейшие минуты моей жизни. Аюпова была высокой, сухой, черноволосой женщиной с резкими, мужскими жестами, острыми глазами орехового цвета и жестяным голосом. Она носила черный костюм с узкой юбкой, похожей на брюки — так она плотно облегала колени, и почти мужские ботинки с очень высокой шнуровкой. Лицо у нее было узкое, длинное, желтое, цвета промасленной бумаги. Волосы она подрубала скобкой и много курила. Смотрит на тебя, молчит, хмурится, думает что-то свое и грызет папиросу. Вечно она была занята, вечно ей было не до посетителей, и принимала она меня наспех: или расхаживала по кабинету, или держала телефонную трубку в руке. Говорить с ней было не только неприятно, но и нелегко. В середине разговора она вдруг что-то вспоминала и говорила скороговоркой: "Одну минуточку!" — и хватала трубку. Разговоры по телефону у нее были короткие

и резкие. Все кончалось тем, что, не договорив и не дослушав, она кому-то приказывала: "Сделайте!", "Возьмите!", "Зайдите!" — со звоном бросала трубку на рычаг, хватала ручку и что-то быстро записывала в настольный блокнот. С десяток секунд губы ее еще шевелились, а потом она вздыхала и поднимала на меня тяжелые, холодные глаза с постоянным выражением скуки и рассеянности и говорила: "Да, я слушаю вас, слушаю". И слушала, хмурясь и играя ручкой до тех пор, пока опять, что-то вспомнив, снова не хваталась за трубку. Вероятно, все это было пустяками, мелочью, на которые не следовало обращать внимания. Но, выходя из кабинета, я каждый раз давал себе твердый зарок: ну, хватит! Больше ни ногой! Однако нужда была сильней меня, и через неделю я снова уныло и робко стучался в белую дверь с черно-золотой дощечкой: "Ученый секретарь. Прием посетителей ежедневно от 3 до 4.30". Улыбалась Аюпова очень редко и для меня всегда совершенно неожиданно. Ты ее просишь дать для выставки такую-то редкую книгу, разрешить сделать такие-то и такие-то фотографии с такого-то издания, она долго слушает тебя, молчит, смотрит на крышку стола да грызет папиросу, а потом вдруг поднимет голову, улыбнется и скажет: "Ну, хорошо, берите".

Через минуту, идя по улице, я ломал себе голову, что же я бахнул ей такого смешного или нелепого? С чего это вдруг она улыбнулась? И ничего придумать не мог. А потом вдруг раз понял: "Господи! Да ведь она рассмеялась просто потому, что ответила "хорошо". Отказывала же она без улыбки, смотря прямо в глаза и никогда не смягчая короткий отказ никакими извинениями или объяснениями. Нельзя — и все. Вот что я знал об ученом секретаре библиотеки, и если время от времени при встречах с ней меня смущала и раздражала одна мысль, или, вернее, один вопрос, то только такой: "Да кого же, черт возьми, какую кожаную куртку, какого стального комисса-

ра играет эта пожилая, издерганная и, видимо, достаточно несчастная женщина?" И все-таки в ее личной порядочности я не усомнился ни разу. И не потому не усомнился, что верил в ее сверхскучную пресную добродетель, а просто оттого, что мне никогда не хотелось думать о ней больше пяти минут, то есть как раз столько времени, сколько мне требовалось, чтобы дойти до библиотеки музея. Но сейчас, когда Добрыня мне сказал, что у Корнилова вышло что-то с Аюповой и Аюпова его уволила, мне вдруг стало по-настоящему неприятно. Я как-то очень ясно и четко почувствовал, что значит поссориться с Аюповой. Я представил себе, как она стучит маленьким желтым кулаком по стеклу стола, так что дребезжат ручки в бронзовом стакане, как она кричит, как все время хватается за телефонную трубку, прерывает разговор, а ты стоишь ждешь, гадаешь, что же последует за этим. Я, наверное, даже поморщился, потому что Добрыня обрадованно воскликнул:

— Да как же вы этого не согласовали! Нет, нет, ничего вы себе на шею не берите, зачем вам все это нужно?

Я поблагодарил Добрыню и пошел к директору. Директор задумчиво ходил по кабинету, увидев меня, обрадовался и крикнул:

— Слушай, а там у тебя...

Но я не дал ему досказать и выложил все, что услышал. Он сразу же нахмурился, подошел к дивану, сел, дослушал меня до конца, а потом спросил:

— Ну а что этот Добрыня так беспокоится? Ему-то какое дело?

Я пожал плечами.

— Информирует, предостерегает, — покачал головой директор и усмехнулся. — Экий, прости Господи, банный лист. К каждому заду обязательно прилипает. Ну, что ему это, а? — Он вопросительно посмотрел на меня и опять пожал плечами. — И ведь

талантливый человек, вот что обидно, — продолжал он с горечью. — Такой отличный исторический писатель, а... — И, махнув рукой, он встал и опять заходил.

— Что? — От изумления я даже сел на диван. — Что вы сказали? Добрыня — отличный писатель?

Директор остановился и тоже удивленно посмотрел на меня.

— А ты разве не читаешь его статьи? — спросил он. — Отлично пишет, живо, красочно, с огоньком. Такие картины иногда рисует! Ты что же, не согласен?

Я ничего не ответил, только рукой махнул, и тогда директор ехидно улыбнулся и мелко закачал головой.

— Эх, брат, какие же, однако, вы все завистники, — сказал он укоризненно. — Пишите, а нет в вас широты душевной. Того великодушия нет, что было у классиков. Никак нельзя у вас при одном похвалить другого. Сразу же и обида. Вот и ты! Ты тоже очень неплохо пишешь, я твои статьи всегда с большим удовольствием читаю, даже жене всегда показывал: "Вон, Валя, посмотри, что наш хранитель написал". И та статья, например, про библиотеку, из-за которой все произошло с Корниловым, совсем, совсем неплохо написана. Очень много интересных данных. Но все это не то, не то... Понимаешь, картин у тебя тех нет. Огонька не хватает, души мало. Пишешь складно, связно, логично, читать интересно, а вот не зажигаешь ты, как Добрыня. Нет, не зажигаешь... А ведь зажечь — это главное. Как это мы еще в школе-то учили? "Сейте великое, доброе, вечное".

Он был в ударе и проговорил бы еще час. Но я его перебил.

— Слушайте, — сказал я, — вы говорите — что все вышло из-за моей статьи о библиотеке. Что же тут могло выйти? И при чем тут Корнилов?

Директор недовольно посмотрел на меня. Ох уж эти завистники, разве они что-нибудь понимают, когда затронули их самолюбие!

— Ну, обиделась на тебя эта Аюпова, — сказал он с легким раздражением. — Что ты там пишешь о недостатках библиотеки? То тебе нехорошо, это тебе нехорошо, потом какую-то сотрудницу, которая тебе все эти недостатки показывает, выдумал. А там такой никогда и не было. Ну а водил тебя по библиотеке Корнилов. Так Аюпова на него и налетела: "Как вы смели?" Он ей: "Да вы ведь сами меня к нему приставили!" — "Как я вас приставила? Что вы на меня как на мертвую валите!" Он ей тоже чего-то хорошее сказал... Ну и пошло! Короче говоря, он уже подал заявление об уходе.

— Здорово! — сказал я ошалело. — Откуда вы все это знаете?

— Да от него и знаю. Я же с самого начала сказал: он у тебя сидит в комнате и ждет. А ты тут о Добрыне со мной споришь. Кто как пишет, разбираешь! Иди скорей, а то уйдет. Ведь целый час человек дожидается.

Корнилов сидел за столом и смотрел стереоскоп. Стереоскоп, надо сказать, был у меня замечательный. Огромный ящик из полированного красного дерева, блестящий, вместительный, с большими светлыми стеклами и богатым набором диапозитивов. Диапозитивы были чудесные, раскрашенные. Сзади они освещались электрической лампочкой так, что на них горело и играло все — павлины, фонтаны, фейерверки, потешные огни, радуги, северное сияние, салюты из пушек, веера в Версале. А сзади панорамы был еще потайной ящичек, и в нем лежали другие диапозитивы, тоже раскрашенные и тоже на стекле, но секретные. В этом же ящике я нашел желтую, сложенную вчетверо листовку. Она была набрана крупными кудрявыми буквами и обведена черной узорчатой рамкой с парящей ласточкой и улыбающимися карликами. Текст внизу листовки был такой:

Чудо XX века! Первый раз в городе Верном!
В казенном саду показывается:
Электростереопанорама!
Обширная программа в двух отделениях
I отделение

Волшебное путешествие за пятачок во все концы земного шара.

Снимки сделаны специальными нашими корреспондентами и раскрашены в Лейпциге от руки в аристократическом заведении Брокгауза.

Вы увидите —

слонов в девственном лесу Цейлона,

удава, душащего буйвола,

охоту негуса на львов,

тигра, терзающего свою несчастную жертву,

пещеру скелетов,

охоту на китов,

русалку, изловленную арабами в Красном море.

А также
Многое другое!!!
Внимание мужчин!
II отделение
За дополнительную плату в гривенник
(с включением благотворительного сбора)

Сорок видов пикантных женщин.

Мир женской красоты!

Красотки Парижа, Берлина, Лондона и Мадрида в натуральном виде.

Разоблачение чудес света и полусвета.

Мадам Европа в объятиях негра.

Австрийские гусары берут приступом крепости любви.

"Так вот, моя Симона, где твоя корона". Пикантная повесть в трех частях (в красках).

Господ офицеров просим проглядеть наше зрелище бесплатно.

Нижние чины платят половину. Женщины и дети до 16 лет к просмотру второй части программы не допускаются. Панорама работает беспрерывно, до 12 часов ночи.

Спешите, спешите, спешите!!!

Только несколько дней! Перед отъездом в Москву и Петербург!

Кажется, я ничего не переврал в этой пышной и многообещающей программе. Хотя что-то пропустил уж наверное. Это ведь был большой раз-

вернутый тетрадный лист, густо заполненный текстом.

Панораму эту я нашел на чердаке среди ящиков и черепков. Она была запыленная, грязная и заляпанная штукатуркой. Я ее вычистил, отмыл горячей водой, а потом снес в столярку к деду, и он через два дня принес ее завернутую в чистую простыню и торжественно поставил на стол — крепкую, новенькую, пахнущую клеем и грушей.

— Ну, теперь верти опять хоть до утра, — сказал он. — Включи-ка свет, поставь баб.

Я поставил, и дед так и прилип к стеклу.

— Вот ведь собаки, — говорил он, покряхтывая от удовольствия и вертя ручку. — Что только не придумают, а?.. Вот ученые люди, а?.. Ах ты черт! Ты смотри, смотри! — И хохотал до слез.

Он досмотрел всех баб до конца, а потом спросил:

— А пол-литра где?

Я вытащил из-под стола бутылку зубровки, и мы ее распили тут же, перед панорамой. Дед охмелел, развалился и стал рассказывать.

— Мне эта панорама, можно сказать, старая знакомая. Ты знаешь, сколько я ее лет помню? — спросил он вдруг сурово. — Да лет, наверное, сорок, никак не меньше! Цирк "Интернационал" был, и она тут же рядом стояла в зеленой будке. Так жены мужиков из нее, ровно из гадючника, за шиворот таскали: "Ты чего там не видел?" Сколько тут крику было! Но ты вот что, однако, — он сделал обеспокоенное лицо, — ты эту музыку с бабами спрячь подальше. Поставь опять львов или слонов, а то знаешь как попасть может? Тут и меня не пощадят, музей все-таки.

И я опять поставил львов, слонов и русалок, а красавиц убрал. Теперь Корнилов сидел перед ящиком и крутил ручку. Когда я вошел, он поднял голову и сказал просто и весело — так, как будто мы расстались с ним всего два часа тому назад:

— Вы знаете, ведь точно такие же картины я смотрел лет двадцать пять тому назад в Москве, на Чистых прудах.

Я поглядел на стол. На панораме лажело два больших тома в серых переплетах: ”Каменный период” Уварова. Значит, все-таки не забыл, принес, молодец!

— Вот за книги вам большое спасибо, — сказал я. — Это как раз то, что мне нужно.

— Да, да, — ответил он невнятно, — очень рад, — и весь словно ушел в ящик.

Я прошелся два раза по комнате, открыл окно, включил вентилятор и остановился около него.

— Слушайте, — сказал я. — Что ж там у вас произошло в библиотеке?

Он досадливо поморщился.

— Я сейчас посмотрю и расскажу, — сказал он.

”Что за чудак”, — подумал я. Я хотел что-то сказать, но вдруг словно ветер подул на меня и прорвалась какая-то пелена. Я совершенно ясно вспомнил и будку на Чистых прудах, о которой он говорил, и точно такой же ящик с видами Египта и Индии, и другой ящик в углу, запретный и таинственный, от которого меня постоянно гнали (теперь-то я знаю почему), и жестяной силомер с русским богатырем Иваном Поддубным (румяные бицепсы и лихо закрученные усы), и электрический прибор со шнурами и блестящим металлическим цилиндром (”Прошу попробовать. Полезно для здоровья”), и другой ящик — не то шарманку, не то музыкальную шкатулку. Когда в боковой прорез его опускали монетку, он играл несколько вальсов — это иголки цеплялись за иголки.

А еще я помнил военный оркестр. Посередине бульвара, на небольшой площадке, усыпанной темно-желтым влажным песком, стояла высокая круглая беседка. В ней сидели солдаты и трубили. Был тут и турецкий барабан, и тромбоны, и тарелки, и флейты. Но самое главное были все-таки трубы. Через каж-

дые десять минут оркестр играл новый вальс или мазурку. Когда первый круглый звук вдруг, словно ком, вылетал из трубы и, подпрыгивая, скакал по газонам или вдруг остро и тонко прорезала воздух, как будто пропиливала лобзиком, труба, все мамки, няньки и бонны, неподвижные и важные, как бронзовые божки, вставали с лавок, брали нас за руки и вели к беседке. Музыканты играли, вытаращивая глаза, надувая щеки, краснея от натуги и солдатской бравости. Играть на весь бульвар в жару было тяжело, но они старались, во время игры часто вынимали платки и прикладывали ко лбу, гимнастерки их на спине всегда были черные. Маленький сухой человечек, крылатый, всеведущий и грозный, парил над ними. Музыканты глядели на его палочку, на маленькие цепкие руки, его свирепое лицо и били, свистели, трубили. И белые строганые пюпитры вспомнил я, и ноты на этих пюпитрах, писанные лиловыми чернилами, и самую музыку — торжественную, громогласную, нелепую и пышную, какую-то очень уверенную в себе.

А затем, посмотрев и послушав все, я сошел по лесенке из беседки, пошел по утоптанному песку, прошел меж зеленых и красных ведерочек, золотистых обручей, палочек-скакалочек, ярко-красных песочниц, разноцветных мячиков, обошел беседку, пригнул голову и юркнул в свое самое заветное, самое таинственное, самое-самое волнующее — в ту пещеру, на которую в упор в течение всего лета смотрели няньки, бонны, трубачи, дети и все-таки ничегошеньки не видели.

Только я один знал и видел все. Здесь всегда было сыро, прохладно и сумрачно. В самый ясный солнечный день тут стояли тихие рассветные сумерки. Когда я нырял туда, никто на целом свете не мог меня отыскать. Меня искали, мне кричали, мне приказывали не валять дурака и выходить, потому что меня все равно видят. Но я сидел тихо-тихо, и ничего не могли понять, куда же я делся. Только что стоял здесь

и канючил: ''Пойдем к пруду. Ну, пойдем же к пруду'', — и вдруг как в землю провалился. А я ведь сидел совсем-совсем рядом, так рядом, что протяни только руку — и схватишь, и никто меня не видел. Никто сюда не заглядывал — один я! Здесь я находил массу самых интересных вещей. Они безвозвратно пропадали там на земле и появлялись здесь, около моих ног. Особенно много было здесь всех родов мячиков — больших и совсем крошечных, светлых и серых, очень тугих черных и тонкокожих, расписанных секторами в нежные, переходящие друг в друга тона. Их искали, об них горько-горько плакали, из-за них ссорились (''это ты взял и забросил''), и они все лежали тут около меня. Были мячики совсем новые и звонкие, как бубен, только тронь — и они сейчас же оживут, запрыгают и полезут тебе в руки. Были мячики совсем старые и дохлые, ткни их пальцем — образуется глубокая, долго не пропадающая впадина. На такие я и внимания не обращал. А один раз мне попалась даже очень дорогая заводная игрушка — крошечный автомобильчик, черный, блестящий, аккуратный, как жужелица (мы отыскивали таких под камнями, на газонах). Он лежал на боку, зацепившись за какую-то щепку, и когда я его взял в руки, он вдруг защелкал, загудел, забился в моих руках, как пойманная ящерица.

В этом чудесном месте я впервые узнал тихую сумеречность пещер, таинственность и тишину глубоких расселин. Впрочем, о тишине-то я, конечно, зря. Никогда здесь не бывало тихо. Ревели трубы, ухал барабан, в такт им бахали о гудящие доски кованые солдатские сапоги, ибо мое убежище (надо же наконец сказать) было под полом той самой беседки, в которой сидел военный оркестр.

Беседка стояла как на сваях. Между дощатым настилом и землей было пустое пространство. Туда вечером дворники прятали метлы, лопаты, ведра и огромные белые скребки. Взрослые туда могли пролезть только на брюхе. Я же входил свободно, толь-

ко чуть пригибал голову. В солнечный день здесь было жарко, сыро и сумрачно, как в тропическом лесу. Всюду, как пальмы, торчали сваи. Одно время среди них поселилось целое семейство страшных, одичалых кошек, грязных, мохнатых и зеленоглазых ведьм. Это были свирепейшие создания, и из их угла постоянно раздавалось злобное шипение, будто я потревожил гнездо черных кобр.

И пруд я вспомнил тоже, и дощатые мостки, длинные, деревянные, вечно влажные лестницы, и серебристо-белые и серые лодки, имена которых было принято произносить вслух, — "Орленок", "Шантеклер". Вспомнил я и безногого гармониста на колесиках, который, лихо перекосясь, играл по заказу гуляющих, и студентов в малахитовых фуражках, и веселых молодцов (наверное, приказчиков) в расшитых русских рубашках с отложными воротами и елочками на вороте, и других приказчиков — постарше, солидных и медлительных, в твердых пиджаках и соломенных шляпах из твердой же соломки, затем девушек, вечно пунцовых, в белых блузах с бархоточками на шее — от них всегда пахло карамельками. Благородные господа сюда не ходили. Чистые пруды были маленьким грязным прудишком. И бульвар этих господ тоже не устраивал — был заплеванный семечками и тесный. И оркестр был не по этим господам, и играл не то, что нужно было им по их учености, и публика собиралась здесь совсем не та.

— А оркестр помните? — спросил я Корнилова и положил ему руку на плечо. — Как он играл "На сопках Маньчжурии", помните?

Он сразу же вскочил со стула.

— Как? — сказал он изумленно. — Чистые? Значит, вы тоже... — Он схватил меня за руку. Мы стояли и смотрели друг на друга. — Значит, и вы...

Тут у меня к глазам и горлу подступили слезы, и я как-то ослаб и сел на стул. В это время отворилась дверь и вошел директор.

— Ну, — сказал он, улыбаясь, — договорились? Отлично. Хранитель древностей, принимай нового сотрудника. Это ты виноват, что он здесь появился! Он же вылетел из-за твоей статьи.

Статью, о которой идет речь, я написал по заданию редакции, и она была помещена в одном из мартовских номеров газеты.

Я писал, что ''среди крупнейших книгохранилищ Союза Казахстанская публичная библиотека имени Пушкина в Алма-Ате занимает одно из первых мест. По далеко не полным сведениям фонд ее содержит свыше 610 тысяч томов на тридцати пяти языках народов мира''.

Библиотека, писал я далее, располагает замечательными редкостями: вот, например, полный комплект томов французской энциклопедии Дидро — все тридцать пять томов ее. Затем первое издание Эразма Роттердамского ''Похвала глупости''. (''Очень интересна внешность казахского экземпляра. Он весь исписан различными почерками. На первой странице неуклюжие знаки какой-то тайнописи, в середине на полях скоропись XVI века, на последней — четкие еврейские письмена. Сколько же разных людей поразному читало и штудировало эту книгу!'')

Затем я писал о книге Галилея. Том самом издании, которое перекочевало к нам на экспозицию вводного отдела: ''Следующая книга написана по-латыни. Вот ее далеко не полное заглавие: ''Книга автора Галилео Галилея лиценциата Пизанской академии, экстраординарного математика, в которой содержится 7 диалогов о двух мирах Птоломея и Коперника с прибавлением об описании и движении земли''.

На форзаце гравюра — три астронома наблюдают восходящее солнце. Возле дряхлого Аристотеля и кряжистого Птоломея, похожего на кулачного бойца, — гибкая и молодая фигура Коперника. Это знаменитая книга. Ей, положившей начало современной

4 – 166

астрономии, посвящены толстейшие монографии на всех языках мира. Ее происхождение детально обследовано целыми поколениями историков. Книга Галилея вышла во Франции в феврале 1632 года, а в 1633-м шестидесятилетний автор на коленях и в рубище отрекался в подвалах инквизиции от истин, изложенных в семи диалогах.

В библиотеке хранится экземпляр издания, выпущенный знаменитой голландской фирмой ''Эльзевир'' после осуждения ее автора. Чтобы не погубить Галилея, издатель старательно отговаривается, что книга выпущена без ведома автора. Инквизиции пришлось сделать вид, что она верит в эту наивную оговорку.

С внешней стороны издание сделано с тем замечательным тактом, изяществом и простотой, которые делают имя Эльзевиров нарицательным. Глядя на чистый, четкий шрифт книги, невольно веришь странной легенде о том, что типографский набор Эльзевиров был отлит из чистого серебра''.

И наконец, так сказать, под занавес, я наносил заключительный удар. Но как раз в это место статьи и вкралась опечатка, из-за которой впоследствии поднялось столько шума.

''Последняя книга, — писал я, — которой ограничилась наша беглая разведка, не отнесена администрацией к числу редких. Она скромно стоит на нижней полке, не привлекая внимания. Однако даже самый беглый, поверхностный осмотр оказался достаточным, чтобы определить ее колоссальную, не поддающуюся пока учету ценность. Это огромный фолиант по истории инквизиции, датированный 1685 годом. С редкой обстоятельностью, год за годом, рассказывает эта жуткая книга о пытках, казнях и религиозных гонениях. Неизвестный художник ее щедро иллюстрировал. Дыбы, костер, четвертование, виселица — вот тема этих мрачных прекрасных гравюр.

Что это за книга, как она попала в Казахстан? Имеется ли еще где-нибудь хоть один экземпляр? На эти

вопросы заведующий иностранным отделом тов. Попятна никакого ответа дать не смогла. А между тем есть основание думать, что книга эта является уникальной. Книга эта ждет своего исследователя".

Кончалась статья так:

"К сожалению, научная обработка и использование этого огромного культурного богатства не находятся на должной высоте. Редчайшие издания XVI—XVII веков покрываются пылью, бесплодно ожидая читателя. Ученая часть библиотеки в ряду случаев сама не знает, какими сокровищами она владеет. Сорок тысяч томов на 25 европейских языках обслуживаются одним сотрудником. Конечно, ни о какой научной работе при таких условиях разговаривать не приходится.

...Приходится констатировать, что Государственная публичная библиотека Казахстана, являющаяся одной из богатейших библиотек Союза, располагающая книгами мировой ценности, свое богатство знает из рук вон плохо".

Все это было напечатано в воскресном номере. Аюпова прочла и обомлела. Статья о библиотеке, о том, что эта библиотека является одной из крупнейших в Советском Союзе, о том, что ее фонды необозримы, сокровища, хранящиеся в ней, неоценимы, а она и ее работники ничего не знают и ничего не ценят. Что все это значит? Кто позволил какому-то нахалу из редакции рыться в ее библиотеке, что-то выявлять, что-то не одобрять, кого-то выделять, во что-то вмешиваться? И она, ученый секретарь, ничего не знает! "Товарищ Попятна, видите ли, водила этого хлюста по фондам! Так где же эта Попятна, ну-ка дайте ее сюда, я поговорю с этой Попятной по-своему". — "Да никакой товарищ Попятной у нас нет", — отвечают ученому секретарю перепуганные сотрудники. "Вот как! — шипит ученая дама. — Я так и думала, что никакой Попятной у нас нет. Ясно, что все брехня. А ну-ка позвать того артиста, который водил корреспондента по библиотеке".

Дойдя до этого места, Корнилов — а я здесь точно передаю его рассказ — засмеялся и сказал:

— И тут нужно сказать: вы поставили меня в идиотское положение, она шипела и брызгала на меня, а я молчал как дурак, ведь у нас в самом деле нет никакой Попятной.

— Господи! — сказал я. — Да и я сам эту фамилию прочитал только в газете. Они же не посылают корректуру, вот и вышло... А вместо фразы: "На этот вопрос заведующая иностранным отделом, понятно, никакого ответа дать не могла" — машинистка напечатала: "Заведующая иностранным отделом Попятна"... — и так далее. Ну, что же можно было сделать? Номер-то уже вышел в свет.

— Ну, с этой Попятной все и началось, — улыбнулся Корнилов и стал рассказывать дальше.

Установив криминал, ученый секретарь Аюпова начала действовать. Она вызвала заведующего отделом хранения, распекла и выгнала из кабинета. Вызвала сотрудника восточного отдела профессора Гаврилова (он показывал мне старинные рукописи корана) и спросила его, с какой целью он создает вокруг своей работы в библиотеке нездоровую сенсацию и вписал себе в статью без ведома директора и ученой части какие-то сомнительные комплименты. Гаврилов, профессор-тюрколог, начал что-то объяснять, но тут Аюпова вдруг сняла трубку, позвонила в отдел кадров и попросила, чтоб ей немедленно принесли в кабинет личное дело сотрудника Гаврилова. И сказано это было так, что сотрудник Гаврилов побледнел и опустился на диван. Но она сидеть ему не дала, она сказала, что он свободен, пусть идет работать, а она его уж вызовет. И через час его действительно вызвали, но уже в отдел кадров и заставили писать новую автобиографию (прежняя, сказали ему, была составлена неудовлетворительно: не написано, например, отчего гражданин Гаврилов вдруг в 35-м году покинул Ленинград и кафедру арабистики, которой он руководил, и перебрался в Казахстан).

Потом ученый секретарь вызвала к себе профессора вторично, и тут началось самое безобразное. Она кричала, хватала и снова бросала на рычаг грохочущую телефонную трубку. Перед ней лежало личное дело Гаврилова с его новой автобиографией, и она раздраженно выхватывала то одну, то другую бумажку, махала ею перед его лицом и снова швыряла на стол. Она кричала, что отлично понимает, с какой целью все это сделано, что мы нарочно сговорились оклеветать коллектив библиотеки, но это у нас не пройдет, она пойдет и расскажет... В конце концов несчастного профессора почти замертво вытащили из ее кабинета.

С Корниловым все обошлось проще. Когда Аюпова начала кричать и махать перед его лицом трудовой книжкой, он вдруг встал с места, подошел к столу, вырвал у нее книжку из рук и вышел, хлопнув дверью.

Все это рассказал мне Корнилов, сидя против панорамы "Чудо XX века" и постукивая пальцами по столу.

— Вот так все и вышло, — окончил он. — Вот поэтому я и у вас.

— Ну что ж, — ответил я, — вышло неплохо. Посмотрим, что дальше будет. Утро вечера мудренее.

Но до утра мы не дождались: вечером в музей позвонили из редакции и попросили меня немедленно прийти в кабинет редактора. Я вошел и только что отворил дверь, как сразу увидел Аюпову. Она сидела в кресле нога на ногу и курила. На ней был ее постоянный черный костюм, та же юбка, похожая на брюки. На всю жизнь я запомнил ее узкое, прокуренное, желтое лицо, тонкие губы и жест — резкий, порывистый, отточенный, с которым она, далеко отставив острый локоть, выхватывала папиросу и, бросив что-то, снова закусывала ее. На протяжении разговора папироса эта все время гасла, и Аюпова, обдирая коробку, шумно чиркала спичками, ломала их и кидала прямо на стол.

Когда я вошел, она взглянула на меня и сразу же отвернулась.

— Ну, — сказал редактор обрадованно, — проходите, садитесь. Вы знакомы?

— Да, — ответил я, проходя и садясь. — Мы знакомы.

— Приходилось встречаться, — ответила Аюпова.

— Отлично, — сказал редактор, не замечая ее тона. — Тут вот какое дело...

Был он невысокого роста, плотный, смуглый, с круглым лицом и короткими мягкими висячими усами. И поэтому выглядел добрым и хитрым.

— Тут товарищ Аюпова недовольна нашей статьей, — продолжал он, смотря мне в лицо умными, смеющимися глазами, — напутали мы там много, заострили внимание не на том, на чем нужно. О редкостях расписали много, а работа коллектива библиотеки осталась в стороне.

— Ну как же в стороне, — пожал я плечами, — наоборот, мы написали, что книжный фонд огромный, а помещение маленькое, штата не хватает, и это тормозит работу.

— Поэтому вы и выдумали мне в помощь какую-то Попятну? — спросила Аюпова.

— А вот с Попятной, правильно, получился скандал, — сказал я редактору. — Нечего сказать, показали качество работы редакции, выдумали какого-то подпоручика Киже — товарищ Попятну. Кто за это будет отвечать?

— А автор, — любезно сказала Аюпова.

— Нет, нет, — быстро поднял руку редактор, — я уже вам говорил, товарищ Аюпова, что автор тут совершенно ни при чем, у него все правильно, это в типографии напутали. Мы этот случай будем еще обсуждать на летучке. Кто прошляпил — тот и ответит. Рублем ударим...

Аюпова взглянула на меня и провела дрожащей рукой по спинке кресла. И тут вдруг непонятное бешенство овладело мной. У меня его не было рань-

ше — это она передала мне свои чувства. Я физически чувствовал, как она кипит, как все в ней прыгает и дрожит, как на раскаленной сковородке. И мне хотелось поддать жару еще, довести ее до полной истерики, до крика. Я мгновенно возненавидел ее всеми клеточками тела и стал сдержанным и точным.

— И вообще, товарищ редактор, — сказал я таким обычным тоном, как будто ровно ничего не случилось и никакой Аюповой вообще не было в кабинете, — надо на будущее ввести такое железное правило — автор обязательно должен читать корректуру.

— Да, есть такое правило у нас, есть, — страдальчески поморщился редактор. — Когда можем, посылаем, конечно. Но беда в том, что мы — ежедневная газета и потому исключений у нас в работе всегда будет больше, чем правил. Ну, вот, например, внезапно летит из номера какой-то материал, ночной редактор лезет в загон, хватает, скажем, вот вашу статью, считает строчки, урезает сколько надо и сует ее в полосу. Ну, какая же тут к бесу авторская корректура? Да и где он, автор-то? Из постели я его, что ли, тащить буду?

— Вот так и появляются всякие Попятны, — сказал я нравоучительно и услышал за собой тонкий певучий звон — это Аюпова рванулась на кресле.

— Не в Попятной дело в конце концов, — крикнула она и, выхватив папироску, с размаху бросила ее так, что она прилипла к стеклу. — Дело в том, что нечего было разводить сенсацию, — (она так и сказала — "разводить сенсацию"), — что это вам, Америка? Придумали, чем удивить советского человека — пятнадцатый, шестнадцатый века, Галилей, инквизиция. Нет, не этим советский человек интересуется. А то, что работу библиотеки определяют не тем, сколько она собрала изданий пятнадцатого или шестнадцатого века, а как обслуживает своих читателей. Это вы забыли? Как об-слу-жи-ва-ет! А вы за сенсацией погнались, за с-е-н-с-а-ц-и-е-й! Эх!

Она произносила "сенсация" так, что было ясно: все то плохое и темное, что есть в капитализме, — это и есть вот эта самая сенсация. Кит, на котором стоит эксплуататорский строй. Она выкрикнула все это и вдруг вздохнула и облизала губы. А я глядел на нее с прозорливой ненавистью и понимал все, что в ней происходит. Она накричалась, настучалась, наругалась, изошла слюной у себя в библиотеке, и для последнего решительного боя силенок у нее уже маловато. А тут вдруг неожиданно выясняется, что и приходила-то она зря: тот, в ком она видела все зло, и вообще ни при чем — виновата редакция. А что с редакции взять? Ничего. Поправки-то не печатаются. Это и она отлично понимала.

— И работа с читателем у вас тоже не на высоте, — сказал я меж тем дружески и подошел к ней вплотную, — помещение маленькое, неудобное, между некоторыми полками не пройдешь даже, и что у вас там лежит — одному Аллаху известно. Ну а насчет быстроты обслуживания вот смотрите сами, — и я достал из кармана записную книжку, — в двенадцать часов дня читатель заказал книжку. Через десять минут заказ дошел до книгохранилища и тут...

Аюпова зло поглядела и резко отодвинулась.

— Не трудитесь, — сказала она и так махнула рукой, что мой блокнот полетел на пол. — Меня корниловские данные совершенно не интересуют.

— Да это же не корниловские данные, — сказал я, — я выписал это из вашего доклада.

— Как, я вам давала свой доклад? — мгновенно вскинула голову Аюпова, и мне показалось, что она даже побледнела. — Вы от меня хоть слово слышали? Я с вами разговаривала? Да вам их дал все этот человек, который... — Она рывком повернулась к редактору. — Обо всех этих вопросах я хотела поговорить с вами особо, — сказала она сухо.

Наступило молчание. Я смотрел на Аюпову. Аюпова смотрела на меня.

— Ну что ж, — сказал редактор и поднялся из-за стола, — давайте поговорим. Товарищ подождет в другой комнате. Только вы не уходите, — скороговоркой бросил он мне. — Вы мне будете нужны. Я вас позову.

Позвал он меня через десять минут. Когда я вошел, Аюпова по-прежнему сидела и курила.

— Слушайте, — сказал редактор хмуро. — Вы имели сведения, что Корнилов отбывал ссылку?

— Имел, — ответил я.

— Как? За что? Когда? — спросил редактор хмуро и быстро.

Аюпова взглянула на меня, и на ее лице выразилось такое злое, победное торжество, что мне даже стало смешно. "Да ты еще и круглая дура", — подумал я и ответил:

— Все, что я знаю, он рассказал только вчера. Была у него какая-то дурацкая студенческая история, что-то они там натворили спьяну...

— А именно, именно?! — подстегнул меня редактор. — Что именно там они натворили? Вы этим не интересовались? Он что, партийный?

— Не знаю.

— Зря! — хлестко сказал редактор и слегка ударил маленьким кулачком по столу. — Ну и даже примерно не знаете, в чем там дело?

— Да нет, примерно-то знаю. Обыкновенный студенческий скандал, он и попал как-то боком. Просто пристал к пьяной компании.

— Да это все равно, все равно! — торжествующе запела и замахала на меня Аюпова. — Раз его сослали...

— Да не говорю я с вами! — крикнул я на всю редакцию и так толкнул пустой стул, что он упал. — И вообще это не ваше дело, а...

Но я плохо знал Аюпову. Она вдруг грозно поднялась, сделалась выше на целую голову, стала высокой, стройной, подтянутой и с размаху швырнула в меня папиросой.

— А чье же это дело? — крикнула она. — Ваше, что ли? Да дай только волю таким, как вы... — Она махнула рукой. — А вот вождь нас учит, что советская печать — острейшее орудие и ее нужно делать чистыми руками, это вы знаете?!

— Так это не ваши ли руки чистые! — крикнул я. — Котенка я не дал бы в эти чистые руки, а не только людей.

— Гнать вас из музея поганой палкой нужно, — загремела Аюпова и сразу стала из желтой иссиня-красной, — в шею гнать, пока вы не навредили еще больше. Какие вы там беседы ведете с нашей молодежью о знатном просоводе, что вы думаете — это секрет?

— Что? О просоводе?

Сознаюсь, я просто ошалел. Словно обухом она меня ударила.

— А, не помните, уже не помните? — усмехнулась Аюпова и вдруг наклонилась и яростно, дробно забарабанила кулаком по спинке кресла. — Врете! Все вспомните! Все, как есть, вспомните! И как вы экскурсии проводили, и как персонал обучали клеветать на наших лучших людей, и как портреты вождей на бумагу продавали, все вспомните, все...

Дверь приотворилась, и в ней показалось испуганное лицо тети Насти — редакционной уборщицы.

— А не захотите вспомнить сами, так заставят другие! — торжествующе кричала Аюпова.

— Ну, хватит, — вдруг резко и тихо сказал редактор и встал с места. — Что это, редакция или зверинец? Какие портреты вождей вы там продавали на бумагу?

— Да газеты, старые газеты, — сказал я, мучаясь от дурноты. — Месяца два тому назад мы продали в ларек несколько пудов старых газет.

— А со знатным просоводом что?

— А спросите ее.

Я махнул рукой и отвернулся, мне уж было на все наплевать — на Аюпову, на редактора, на самого себя. Так мне вдруг стало скучно и противно.

— Да-а, — протянул редактор. — Да-а!

Аюпова победно взглянула на меня, поднялась с места и взяла портфель.

— Когда потребуется и спросят, я расскажу, — сказала она величественно, и голос ее уже опять пел. — А с вами я вообще больше дел иметь не хочу, и вы к нам не приходите. — Она пошла и остановилась около стола строгая, чинная, невозмутимая в своей несгибаемой правоте. — Так вот, товарищ редактор, я пришла к вам не жаловаться, а как партиец к партийцу. Вы, конечно, вольны делать, что хотите, но... Советская власть должна делаться чистыми руками! — Она выкрикнула это, как лозунг, и вышла из кабинета.

Наступило тяжелое молчание. Редактор долго молчал, смотрел на крышку стола и хмурился, а потом вдруг взял трубку, вызвал типографию и о чем-то быстро поговорил с ночным редактором. Содержание разговора до меня уже не доходило совершенно. Я сидел, молчал, качал ногой, и внутри у меня было пусто, одиноко и мерзко. А потом редактор встал из-за стола, прошелся по кабинету, подошел к окну, постоял около него, задернул шторку, взял со стола портфель, застегнул его, подошел к двери, приоткрыл ее и крикнул:

— Тетя Настя, запирайте дверь, мы уходим.

Потом подошел ко мне и тронул меня за плечо.

— Пойдем, — сказал он тихо.

Было тихо и совершенно безветренно. Вовсю сияла прозрачная луна, и от ее света все казалось либо голубым, либо зеленым, либо пепельным, гладкие стволы тополей — зелеными, белые стены невысоких домов — голубыми, водоразборная будка, камни на обочине — серебристо-серыми. Было так светло, что я различал каждый лист на тополе, каждую мелкую ямочку на дороге, наполненную до краев терпким

лунным светом. Большие синие заводи стояли около заплотов, и в них, как подводные камни, лежали черные, резкие, почти фиолетовые тени. Мы вышли на проспект и пошли по краю мостовой — около самых тополей; у наших ног по арыкам бесшумно, стремительно неслась вода — то совершенно черная под тополями, то синяя с фиолетовыми быстрыми искрами на переходах.

— Где-то листья жгут, — сказал редактор негромко. — Слышите дымок?

Это вдруг с той стороны улицы от садов и гор налетел теплый нежный ветерок и принес целое облако, пахнущее дымом и яблоками. С поворота бесшумно вылетел и остановился перед нами тоже совсем зеленый от лунного света редакционный газик; высунулось лицо шофера.

— Ваня, ты поезжай домой, — сказал редактор. — А я пешком пойду.

Дверь снова щелкнула, молодой голос о чем-то спросил.

— Нет, — ответил редактор, — завтра заедешь часам к трем, я в редакцию не пойду.

Мы прошли еще несколько шагов, и тут редактор спросил меня:

— Вы слышали, что сегодня сказала Аюпова?

— Да, — ответил я.

Он поглядел на луну и глубоко вобрал в себя воздух.

— Ночь-то, ночь-то какая! — воскликнул он совершенно иным тоном, мягким и лирическим. — Вы знаете, я первый раз в этом году гуляю ночью. Как мы все-таки обкрадываем себя под конец жизни! От мяса отказываемся, в горы не ходим, по ночам не гуляем. А ведь последние годы...

Я молчал.

— Да, такая вот неприятность с этим Корниловым. И Аюпова права! При всем при том, а права!

— Это в чем же? — остановился я.

Он вздохнул.

— А в том она права, дорогой мой, — сказал он нравоучительно и печально и взял меня под руку, — что советская печать должна делаться чистыми руками. Понятно тебе? А всякого рода чуждый элемент — обиженные, репрессированные, приспособившиеся, классово чуждые — эти и близко не должны к ней допускаться. А мы вот часто допускаем. Иногда от гнилого либерализма, иногда от лени — самим-то ведь писать не хочется! А чаще вот так, как сегодня — от идиотской болезни благодушия. И получается: указал человек на конкретный недостаток, обличил кого-то, а обличенный приходит и говорит: "Я протестую! Вы в своей газете предоставили трибуну классовому врагу". И ничего не попишешь, приходится признаваться — действительно предоставили трибуну.

— Это Корнилов-то враг! — воскликнул я.

Редактор посмотрел на меня и засмеялся.

— Что, не враг? — спросил он добродушно и ответил: — Может быть, может быть, и даже наверно совсем не враг, но вот знаем-то это вы да я, а тот, к кому Аюпова побежит жаловаться, он нас с вами не спросит. Он как будет смотреть? Репрессирован? Да, репрессирован. За что репрессирован? За антисоветскую деятельность. Судимость еще не снята, а он каким-то боком сотрудничает в газете. Ну что ж, очень плохо, что ему дали такую возможность. И тот, кто допустил ее, тот потерял бдительность. Вот и весь разговор со мной. Понимаете?

Я молчал.

— И весь разговор, — повторил он настойчиво. — Потому что, когда скажут так, тебе отвечать нечего. А потом объясняйся ходи. И хорошо, хорошо, если когда все объяснишь, и все докажешь, и все бумажки принесешь, тебе тот же товарищ скажет вдруг попростому, по-человеческому: "И надо было тебе связываться с ним, доставлять и себе и нам такие неприятности? Неужели у тебя не нашлось в редакции никого, кто мог бы написать эту же самую статейку, но только без всяких историй? За что ты тогда лю-

дям жалование платишь?" И ведь нечего ответить: он прав.

— Это так, конечно, — уныло согласился я, — если смотреть так, то...

Он взглянул на меня, безнадежно покачал головой и вздохнул. Опять мы шли по улице, залитой луной, мимо тополей, голубых и серых от лунного света. Кое-где в них горело еще одно красное или зеленое окно, — мимо заборов и будок, садов и площадей, мимо всего уснувшего города.

— И парня, конечно, жалко, — сказал редактор. — Это так! Он бегал, старался, хотел оказать нам услугу — и вот, пожалуйста, получил. Вы что ж думаете, я не понимаю этого?

Я молчал.

Он искоса посмотрел на меня, потом быстро наклонился, поднял с дороги какой-то камешек и, коротко размахнувшись, бросил его в темноту.

— И главное ведь, — заговорил он, помолчав, — из самых низких шкурных чувств поднят весь этот хай, чтоб никто и думать не смел тронуть Аюпову! Она чтоб всех, а ее — ни-ни-ни! Что мое — то свято. Не суйся, а то голову отшибу, вот как Корнилову. До сих пор без работы шляется, нигде не принимают! Вот ведь что она хочет. А ведь тоже говорит: "Я люблю самокритику".

Я засмеялся.

— Это она вам так сказала?

Он тоже засмеялся.

— Она. С этого и начался разговор. "Я люблю самокритику, я сама критикую других и прошу, чтобы меня тоже критиковали самым беспощадным образом. Без критики, я считаю, нет движения вперед". Это она считает! Ну, а потом: зачем мы поместили эту статью? Зачем упрекаем в том-то, том-то, зачем с ней не согласовали, зачем разрешили клеймить?

Мы прошли еще до конца аллеи, и тут редактор вдруг взял меня за локоть и повернул тихонько назад.

— Пойдем! Пора! Жена теперь уже все телефоны оборвала. Понять не может, куда я делся. Ведь я со службы всегда сразу домой. — Он помолчал, подумал. — Аюпова мне сказала, что Корнилов хочет поступить к вам в музей — это правда?

Я пожал плечами.

— Теперь его не возьмут. Ведь она всюду бегает и жалуется.

— А директор трус? — спросил редактор, что-то обдумывая.

— Нет, директор как раз храбрый человек, но...

— Так я завтра позвоню ему, — решил редактор. — Пусть берет, не боится. Я поговорю где нужно, объясню все. Самое-то главное: статья правильная! Молодец Корнилов, интересный материал дал, стоящий. Это нужно учесть. И мне уже звонили из ЦК, говорили: побольше бы таких статей.

— Сделанных вражескими руками? — спросил я.

Он засмеялся и махнул рукой.

— Ладно! До свидания. Вот наконец я и дошел. Четыре раза прохожу я сегодня мимо. Никогда у меня еще этого не было.

Он пошел и вдруг остановился.

— Слушай, — сказал он серьезно, — ты на Аюпову тоже очень не обижайся. У нее неделю тому назад забрали мужа.

Меня разбудил дед-столяр. Он стоял надо мной и кашлял. Я поднял голову.

— Все спишь, — просипел дед, в груди у него сразу запели две дудки. — Вот задышка замучила, и махорку теперь не курю, а все давит. А ну, вставай, говорю. Там у тебя массовичка всю твою империю разгромила, все твои образы на полу.

— Какие образы? — спросил я, еще не совсем проснувшись.

— Пойди — увидишь. — И он сердито положил на край кровати фотографию Кастанье — уникальный

экземпляр, отысканный мной в старых архивных папках музея.

— Где ты это взял? — спросил я, и сон с меня как рукой сняло.

— Да говорю: иди, они все там валяются.

Я вскочил и стал одеваться. Дед стоял надо мной, кашлял и рассказывал:

— Позвала меня и говорит: "Принесите лестницу, будем снимать фотографии". Ну, я, конечно, принес, а она привела меня к твоим щитам и приказывает: "Вот я буду показывать, а вы снимайте". Когда дошло вот до этого твоего, я ее спрашиваю: "А хранитель, говорю, знает?" А она: "Не знает — так узнает. Это приказ свыше, снимайте, не бойтесь". Ну, раз не бойтесь, то я и ободрал у тебя все начисто.

С портретом Кастанье в руке я влетел в музей и увидел: массовичка уже покончила с "Дружбой народов" и, подбоченившись, командовала разрушением "Культуры и искусства Казахстана". Около нее на полу лежала целая груда рам и плакатов. К ободранной стене была прислонена трясучая, заляпанная цементом лестница, и на верхней перекладине ее плясал наш электрик Петька — горластый парень лет двадцати. Приподнявшись на цыпочки, он тянулся к огромной фотографии: "Чапаев со своим штабом". Две женщины — фотограф и заведующая отделом хранения Клара — поддерживали эту лестницу с обеих сторон и боязливо глядели на Петьку.

— Зоя Михайловна, что ж вы делаете! — крикнул я.

Массовичка посмотрела на меня и улыбнулась. Была она толстая, с одутловатым лицом, вытянутым настолько, что мне все время хотелось зажать его в ладонь, как клизму, да и подавить. Глаза у массовички были узенькие, свинушьи, с желтыми прожилками.

— Здравствуйте, — сказала она мне строго. — А мы вас уже искали! Вот, — она кивнула на стены, — чистим экспозицию, директор приказал заменить устаревшие экспонаты. У вас мы уже все закончили.

— Так что ж, это вы по приказу директора сняли Кастанье? — спросил я.

— Разумеется! — воскликнула массовичка. — Да вы же и сами понимаете, конечно, что этому экспонату не место в музее.

— Это почему же "конечно"? — спросил я свирепо.

Она хитро и мудро прищурилась. Она политически прищурилась, так сказать.

— А вы посмотрите на него получше, — сказала она.

Я посмотрел получше. Конечно, не ахти какой вкус был у Кастанье. Он сфотографировался в позе Гамлета. Черный спадающий плащ, мундир, черная широкополая шляпа, а в руке череп.

— Ну и что? — спросил я.

— Ну, одет-то, одет-то он как! — раздраженно крикнула массовичка и ткнула в портрет пальцем.

Из-под плаща Кастанье выглядывал мундир министерства просвещения с выпушками и блестящими орлеными пуговицами, а на груди белел тщательно вырисованный ретушером значок школы правоведения.

— Ну и что? — повторил я, действительно ничего не понимая.

— Снимайте, снимайте, Петя, не стойте! — вдруг закричала массовичка и подняла обе руки. — Только осторожней, ради Бога, а то как бы опять не прорвалось.

Я раздраженно пожал плечами. Заведующая отделом хранения Клара — красивая, тонкая, черноволосая, смуглая казашка, похожая и на индуску и на черкешенку, — отошла от лестницы и осторожно дотронулась до моего локтя. Я нетерпеливо брыкнулся.

— А Чапаева вы зачем снимаете, — спросил я грубо, — его-то вам кто велел?..

Тут Клара снова дернула меня за рукав и певуче сказала:

— А я вас все время искала. Нужно расписаться в книге за экспонаты, идемте.

Я машинально пошел за ней.

— А портрет положите, — продолжала она, — потом я приму его у вас.

— Да я его сейчас опять повешу, — крикнул я злобно и снова вырвал у нее локоть.

— Да вы сначала к директору сходите, — мирно посоветовала мне массовичка. — И не кричите. Ведь публика ходит.

Когда мы сошли вниз, Клара сказала:

— Конечно, Зоя Михайловна перехлестывает. Сняла вчера свыше ста фотографий: "Уборка урожая", "Свиноферма", "Швейная фабрика", портреты ударников, нескольких ученых.

— Зачем?

Клара улыбнулась и пожала плечами.

— Говорит, так безопаснее, мало ли кого тогда фотографировали. Присваивали им звания, а потом они оказались врагами народа. Осторожная она очень.

— Сволочь она! — сказал я крепко и так сжал Кастанье, что он хрустнул. — Сволочь, и все.

Когда мы вместе зашли в кабинет к директору, он, лежа грудью на столе, говорил по телефону. Увидев нас, он улыбнулся, протянул мне руку и очень ловко, с армейским шиком поцеловал руку у Клары, потом махнул нам рукой ("Садитесь"), сказал еще несколько слов в трубку, опустил ее и сел.

— Так где ж твой Корнилов? — спросил он меня. — Что за волынка? А? Я уж и резолюцию положил, и приказ отпечатали, а его все нет. То целый день вертелся, а то пропал.

— Придет, — сказал я. — Слушайте...

— Сначала ты меня послушай, а я тебя потом, — скороговоркой сказал директор. — Так вот, прежде всего найди Корнилова и отдай ему приказ. Пусть сдает в канцелярию трудкнижку и сейчас же собирается в горы. За ним заедет завхоз на машине. Понял?

Директор безнадежно посмотрел на меня, вздохнул, покачал головой и обернулся к Кларе.

— Кларочка, — сказал он ласково, — я сейчас уезжаю и больше сегодня тут не буду. Так вы проследите, пожалуйста, за всем этим делом, а то я с ученым говорю, а он вон там где-то с воробышками... — Он махнул рукой на окно и снова развеселился и подобрел. — Ну как, состоялся ваш разговор с Аюповой?

Я кивнул головой.

— Ну и что?

— Да ничего...

Директор слегка ударил ладонью по столу и расхохотался.

— То-то, что ничего! Вояка! "Эти проклятые чистые руки!" Она тебе покажет, какие у нее руки! — Он опять вдруг стал совершенно серьезным. — Так вот, пусть Корнилов немедленно берет приказ и едет. Если что, рабочих выделит бригадир Потапов. Я с ним уже сговорился. Он и квартиру отведет. Кларочка, надо будет дать ему под отчет эдак рублей двести пятьдесят, что ли. Так я дал команду бухгалтеру, а вы, дорогая, проследите. Не забудете, хорошо? Дед к четырем часам должен подойти, я к нему человека посылал. А что это ты вертишь?

— Кастанье, — сказал я и положил портрет директору на стол. — Вот посмотрите.

— Ну, смотрю. — Директор осмотрел портрет со всех сторон и положил его опять. — Ну, так что в нем такого особенного? Какой-то гробокопатель, то есть археолог! — Директор с великим удовольствием выговорил это слово. — Интересный этот ученый мир. Вот он череп взял — зачем взял? Кларочка, вы не видели в кино "Человек в футляре"? Народный артист Хмелев играет. Ну, точь-в-точь такой же тип: и бородка и мундир. Только вот черепа нет. Ну, зачем же ты мне его принес? Тащи его к себе и вешай на стенке, пусть люди смотрят, удивляются.

— Он у меня и висел, а массовичка сняла, сказала, что вы ей приказали, — ответил я.

— Я приказал? Вот этого? — директор снова поглядел на портрет. — Ничего я не приказывал. А как ты его назвал? Кас... Квас... француз, что ли?

— Преподаватель французского языка Оренбургской гимназии Кастанье.

— Я же говорю — Беликов, — засмеялся директор. — Тот хотя латынь преподавал. Нет, я ничего не приказывал. Это вы уж с ней разбирайтесь сами.

— Так вы же директор. Она на вас ссылается, — сказал я резко. — "Директор, мол, приказал..." Вы посмотрите, что она в музее-то наделала! Все стены ободраны, вот при мне Чапаева стаскивала, уж не знаю, за кого еще она примется.

Директор нахмурился и сел в кресло.

— А если не знаешь, так и не говори, — сказал он резко. — Это не Чапаева снимают, а тех, кто с ним сняты. Советский музей не должен превращаться в галерею врагов народа, а на этой фотографии враги есть. Чапаев не мог их знать, а мы знаем. И ты, вместо того чтоб кричать да размахивать, подошел бы ко мне и все сразу узнал.

Я взглянул на Клару, она делала мне знак глазами. Но я сейчас же отвернулся.

— Ладно, — сказал я, — пускай вместе с Чапаевым сидели враги, но чабаны-то при чем? Их-то зачем срывать со стены? Мы вот пишем о наших лучших людях, что они строители социализма, так за что же их так с гвоздя да об пол? Строителей-то?

— Ну, ты говори, да не заговаривайся, — грозно поднялся директор и так стиснул пресс-папье, что у него позеленели пальцы. — Ты отдаешь себе отчет, что говоришь?

— Я-то отдаю, — сказал я, тоже зажигаясь, — а вот те, кто по вашему приказанию обдирает стены, вот те-то... Вот Клара знает, что она там науродовала. Клара, ну...

— Бога ради, — быстро сказала Клара своим мягким, певучим голосом. — Бога ради...

Директор секунду гневно смотрел на меня, потом снял телефонную трубку, вызвал дежурного и приказал ему немедленно разыскать и послать к нему Зою Михайловну. Потом снова опустился в кресло и принялся читать какую-то бумагу. На меня он уже не смотрел. В кабинете наступило неловкое молчание. Я подошел к дивану и сел рядом с Кларой. Она взглянула на меня и чуть укоризненно качнула головой. И тут вошла массовичка. Она была красная, распаренная, пыльная. Белая узкая блузка (она всегда носила такие, что у нее все выпирало) потемнела под мышками.

— А я только что собиралась идти к вам, — сказала она. — Ну, в основном наверху, кончили. Сейчас звонили из двенадцатой школы. Заведующий учебной частью просит нас...

— Постойте. — Директор взял со стола портрет Кастанье. — Кто это такой?

— Царский чиновник, — ответила массовичка.

— А какой именно?

Она замешкалась.

— Не знаете?

— Нет, но...

— Так зачем же вы его сняли? — Директор положил портрет на стол. — Надо будет сейчас же повесить на прежнее место.

Массовичка быстро взглянула на меня. Я молчал и глядел на пол. Клара за моей спиной протянула тонкую сильную руку и сильно сжала мне запястье.

— Товарищ директор, — вдруг горячо взмолилась массовичка, — ведь я отвечаю за идеологическую работу в музее. Так?

— Ну?

— И вы меня сами рекомендовали в ряды сочувствующих, так? Так как же я могу допустить, чтоб в музее, где я провожу экскурсии, на видном месте торчал царский сатрап во всех своих регалиях? Ведь это реакционный ученый, шовинист, черносотенец. Его не знает никто, кроме нашего ученого сотрудни-

ка, он откопал его неизвестно у кого и где и взял в экспозицию. Вот спрашивают меня школьники: что это за генерал? Зачем он здесь? Что я должна отвечать?

— А до сих пор что отвечали? — спросил я.

— Ничего. Я молчала, — горестно улыбнулась массовичка и развела руками.

— Ну и молчите, — сказал я. — Кто грамотный, тот прочтет текстовку, там все написано — кто такой этот Кастанье, что он сделал, какие у него книги и даже откуда взята фотография.

Опять наступило молчание.

— Так вот, Зоя Михайловна, фотографию нужно сейчас же повесить обратно, — приказал директор. — И вот мне говорят, что вы и в других отделах что-то поснимали. Кого вы там сняли?

— Товарищ директор.

Массовичка расстроенно взглянула на директора. Он молчал, она перевела глаза на меня, я улыбнулся, и тут она вдруг вскинула голову и сказала величественно:

— Да, я сняла! Сняла на свою ответственность несколько подозрительных мне фотогафий. Я считаю: мы должны быть бдительны, товарищ директор! Вы знаете, сколько в наших хозяйственных органах разоблачено за последнее время вредителей? Разве мы их всех знаем в лицо? К нам приезжают люди со всего Казахстана. Что ж они скажут, когда увидят у нас в экспозиции какого-нибудь националиста или вредителя? Он хлеб клещом заражал, а мы его рядом с Лысенко повесили. Вот недавно был такой случай... Клара Фазулаевна присутствовала.

Тут уж я сжал руку Клары, и она молча отвернулась.

— Ну, Клара Фазулаевна тут, положим, ни при чем, — сказал директор, проследив за мной глазами. — Случаи, конечно, могут быть всякие, все их все равно не предусмотришь. Но вот одно я уж предвижу. Позвонят мне, скажем, завтра из крайкома и

скажут: "Вот сидит сейчас у меня знатный стахановец, жалуется на то, что ты, директор, его портрет сорвал да в помойку отправил. Ты что ж, друг хороший, хочешь в музее одни голые стены оставить, так тебе спокойнее? Что ты врагов повыкидывал, скажут мне, это ты хорошо сделал, но зачем же ты, дундук, и героев на одну свалку с врагами отправляешь?" Что я отвечу на это? Что у меня завелась такая сверхбдительная массовичка, что решила уже никому не верить? Покойники, мол, это дело твердое, а вот живые-то... кто их там знает... Так, что ли?

Она молчала.

— Так вот я вас очень прошу — восстановите все, как было! И сделайте это сейчас же.

Она молчала.

— Сейчас же, Зоя Михайловна, очень вас прошу. Вот Клара Фазулаевна вам поможет.

— Сделаем, — коротко ответила Клара и поднялась с дивана.

— Хорошо, если это приказ, — начала массовичка.

— Да, да, я это вам приказываю, Зоя Михайловна, — коротко оборвал ее директор. — Я в ответе.

Выходя из кабинета, массовичка взглянула на меня.

— Когда у человека нет дел, — сказала она улыбаясь, — он разводит кляузы. Ну, знаете, если я уж начну кляузничать...

И только что она прикрыла свою дверь, как зазвонил телефон. Директор взял трубку, послушал и вдруг заулыбался, закивал головой. Около его глаз появилось множество мелких, хитрых морщинок.

— Да, да, товарищ Аюпова, — сказал он радостно. — Слушаю, слушаю вас, товарищ Аюпова. Как фамилия-то, говорите? — Он быстро взглянул на меня. — Да, да, есть у нас такой артист. Да нет, пока что никаких особых замечаний за ним нет. Да, работает! А что такое? Ага, ага... Да что вы говорите? О, этим надо будет заняться, заняться! Вот наша беззаботность-то, а? Товарищ Аюпова, у меня сейчас ма-

ленькое заседание, сидят люди, так, если разрешите, я вас побеспокою через полчаса. Это очень, очень важно все, что вы говорите. Большое, большое спасибо. Ну, конечно! Как партиец партийцу... — Он положил трубку и скверно выругался. — И ведь воображает, что спасает страну, — сказал он задумчиво и поднялся из-за стола. — Пойдем, сейчас за мной заедут.

Он взял фуражку, вышел в коридор и вдруг остановился и взглянул на меня так, как будто видел впервые.

— Слушай! — сказал он. — А может быть, тебя послать на месяц в Москву, а? Слышал, что тебе сейчас массовичка высказала, а тут еще Аюпова звонит, предупреждает. Работы сейчас все равно нет, так ехал бы, а? Ты ведь чувствуешь, какое время наступает.

— Какое же? — спросил я тупо.

— Очень строгое время наступает, — сказал директор и вдруг рассердился. — Да ты что, ребенок, что ли? Газет не читаешь? Ну, очень плохо делаешь, если не читаешь. Ведь мы живем на линии фронта. Наши летчики сбивают немецкие самолеты уже около Мадрида. Так это пока только около Мадрида, а скоро они будут их сбивать и около Парижа, и около Варшавы, и около Праги, а может, и еще где поближе. И от этого, заметь, как ни пяться, никуда не уйдешь. Неужели ты об этом не думаешь?

Я молчал.

— А что значит, что мы живем на линии фронта? — продолжал директор. — Это значит, что штабы — и их и наш — не спят ни днем ни ночью. Засылают друг к другу шпионов и диверсантов. Кого могут — покупают, кого могут — запугивают. Денег на это всегда хватает, а страха — еще больше. Ты читал, что товарищ Сталин сказал о капиталистическом окружении? Что это очень неприятная вещь, читал ты это? Ну вот! Но окружение это, как бы тебе сказать... — Он повертел пальцами. — Это хроническая язва в желудке, сосет и сосет, а жить все-таки можно, только надо

помнить, что она есть. А вот еще такая вещь, как линия огня — это уж много хуже. А мы вот на этой линии живем. А если это так, то обязательно должны быть и перебежчики туда и сюда. Это-то тебе понятно?

Я кивнул головой.

— А перебежчики разные бывают: один просто бросил ружье и побежал, а другие никуда не бегут, а сидят в наших штабах и работают. Вот на них работают. — Он махнул рукой на запад. — Понятно? Один враг в штабе, а целая наша армия снимается и идет на минные поля. А как ты такого откроешь, если все свои и подозревать некого? Если каждый тебе как брат или сын, если ты с ним под одной шинелью спал, осьмушку хлеба делил? — Теперь уж директор говорил тихо, горячо и просто. — Если он лучший из лучших — в прошлом у него победы, а сейчас он день и ночь на работе? Как ты его, я спрашиваю, узнаешь? Как? Как? Вот в том-то и дело, что никак не узнаешь. А надо узнать, надо! Потому что иначе смерть... Миллион смертей. И мы узнаем! Не сразу, а лет через десять, через двадцать. И тогда уж не щадим! Расстреливаем живого, разжалуем мертвого, портреты снимаем, жену ссылаем, друзей-приятелей под ноготь берем.

— А друзья-то чем виноваты?

— А тем, — директор сурово взглянул мне в глаза, — что черт знает кто он такой, этот друг-то. Резидент сам по себе ничего сделать не может. Он ноль без палочки. Окружение его — вот что важно. Вот мы и выжигаем все окружение, как у тебя мать когда-то выжигала клопиные гнезда. А затем и ту самую почву выжигаем, на которой это предательство выросло. Всех неустойчивых, сомневающихся, связанных с той стороной, готовящихся к измене, врагов настоящих, прошлых и будущих, всю эту нечисть мы заранее уничтожаем. Понял? Заранее!

— Понять-то понял, — сказал я, — чего ж тут не понять... Но разве можно казнить за преступление до преступления? Это значит — карать не за что-то, а

во имя чего-то. Так ведь эдак жертву Молоху приносят, а не государство укрепляют. Молоху-то что? Он бронзовый! А вот Советскому-то государству не поздоровится от такой защиты.

— А мы вот уничтожаем во имя нашей революции, — негромко крикнул директор и топнул сапогом. — И будем уничтожать. Поэтому не спрашивай другой раз, почему снимают портреты и кого именно снимают. Знай: сняли врага. Еще одного скрытого врага разоблачили и сняли. И ты вот эти самые свои вопросики поганые оставь при себе. И язык! Язык держи-ка подальше за зубами. А то оторвут вместе с умной головой. Некогда сейчас разбираться. Понимай, какое время наступает.

Он ушел, а я так и остался в коридоре. "Время наступает", — сказал он. Я еще не знал, какое это время наступает и зачем ему надо наступать именно на меня, но вдруг ощутил такой холод, такую жуть, что у меня даже мурашки побежали по коже и заломило под ногтями. Подобное чувство я испытал до того только однажды, когда забрался на колокольню, перегнулся и повис над пятидесятипятиметровой пропастью. Этот страх и тоска налетели на меня и сожгли всего. И не в силах больше ни стоять, ни рассуждать, ни оставаться здесь, я сорвался и побежал. Но побежал не туда, куда направлялся с портретом Кастанье, не к своим черепкам, надгробьям и каменным бабам, а просто прислонил Кастанье к стене и сбежал вниз в парк, под открытое небо.

Стояло чистое, розовое, прозрачное, чуть ветреное утро. Шумели тополя, но горы были такие ясные и близкие, что, казалось, они начинаются прямо за парком. Голубые леса карабкались по их склонам. Я стоял, смотрел на них и думал, что, если мне быстро попалась бы попутная машина, я через полчаса мог бы быть там среди этого холода и чистоты. Так и застал меня Корнилов. Он шел через парковую площадь, размахивая серой трудовой книжкой.

— Слушайте, — воскликнул он удивленно, — у меня уже полный порядок. Принят! Это вас надо благодарить?

— Я тут ни при чем, — ответил я, не двигаясь. — Зайдете завтра к директору — сегодня он уже уехал.

Он удивленно взглянул на меня и спросил:

— Так, может, вы мне покажете нашу комнату?

Я покачал головой.

— Некогда.

Он постоял, посмотрел и тронул меня за локоть.

— Что с вами такое? Вам нехорошо?

— Нет, — ответил я, — мне ничего.

Он постоял, помаялся и робко попросил:

— Тогда вы, быть может, покажете мне мое место?..

— Не сейчас, — сказал я, — сейчас вы идите к Кларе Фазулаевне. Ей директор велел заняться вами. Я еду в горы, в колхоз "Горный гигант". Вот видите, стою жду машину. Сейчас она придет. До свидания! Идите!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Случайная машина подбросила меня почти до самого колхоза "Горный гигант". Шофер попался свойский, из хороших здешних парней, и минут через десять я уже знал все о шестой бригаде и о бригадире Потапове.

Так я узнал, что Иван Семенович — мужик серьезный, авторитетный, любит, правда, выпить, но без этого тоже нельзя. Что будто бы в прошлом году выкопали здесь где-то три горшка и один, говорят, был полон червонцами. Ну а правда это или нет, кто же его знает? Сейчас они все пустыми стоят в сарае — если любопытно, можно поглядеть.

Потом мы въехали в гору, и пошли сады; шофер мне объяснил, что урожай на яблоки в этом году "выдающий", кое-где даже ветки приходится подпирать рогатками. Вот какой урожай! Он сказал: если я хочу достать яблочек, то лучше всего мне говорить со сторожихой, тетей Дашей. Вон-вон ее дом на отшибе! Только не рано ли я еду? Апорт-то ведь еще не снимали.

Тогда я спросил его: а почему апорт? Апорта и в Московской области много. Вот, говорят, лимонка какая-то особенная есть. Тут шофер обернулся ко мне и спросил:

— А вы что, командировочный? — И горячо заговорил: — Так вы слушайте, что я говорю: вы апорт спрашивайте! Только его, только его! Как вы в Москве чемодан с ним раскроете, так все рты поразевают, там и яблок таких сроду не видели. Каждое с килограмм! Потому и город на-

зывается Алма-Ата, что — отец яблок. А лимонка что ж? Оно яблочко маленькое, желтое, не выдающее. — И прибавил решительно: — Нет, апорт! Только апорт!

Я пожал плечами — опять то же самое, Алма-Ата — отец яблок.

Испокон веков славились на Руси нежинские огурцы, чарджуйские дыни, владимирская вишня, камышинские арбузы и верненский апорт. Это действительно почти невероятное яблоко — огромное, блестящее, ярко-красное. Когда я впервые увидел его, то не поверил своим глазам. Оно лежало на черном жестяном подносе, исписанном огромными трактирными розами, и розы не казались уже огромными, яблок было всего три, но они занимали весь поднос — лучистые, лакированные, как ярмарочные матрешки, расписанные мазками, пятнами, какими-то вихрями света и зелени. Они были так хороши, что я побоялся их тронуть. А вечером я все-таки разломил одно. Оно сухо треснуло, едва я прикоснулся к нему, и мне в лицо брызнул искристый, игольчатый сок. Я поднес половину яблока к лампе, и оно вдруг сверкнуло, как кремень, льдистыми кристаллами и хрусталиками, — кусок какой-то благородной породы — не мрамор, не алебастр, а что-то совсем другое — легкое, хрусткое, звонкое, не мертвое, а живое лежало у меня на ладони.

Алма-атинский апорт! Никто никогда не занимался его историей. Родилось это яблоко внезапно и легко.

Вдруг в столичных газетах и отдельными листовками появилось объявление. Мне очень хотелось бы поместить его так, как оно было напечатано, с лихой разбивкой строк, залихватскими большими буквами, с красными строками и восклицательными знаками. Напечатанный в строку текст мертв, а ведь он рожден для того, чтобы кричать, зазывать и хвастать.

"Из города Верного привезли еще небывалый сорт Гранд-Александр, замечательный по красоте, вкусу и величине.

От 7 до 8 вершков в обороте!

Подобных яблок Петербург еще не видел. Да нет таких не только у нас, но и за границей! Приблизительно такой же сорт получается из Бельгии, но по своим качествам он ниже Гранд-Александра в три раза, а по цене дороже в пять раз!"

Так надрывался фруктовый склад Русакова.

Это было внезапное и победоносное рождение алма-атинского апорта.

Его взрастили в тишине садов и прилавков, и он попробовал алма-атинскую землю и воду и полюбил их так, что остался им верен навек; он хирел и гиб, если его с ней разлучали. И мир тоже не знал о нем очень долго.

"До 1910 года мы не знали, что делать с нашими фруктами, — пишут "Семиреченские областные ведомости", — а особенно с яблоками и грушами. Целый воз фруктов продавался за 50 копеек. С 1910 года картина резко меняется. С. Т. Тихонов, небезызвестный верненцам общественный деятель, захватив с собой несколько сортов различных яблок и груш, поехал в Петербург и там заключил контракт с торговцами фруктов".

С этого все и пошло. И недаром, конечно, пошло.

По имени этого яблока не стыдно назвать не только город, но и целый край. Если бы Вильгельму Теллю пришлось целиться в такое яблоко, он бы не был героем. Да, но ведь не с такими яблоками пришлось иметь дело обитателям этих древних долин и предгорий. Алма-Ата — отец совсем иных яблок. Они растут по холмам и предгорьям. Есть среди них и низкорослые карлики, изогнутые по ветру и изгибу круч, есть и высокие, стройные, ветвистые деревья, есть и просто чем-то очень похожие на ивняк — цепкие, горькие, зеленые, как змеи, лозы. Из долины они карабкаются на склон горы и притыкаются на таком клочке

земли, где и ногу-то, пожалуй, негде поставить. И тут они приобретают цепкость и гибкость горных растений. Карабкаются они долго, целыми десятилетиями, ползут шаг за шагом, метр за метром, то поодиночке, то компанией, а когда наконец выползают на темя холма, то какой дружной семьей зацветают они там! Обнимаются сучьями, сплетаются стволами и ветвями, иногда даже врезаются, врастают друг в друга. А плоды на этих деревьях растут все-таки маленькие, твердые и кислые, с голубиное яйцо. Но древнему обитателю гор и они казались гигантскими. И не зря, конечно, казались. Подобных дичков не встретишь больше нигде. Есть яблони, усыпанные плодами ярко-красного, почти карминного цвета (даже мякоть у них нежно-розовая, цвета алого мрамора), есть яблони с желтыми продолговатыми плодами, похожими на крошечный лимон (вот откуда, наверно, пошла лимонка), есть яблоки белые и круглые с терпким и вязким вкусом, есть наконец и просто дички — зеленые и горькие. Вот именно под этими яблонями и происходило то историческое сражение, о котором однажды упоминает академик Бартольд в монографии, посвященной истории этих мест. Но ведь города этого так и не нашли. Может, потому, что не искали, а может быть, оттого, что древняя Алма-Ата была на совсем другом месте и совсем не эти прихотливые дички дали ей название. А может, и вообще это название никакого отношения ни к яблокам, ни к яблоням не имеет, а значит что-то совсем иное. Мало ли кто здесь побывал за последние двадцать веков — и усуни, и саки, и монголы, и все они оставили свои визитные карточки — то курганы, то камни, то медь и бронзу. Одних курганов в городе было сколько.

"Курганами средней и малой величины покрыта вся территория и все окрестности города Верного и прилегающих к ним алма-атинских станиц и выселок, — писал Кастанье в 1889 году и прибавлял: — В городе и станицах курганы эти большей частью уже

срыты, так как они мешали усадебным постройкам. Все они тянутся более или менее правильными линиями с запада на север, от гор к степи, по течению рек".

Значит, кочевье здесь, безусловно, было, но кто и как может доказать, что именно здесь следует искать древний город? Вот и те древние горшки, за которыми я сейчас еду, разве они что-нибудь доказывают?

— Стой, стой, — сказал я шоферу, — вот вывеска: "Правление". Останови машину.

Маленький, жукастый, толстоносый человек в черной рубахе без пояса и в галошах на босу ногу вышел из избы на шум мотора и остановился на пороге, сердито и недоуменно глядя на нас. Я сразу почему-то понял, кто это, и спросил:

— Бригадир Потапов?

— Он самый, — ответил человек пасмурно. — А вы из горземотдела?

— Пройдемте в правление, — сказал я. — Нет, я не из горземотдела. Горшки все еще у вас?

— Так забираете у нас эти макитры? (Бригадир говорил по-южному — "макитры", а не горшки.) Забирайте, забирайте. Вон всю кладовку завалили, не повернешься даже! Берите, пожалуйста...

— Ладно, — сказал я. — Завтра же заберем.

— Берите, берите. — Он так толкнул ногой ближнюю макитру, что она загудела, как улей. — Хотел я их приспособить под капусту, вымыл, вычистил золой, так тут ваш счетовод налетел. — Он сердито усмехнулся. — "Как же так можно! Великая историческая ценность! Ей только в музее место!" Ну, берите, берите, ставьте в музей.

В кладовой было темновато, пахло сухой рогожей и соленой рыбой. Темнота здесь стояла особая, такая, какая бывает в яркий, солнечный день в забитой даче. На полу и на стенах лежали белые и желтые полосы света. Валялись грабли, широкие деревянные лопаты, лейки, стояли белые оцинкованные ведра,

одно в другом; всю середину занимала какая-то громадина на зеленых колесах, не то сеялка, не то веялка, не то еще что-то сельскохозяйственное, и бригадир как только вошел, так и опустился на подножку.

— Их у вас четыре? — спросил я о макитрах.

— Шесть, — усмехнулся бригадир. — Еще две в душе стоят, я завтра вам и те сюда притащу. Ну, посмотрели? Пошли!

Мы вышли в сад. Блеск был разлит повсюду. Сверкали раскаленные черепицы крыш и стволы яблонь, обмазанных известкой. Ветерок ходил по высокой, некошеной траве, и пахло сырой землей и табаками. А за яблонями, где-то на просторе, громко хохотала женщина. Хохотала и выговаривала: "Ой, Боженька же мой, ой, не могу, не могу!" — и снова хохотала.

— Слышите? — кивнул головой бригадир и крикнул: — Коршунова! Коршунова, дьявол! Вот я тебе порепетирую.

Хохот смолк, а потом тот же голос вызывающе произнес: "Ой, Боже ты мой, не могу, не могу, не могу!" — и захохотал.

— Тьфу, окаянная!.. Ты ей хоть кол на голове теши, — злобно плюнул бригадир. — Совсем с панталыку сбилась. Артистка!

— А кто у вас руководит драмкружком? — спросил я.

Он махнул рукой.

— Тут не кружок, тут поднимай выше, — сказал он. — В Алма-Ате занимается. В какой-то театральной высшей школе... племянница моя, сестрина дочь. На лето приехала матери помочь. И вот слышите, как помогает? Ну, хорошо, только до собрания, там я ей покажу "ха-ха-ха!". — И он быстро пошел по просеке, бормоча под нос что-то сердитое.

— Так, может, у нее талант? — спросил я, догоняя его.

Он остановился и взглянул на меня.

5 --166

— То не было никакого таланта, а то вдруг он объявился? — спросил он насмешливо. — Конечно, талант! Туда без таланта и не суйся! Там талант первее всего. — Он значительно посмотрел на меня и усмехнулся.

Я хотел ему что-то ответить, но он вдруг остановился, взглянул на солнце, полез в боковой карман пиджака, вынул старинные часы из черного серебра, звонко щелкнул крышкой с кудрявым вензелем, посмотрел и сказал:

— О! Ну, однако, уже и обед. Милости просим ко мне. Закусим чем Бог пошлет.

— Да нет, нет, — сказал я, — мне ведь...

— Прошу, прошу, — повторил он настойчиво, — макитрами сыт не будешь, — и взял меня под локоть.

Мы прошли между двумя рядами яблонь, пересекли по тропинке густой темный вишенник и спустились к Алма-Атинке. Она кипела между узкими берегами и била зелеными фонтанами. У больших камней вскипали водяные воронки и мелкие буруны, а на самой середине ее, около огромной глыбины, гладкой и черной, как бегемот, опустившийся на колени, крутились клочья сердитой пены, листья и какой-то сор. Мельчайшая водяная пыль висела над кустами, и большие, сердитые, почти серые лопухи с лиловыми черенками все время дрожали от гула. А гул был такой, что казалось — это по дну катятся огромные пустые бочки. На самой спине каменного бегемота лицом вниз, так что была видна только загорелая спина да острые крылья лопаток, лежал человек в черных трусиках.

— Смотри — опять он здесь! — удивился бригадир. — Когда же это он приехал? Я его что-то с утра не видел.

— Кто это? — спросил я.

— Да так, один, — ответил неопределенно бригадир и опять усмехнулся. — Геройский человек, ничего не боится, прямо с камня в этот кипяток прыгает, а когда-нибудь его обязательно утащит. Вы слышите,

как гудит, это ведь она глыбы с гор катит, вот как даст такой глыбиной по ногам...

Он стал осторожно спускаться, держась за кусты.

— Можно бы дальше пройти, — сказал он. — Там лесенка деревянная есть. Не свалитесь?

Через реку от берега до берега была проложена гряда больших камней.

— Пройду, — сказал я и сейчас же чуть не полетел с обрыва, ботинок по каблук ушел в глину.

Где-то вверху бил родник, и по тропинке катилась прозрачная тонкая струйка.

— Тише, тише! — крикнул бригадир. — Тут знаешь как нужно осторожно? Сразу полетишь... Один на прошлой неделе так грохнулся, что в город свезли. Дайте-ка я вас... — Он взял меня под руку. — Из зоопарка приехал, змея ловить. Петли, сети принес, мешок большой брезентовый, чтоб, значит, змея сажать.

"Ага, сам заговорил", — подумал я и спросил:

— Ну и поймал?

— Поймал... В первый день, говорю, увезли еле живого. Потом через неделю приехал уже без мешка и сетей. Полазил-полазил по холмам с аппаратом, а потом заявился в правление, как раз я за председателя оставался, и командировку мне на стол — подписывайте. "Подписать-то, говорю, недолго, товарищ ученый, но со змеем-то, между прочим, как? Где он?" А он по аппарату хлопает. "Здеся, — говорит он. — В кассете, я его сорок раз щелкнул, во всех видах: и как спит, и как воду лакает, и как яблоки ваши лопает". — "Ну а ловить, говорю, кто же будет?" — "А ловить, говорит, специалиста вызывают, я, говорит, не охотник. Мое дело — выяснить, есть он или нет". Ну, вот теперь и вы приехали. Как он там, показывал кому эти снимки или врет?

— Врет, конечно, — ответил я, — змеи яблоки не едят.

— Ну, это уж вы, пожалуйста, не говорите, — поднял ладони бригадир. — Что змей яблоки лопал, это я сам видел.

— А как вы это видели? — спросил я.

— А вот так. Встаю я ведь рано, часов в шесть я уже на ногах. Так вот, встал я и иду к речке с дробовичком, а мне навстречу пастушонок Степка бежит, задохнулся, орет: "Дядя Вань, дядя Вань, идите скорее, там у яблони..." Как он называется-то? Ну, змей-то, как он называется?

— Удав.

— Нет, как-то не так. Он по-научному его как-то. Последнее-то слово — "конструктор", а вот первое имя — короткое, а все из головы вылетает.

— Боа-констриктор? — спросил я.

— Вот-вот, совершенно точно сказали — Бова-конструктор. "Где? — кричу. — Идем!" Добежали мы вон до этого обрыва. Только не с этой стороны, а с другой стороны заходили. Степка мне на крайнюю яблоньку тычет, она на самом-самом обрыве. "Вон-вон, он под ней лежал, теперь снова вниз сполз". А тут видите какой грунт? Каждую весну обвалы. А внизу-то дичь: оскарь, лопухи, дудки! И ни коса их, ни огонь — никакой дьявол не берет. Как железные стоят. Да тут, по правде сказать, и косить-то неспособно. Откос! Чуть не так махнул — и полетел вместе с косой в реку. Так что тут у нас лет пять не кошено и не хожено. Вот тут он и лежал.

— Свернувшись? — спросил я.

— Так точно, свернувшись. Там бугор сухой, глинистый выдавался, так вот он на нем и лежал, видно, отогревался с ночи. Такой черный-черный, только не блестящий, а матовый, как шина. Я Степке говорю: "А ну, отойди!" — да как лупану резаным свинцом. Как он шарахнется, блеснет — и нет его! И все скрозь, скрозь зашумело, задрожало, посыпалось: только что он тут лежал, а смотрю — уже вон где, на другом конце лопухи шевелятся. Весь склон, можно сказать, зашевелился. А ведь это, чтоб не соврать, метров десять, а то и того больше. Я говорю: "Стой, Степка, я пойду посмотрю". Ну где ж тут. Пока спустился, уже

на том краю шумят. Признаться, я совсем-то поглубже зайти побоялся — вдруг он где притаился? Послал Степку в правление за людьми. Те прибежали с топорами, с баграми, пожарную бочку привезли — змея из норы выливать, топотят, кричат, смеются. Ну, колхоз, конечно, где ж тут. Все прощупали, нигде его нет, только яблоки откусанные валяются. А дерево с тех пор стало желтеть, сохнуть. Нет, вы не сомневайтесь, он и в самом деле яблоки лопает. В священном писании читали? У вас ведь в музее оно обязательно должно быть. Чем там змей Еву соблазнил, не помните?

— Яблоком, — ответил я и засмеялся.

— А, вот, значит, знаете, — засмеялся и он, — это хорошо, что знаете, сейчас из молодых это никто не знает. Нет, это точно, мы потом все боялись, как бы он нам все яблоки не перетравил.

— Да он же не ядовитый, — сказал я, — он кольцами давит.

В это время бригадир вдруг остановился, оглянулся и приветливо заулыбался. К нам шел высокий, стройный человек, на нем был легкий серый костюм, желтые туфли, голубое мохнатое полотенце он перевесил через плечо.

— Кто такой? — спросил я.

— А вот тот, что купался, — ответил бригадир и крикнул: — Михаил Степанович, что сегодня так скоро?

— Да вот вас увидел, — ответил Михаил Степанович приятным голосом, — побоялся, что без меня за стол сядете. — И он постукал по оттопыренным карманам.

— Умные речи приятно и слышать, — улыбнулся бригадир. — Знаете пословицу: "Садись за стол — гостем будешь, водку поставишь — хозяином будешь". Только вот выпивать-то сейчас мне... — Он опять поглядел на солнце.

— Ничего, у меня охотничья, от нее валерьяновой каплей шибает, — сказал Михаил Степанович.

Голос был молодой, звучный, и лицо у него тоже молодое, розовое. Подойдя, он улыбнулся и протянул мне руку.

Фамилии мы почему-то друг другу не назвали.

Втроем мы сидели за столом, покрытым белой скатертью, под большой старой яблоней с черносизыми листьями и обедали. Уже выпили по стопке.

— Интересные это люди — ученые, — сказал бригадир. — Кто их поймет, тот, наверно, еще тысячи лет проживет... — Он перегнулся через стол и налил мою стопку до краев.

— А все люди, хозяин, интересные, — сказал мирно Михаил Степанович и потянулся ко мне чокнуться, — неинтересных людей, дорогой Иван Семенович, на свете не бывает. За ваше здоровье.

— Будемте здоровеньки. — Бригадир поставил пустую стопку на стол. — Ну вот, например, вашу науку взять, — сказал он и повернулся ко мне. — Вот вы приехали к нам. Копать землю будете? У председателя рабочих будете просить, так ведь? Ну, выделим мы вам инвалидов, какие поплоше, покопаетесь вы неделю, раскопаете черепки, кости, пятаки и выставите их в музее. Вот, мол, наша находка. Хорошо! А вот у меня лежат два пятака в сундучке. Екатерина Вторая. Хотите — пожертвую на науку?

— Нет, спасибо, — сказал я. — Не надо.

— Ага, не надо, — обрадовался он. — А вот если бы вы их сами выкопали, тогда нужны они были бы вам или нет?

— А вот тогда нужны.

— Нужны! — Он даже ударил ладонью по столу. — Видишь, какое дело: даю готовые — не надо, а сами откопают — нужны. Почему же так? Ведь пятаки-то все одинаковые — что мои, что ваши, только мои почище, конечно.

Я поглядел на него и засмеялся.

— Да нет, тут смеяться нечего, — сказал он сердито. — Я правду говорю. И все хитрят, и все хитрят. —

Повернулся он к Михаилу Степановичу: — Все выгоду какую-то ищут. Вот вы сколько жалованья получаете?

— Стой, стой, к чему тебе это? — перебил его Михаил Степанович.

Бригадир сердито махнул рукой, налил себе еще стопку, опорожнил ее одним глотком и обтер ладонью рот.

— Тут все к чему, — сказал он хмуро. — А вот война? — спросил он меня в упор. — Вот вы пришли сейчас домой, а утром в семь часов повестка. Явиться на призывной пункт с вещами. Тогда что?

— Да ничего, встану, соберусь и пойду, — сказал я.

— Да ты чего-то уж не туда загибаешь, Иван Семенович, — сказал мой новый знакомый. — Война войной, а наука наукой, пятаки тут ни при чем.

— Опять пятаки ни при чем? Очень они при чем! Вот вы сказали: позовут — пойду. А что такое пойти на фронт, вы знаете? Стойте, стойте, я уж свое доскажу. Вот в пятнадцатом году нас из Большой станицы двенадцать человек пошло воевать. С музыкой провожали, с попами... И парни все были — во! А вернулось нас с фронта всего двое — я да Петька Карасев. И вот еще, видишь, сижу и водку пью с учеными, а Петька покашлял, покашлял, да через год его в Порт-Артур и стащили, легкое у него отвалилось. В болоте ночь просидел. Значит, было нас двенадцать, а остался один я, а над теми десятерыми, наверно, и до сих пор кресты в Польше торчат, сам тесины прибивал, знаю. А теперь вот и креста не поставят, одни столбы.

— Иван Семенович, ты больше не пей, — нахмурился мой новый знакомый. — Как это понимать — одни столбы... Добрая память останется, она что? Ничего тебе, что ли?

— А вот так — столбы! — ударил кулаком по столу бригадир. — А добрая память — это вот! Фу! — Он дунул и засмеялся. — Вот она, добрая память, полетела — вот-вот! Видишь ты ее? Где она? — И вдруг

ожесточенно заговорил: — Мы ведь все на свете превзошли, и религии уж не придерживаемся, и открыли, что не Бог в небе, а пар. Ну, ладно, пускай пар, а не Бог, я не против. Но я ведь вот про что... — Он остановился, собираясь с мыслями. — Вот ученые приезжают, — продолжал он уже медленно и вдумчиво, — черепки собирают, ну что ж, мы уважаем науку, хорошо... Ну а вот если верно — завтра война? К чему эти кости и черепки, а? Вот я газеты читаю. Каждый день пишут: такую-то речь Гитлер грохнул, такую-то границу его войска перешли, и все ближе, ближе к нам война подбирается. Стали уже учить, как маски надевать, а вы все черепки собираете. Как же это понимать, а?

— Да что это ты, хозяин, больно развоевался? — сказал мой новый знакомый недовольно. — Заладил как сорока: война, война, война... Без тебя это каждый день слышим и читаем. Позовут — соберемся и пойдем. Но только война-то ведь не на целый век. Вот ученые сосчитали, что в старом мире, при царизме, на каждые десять лет мира приходилось одиннадцать лет войны. Так люди-то воевали, а пятаки-то лежали. И эта война пройдет, а все равно пятаки останутся. Наши внуки еще будут ими интересоваться.

— А останется кому интересоваться пятаками? — покачал головой хозяин. — Вот газ у них, говорят, особый есть, от него даже железо сыплется. Так вот, если они его на меня или на вас пустят, так что от нас тогда останется, а? А то еще есть такие прожектора — как поведут лучом, так и города нет!

— Лучи смерти, — засмеялся мой новый знакомый. — Ну-ну, читай "Вокруг света", читай, еще не то вычитаешь. Но вот что, хозяин, — он постучал пальцем по столу, — ты все-таки поменьше бы звонил. Ведь это пораженческая агитация называется, понимаешь? Что же — у них все есть, а мы голенькие? Нет, что у них, то и у нас есть, а может, есть и что похлеще. Очень может быть! И победить мы его победим.

За него никто не пойдет — ни француз, ни англичанин, ты в этом не сомневайся.

— Да я не сомневаюсь, — сказал бригадир, — я ведь к тому, что... — Он вдруг сразу как-то сник и замолчал, взял стопку, налил ее доверху, но пить не стал, а оставил и вдруг заговорил, возбуждаясь все больше и больше: — Вот вы говорите "не пойдет". За столом-то все, конечно, можно сказать — и про ту войну тоже говорили, что ни за что никуда не пойдут. А нет — пошли, да еще как пошли-то, с песенками: "Соловей, соловей-пташечка", — запел он вдруг и рассмеялся. — Да и как было не пойти? Впереди пулемет и сзади пулемет. Не пойдет? Нет, как еще пойдут-то.

— Вы историк? — спросил меня мой новый знакомый.

Я кивнул головой.

— Я вот почему спрашиваю: этот пулемет в лоб, про который он сказал, ну что ж говорить, средство действительно очень сильное. Но скажите, могут войска под этими пулеметами выиграть войну? Ну, не только пулемет, конечно, а вообще одна жестокость сама по себе. Деревни жечь, дезертиров вешать, солдат пулеметами гнать. Вот это может выиграть войну?

— Ну, это смотря кто с кем воюет, — сказал я. — Но одно только можно сказать с уверенностью: армия свободных всегда побьет армию рабов. Это еще Эсхил отлично понимал. В "Персах", например, престарелая царица Атосса спрашивает предводителя Хора о греках: "Кто гонит это войско в бой? Кто их царь?" И тот отвечает: "Никто их не гонит, нет у них царя, они свободны!" — "Так каковы же они в битве?" — спрашивает царица. "А таковы они в битве, — отвечает Хор, — что все войско твоего сына полегло под их мечами". И в заключение, после гибели персидского ополчения, Хор поет: "Персы, не идите против эллинов, сама земля им союзница". Земля — союзница! Подумайте, огромная армия, состоящая из

двенадцати пленных народов — тут были и сирийцы, и египтяне, и финикийцы, — была разбита в прах одним свободным народом.

— Вот, отец, — повернулся к бригадиру Михаил Степанович. — Слышишь, что историк сказал, а ты говоришь: зачем история? Чтоб нас, дурней, учить. Из-под палки никто не побеждает. И твои пулеметы сзади — они тоже очень свободно могут лишний раз повернуться да так дать по тем, кто их поставил...

— Это так, конечно, — тускло сказал хозяин, его уже утомил этот разговор. — Но все-таки надо и то сказать...

— Софа! — вдруг крикнул мой новый знакомый. — А я вас ждал-ждал, ведь на целый час запаздываете.

Я оглянулся. К нашему столу шла незнакомая мне женщина.

— Ну, так уж вышло, — сказала она, подходя. — Так уж вышло, Михаил Степанович, никак не могла раньше.

Я поглядел на нее. Волосы у нее были мягкие, золотистые (тогда в моде был пергидроль), а лицо удлиненное, худощавое, с тонкой белой кожей. И так не шел к этому нежному, чистому лицу, к волосам этим высокий, выпуклый, почти мужской лоб. Его даже и прическа не могла скрыть. Поэтому впечатление от нее у меня осталось двойственное и какое-то тревожное. Как будто из-под одного лица — красивого и спокойного — вдруг выглянуло совсем другое — пытливое, затаенное. Был на ней английский костюм из светлого коверкота песчаного цвета, очень тонко и четко облегающий фигуру. А через плечо фотоаппарат в кожаном чехле. Она шла к нам, улыбаясь, но глядела только на Михаила Степановича. Он встал, забрал ее пальцы в свои руки и потом, не отпуская их, обернулся ко мне.

— Знакомьтесь, — сказал он, — аспирант института права, Софа Якушева, отбывает у нас практику. — Он взглянул на нее и засмеялся. — С утра до вечера

бродит по горам и снимает виды Тянь-Шаня. Раз около нашей школы погранохраны ее задержал патруль, пришлось ездить выручать. Так вот, Софа, это — наш хозяин, — он назвал фамилию бригадира, а это, — он обнял меня за талию, — наш археолог. Тот самый, статью которого в газете вы так хвалили, — он назвал и мою фамилию.

— Очень рада познакомиться, — ровным голосом сказала Софа и протянула мне руку. Рука была холодная, как из потока.

— Садитесь, Софа, с нами, — пригласил Михаил Степанович. — Хозяин, а ну-ка еще стопочку. Софа тоже выпьет с холода.

Она кивнула головой и села. Хозяин побежал вниз.

— Вы сегодня никуда уж не торопитесь? — спросил Михаил Степанович бегло, но значительно.

Она слегка пожала одним плечом.

— Особенно нет, но к восьми мне надо быть уже в городе, хочу пойти в кино.

— Что-нибудь интересное? — спросил он быстро.

— Да, — отвечала она.

Он поглядел на часы-браслетку.

— Ну, отлично, пойдем вместе. Вот выпьем и пойдем, ладно?

Она кивнула головой.

Это был короткий, быстрый и понятный только для них обоих разговор.

Потом Михаил Степанович снова повернулся ко мне, и лицо его стало по-прежнему ясным, добродушным и ироническим.

— Тут у нас о войне разговор был, — сказал он, глядя на меня, — такого страху нам хозяин нагнал, спасибо вот историк выручил.

— Я страху никакого не нагонял, — хмуро ответил хозяин, появляясь в дверях с тарелкой соленых огурцов. — Я говорил, что знаю. Ну а врать, конечно...

Тут я увидел, что он уже здорово пьян.

— Вот вы говорите, — продолжал он задиристо, — что ничего не будет, а в писании не то ведь сказано. Там сказано: будет последний бой и налетят железные птицы и истребят всех живущих. Так что — это тоже дурачок писал?

Михаил Степанович быстро взглянул на Софу, она сидела молча.

— Ну вот, — сказал он весело. — Мы уже и до писания дошли. Да ты что, сектант, что ли, Иван Семенович?

Тот хмуро покачал головой и аккуратно начал расставлять по столу посуду.

— Тут не в писании совсем дело, — сказал он. — Писание — это только так, к слову пришлось.

— Ну, хорошие же у тебя тогда слова! — воскликнул Михаил Степанович. — А еще сознательный человек, колхозник, бригадир.

Тут вдруг наш хозяин поднял лицо и посмотрел на нас. Мне показалось, что он даже покраснел от раздражения.

— Ну вот вы все ученые люди, — сказал он громко и насмешливо, — политики, а я, верно, как вы говорите, дурак, колхозник. Ну так как вы считаете, вот это писание — оно что? Его дурак какой-нибудь сочинял, Сергей-поп какой или еще кто?

— Ну, не дурак, конечно, — ответил Михаил Степанович. — Но...

— Ага! Значит, не дурак, — усмехнулся хозяин. — Так! Хорошо... Так значит оно что-нибудь или нет? Ну вот как вы скажете — значит?

Софа вздохнула и отвернулась, а Михаил Степанович скучно ответил:

— Ну, значит, конечно, кое-что отражает — фанатизм, темноту, забитость, настроение масс того времени, ну и прочие социально-исторические штуки. Так, значит, налетят эти железные птицы и всех нас перебьют? Ну а может, это наши птицы будут, а не его?

— Оставьте, — сказала тихо и досадливо Софа. — Ну что вам?

— А ну-ка, историк, — сказал Михаил Степанович, — разложите его опять на лопатки.

— Ну-ка, ну-ка, разложи, — повернулся ко мне бригадир, — попробуй.

— Никаких железных птиц в писании нет, — сказал я твердо. — Есть, верно, в "Апокалипсисе" железная саранча, вот о ней, наверно, и идет речь.

— Ну, хорошо, саранча. Так вот к чему она? — вкрадчиво спросил хозяин. — Как эту саранчу понимать-то надо? Ведь саранча эта так, букашка, что она особенно сделать-то может? Ну, сад оголит, хлеб пожрет, а тут ведь пишется — всех уничтожат! Вот ведь как. Неужели тот, кто писал, никогда и саранчу в жизни не видел?

— Ох, как еще видел, — сказал я. — Потому так и писал, что видел. В тех местах, в Малой Азии, саранча как смерть, от нее ничего не спасет — ни река, ни гора, ни расстояние, садится туча ее в несколько десятков миллиардов тварей и начинает жевать. И что с ней ни делай — дави, жги, выпускай стада быков, она все равно будет жевать. Ее давят, а она жует, жгут, она жует, ее ничто не трогает — ни смерть, ни боль, — ничего, только бы оголить всю землю дотла.

— Вот как эту ладонь, — сказал бригадир тихо и подавленно и выставил над столом большую, крупную загорелую ладонь, — точно! Мне и отец это рассказывал.

— Вот и думает человек: знать, и смерть такая. И хорошо, что она, смерть эта, землю еще не лопает, а то и от земли ничего бы не осталось.

Бригадир сидел и молча смотрел на меня.

— Так вот оно что, — сказал он наконец тихо. — Это вы правильно сказали. — У него был вид человека, неожиданно набредшего на истину. — Это так! Бактерия! Виброн!

Тут уж я растерялся. О бактериальной войне в то время уже поговаривали. Говорили, что в Германии, в Японии и даже в Италии идет работа по выращиванию смертоносных бактерий. Что-то с чем-то скрещи-

вают, высевают какие-то культуры на питательные среды, подкармливают их питательными бульонами, высевают на агар-агар, снова пересевают, снова скрещивают, и в результате появляется уже что-то такое чудовищное, что не берет ни огонь, ни мороз. Человек погибает через несколько часов. Говорили, что где-то в Японии уже выращен чудовищный гибрид смертельных тропических лихорадок, скрещенных с бактериями столбняка, сапа и проказы. Достаточно вылить такую пробирку в водопровод, чтоб город превратился в покойницкую. В газетах об этом писали еще мало и общо. Зато о чем-то очень схожем и говорили и читали лекции. Лекции читали о том, что органами Наркомвнудела было обнаружено гигантское вредительство. Агентам враждебных разведок удалось завербовать многие сотни работников элеваторов и складов. Миллиарды пудов зерна по вражескому заданию были заражены каким-то особым клещом. Хлеб тот пришлось весь сжечь. Арестована масса ответственных работников, и с каждым днем арестованных становилось все больше и больше. После людей с именами пошли уже совсем простые люди — рабочие, экспедиторы, бухгалтеры, лаборанты. Судили их при закрытых дверях и военным судом. Приговоры выносились самые суровые — бывали и расстрелы. Арестованные признавались во всем, и скоро прокуратура и органы следствия объявили о том, что они до самого конца распутали весь огромный клубок измен и предательств. Враги рассчитывали, писали газеты, на благодушие советского народа, но они снова просчитались: железная рука советской разведки (я видел эту руку — "ежовые рукавицы" — на плакатах, ими был оклеен весь город) схватила врагов за горло, задушила и выбросила из советского общества. Итак, враги, безусловно, просчитались. Но глупо думать, что они успокоятся. Наоборот, сейчас в борьбу вводятся все новые и новые силы. И этого надо было ожидать, ибо, как указал товарищ Сталин, чем больше наши успехи, тем

ожесточеннее сопротивление врагов и тем на более крайние средства они идут. А отсюда вывод, который сейчас и сделал бригадир: если можно заразить искусственно клещом элеваторы, то почему ж нельзя вырастить где-нибудь в Марокко многомиллиардные стаи саранчи особой породы да и пустить ее на колхозные поля? Вот тебе и апокалипсис...

Я смотрел на бригадира — и не знаю, как это выходило, но отлично понимал все, что он думает.

— Это чепуха, отец, — сказал я. — Никаких таких бактерий на свете нет.

Он печально, но решительно покачал головой.

— Нет, есть они, есть! Так и про клеща сначала говорили, что это одна агитация, а видишь, сколько его под конец оказалось.

— Ну, сравнил клеща с саранчой, — сказал Михаил Степанович. — Это, брат, совершенно разное дело, саранчу, как клеща, в пробирке не принесешь и не выпустишь.

И тут из меня вдруг выскочило то, о чем я уж месяцы думал и так и сяк, но с полной определенностью решил только сейчас.

Я сказал:

— И с клещами тоже чепуха. Никто ими элеваторы не заражал.

Но тут Михаил Степанович поднял стопку и весело воскликнул:

— Э, хозяин, хозяин! Что ж ты за стопками не смотришь? Ведь вот все пустые. Ну-ка давай по последней.

Слов моих он как будто не расслышал.

Только Софа Якушева поглядела на меня и отвернулась.

— Нет, есть клещ, — сказал бригадир, не двигаясь. — Обязательно он есть... Это я точно знаю! — Он взял со стола бутылку и стал наполнять стопки. — Точно знаю... — повторил он. — У меня брата за него расстреляли. Завербовал его Модест Ипполитович, заведующий нашим элеватором. Так неужели же че-

ловек ни за что девять грамм получил? Нет, нет, этого я никак не могу допустить. Есть он, обязательно есть! Это уж точнее точного.

О том, что надо ехать, уже не говорили. Софа пила наравне со всеми и, когда думала, что я не вижу, украдкой косила на меня большими светлыми глазами. А мне уже было досадно, что я наговорил лишнего. Я налил себе две стопки и, не угощая никого, опрокинул их раз за разом.

— Вот это по-нашему, молодец! — сказал Михаил Степанович. — Ну что же, выпьем и мы, Софа, а?

Она отрицательно покачала головой и тихо сказала:

— Пора.

Уже вечерело. Откуда-то вдруг тонко потянуло розами. Но я знал, что это не розы пахнут, а это несет из ям прелым прошлогодним листом. Хозяин сидел на табуретке печальный, серьезный и, слегка покачиваясь, задумчиво смотрел на свои руки. Вдруг прямо над нами закричала иволга. Крик у нее противный, резкий, кошачий. Я вздрогнул.

— Ну и пугливый же вы, — усмехнулся Михаил Степанович. И только он это сказал, как где-то далеко за садом закуковала кукушка.

— Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить? — крикнул он ей.

Кукушка крикнула три раза и замолкла.

— Недолго же, — усмехнулся Михаил Степанович и взглянул на часы.

— Пойдем? — тихо спросила Софа Якушева и встала.

— Ну а вы как? — спросил меня Михаил Степанович, поднимаясь. — Может, вас подбросить до города?

Я поблагодарил и отказался. Ехать мне с ними почему-то не хотелось. Он протянул мне руку.

— Ну, тогда позвольте пожелать вам всего хорошего, еще, надеюсь, встретимся.

— Встретимся, — сказал я. — Мы теперь здесь часто будем.

И тут опять, и уже ближе, закуковала кукушка.

— Ну, может, мне больше повезет, — сказал я. — Кукушка, кукушка, сколько мне?..

Она вдруг замолкла.

— Обоим сегодня не везет, — засмеялась Софа Якушева. — Наверно, за страшные разговоры. Так до скорого?

Они ушли, и, переждав минут десять, я поднялся было тоже. Но хозяин сурово сказал мне:

— Постойте-ка, — и снова налил по полной.

— Не буду, — сказал я, отодвигая стопку, — я уже и так совсем пьян.

Он усмехнулся одним углом рта.

— Пейте, ничего. Язык не заплетается, вот в мыслях, может быть, немного?

Я молчал.

— В голове, может быть, говорю, не того? — повторил он настойчиво.

Я опять смолчал.

Тогда он сказал:

— Вот вы насчет клеща высказались, что это все чепуха.

— Вы этих людей хорошо знаете? — спросил я.

Он усмехнулся, помолчал, подумал.

— Этого Михаила Степановича, — сказал он, — я месяца два, наверно, знаю, что-то часто он стал сюда ходить, целый день иногда лежит, загорает, а вот ту, что с ним, я только второй раз вижу.

— А кто она такая? — спросил я.

— Она-то? А кто ж ее знает, юрисконсул, что ли, а там не знаю. Разве женщину узнаешь? А за Михаилом этим, — продолжал он, подумав, — раз машина из города приезжала, он там на камне лежал, а шофер подогнал машину к самой речке и подал ему записку. Он прочел, сразу оделся и уехал вместе с ним. Да вы его не бойтесь.

— Я не боюсь, — сказал я быстро.

— И не бойтесь, не бойтесь. Тут много всяких разговоров было, он всегда на них ноль внимания... Да, так вот насчет этого клеща. Вы говорите — нет его, а я ведь этого Модеста Ипполитовича, которого вместе с братом расстреляли, вот с таких лет знаю.

Опять закуковала кукушка, куковала долго, звонко, не переставая, может быть, потому, что никто из нас уже ее не спрашивал, сколько нам осталось жить. Бригадир рассказал мне все про Модеста Ипполитовича и начал рассказывать про своего брата.

Однажды прибежала в слезах невестка и сказала, что с мужем творится что-то неладное: стал он пропадать неизвестно где, приходит поздно ночью и — вот беда-то! — не пьяным. А однажды вернулся только утром, сел за стол и сказал: ''Катя, я вчера ездил на Иссык, перевел все мои сбережения на твое имя, так вот, если со мной что случится, то за ними сразу не ходи, а подожди месяца два, а потом вынь все и поезжай к моему брату, он тебя в колхоз устроит, колхоз у них богатый — плодоягодный, заработки там хорошие, будешь сортировщицей''. Она заплакала, а он ей сказал: ''Не плачь, теперь уже не поможешь''. А вчера, продолжала невестка, не было его целые сутки, пришел пьяный и сразу же завалился в сапогах на кровать. ''Приходи, — попросила невестка, — узнай, в чем там дело, может, правда, за ним что есть''. — ''Хорошо, — ответил бригадир, — завтра же приду узнаю''. Но удалось ему прийти только через неделю. Застал он брата веселого, выпившего, праздничного. На нем была блестящая синяя рубаха под шелковый пояс с махрами и желтые полуботинки. Увидев брата, он засмеялся и полез целоваться. Потом сели за стол, а невестку послали за водкой. Выпили и повторили сразу же. Жена, радостная, раскрасневшаяся, в одном платке, то и дело летала на угол в ларек. Брат рассказал, что собиралась на него беда, да, слава Богу, прошла сторонкой, умные люди все поняли, все рассудили. Он ни в чем не виноват, через неделю ему отдадут большую комнату в бывшей квартире Мо-

деста Ипполитовича, и какая там есть обстановка — вся она его. Будет выплачивать понемножку из жалования. "Ну а все-таки что с тобой такое было?" — тихонько спросил бригадир брата. Тот махнул рукой и ответил: "Со мной все окончательно решено! Я не обижаюсь, нашего брата тоже нужно иногда припугнуть, а то от нас, баранов, разве что-нибудь узнаешь? Вот и я дурак был, надо было сразу же все выложить". — "Что выложить-то?" — спросил бригадир брата. "А вот что замечал я за моим директором неладное. Часто он в лабораторию входил, когда никого там не было, и дверь закрывал, потом вдруг портфель новый завел на замочке, говорил, что он какие-то диетические бутерброды из дома таскает, а может, там клещи в банке сидели? Кто это знает. Вот я все это показал, от меня и отстали". Они выпили еще, и брат заснул прямо за столом. Уехал бригадир рано утром с попутной машиной, а через два дня за ним приехали и отвезли в городское отделение НКВД. Там его сразу же ввели в кабинет и стали допрашивать о брате. Допрашивали двое начальников: один с двумя шпалами, другой с тремя кубарями; начальник со шпалами — пожилой, важный, больше молчал. Зато с кубарями — молоденький, беленький, совсем мальчишка — все смеялся, предлагал закурить и спрашивал: зачем он ездил к брату за день до его ареста и какой у них вышел там разговор. Не наказывал ли брат кому-нибудь что-нибудь передать на случай ареста? Не говорила ли что невестка? Разговаривали хорошо, вежливо, обходительно, улыбались, шутили, предлагали чаю, бутерброды с семгой, а потом сказали, что пока хватит, он может идти. Но пусть подумает, может, и еще что вспомнит. А невестке, правда, лучше будет переехать к нему. Избу же пусть продает и мужа не ждет. Муж ее уличен в том, что он выполнял задания иностранной разведки. Он во всем уже признался и назвал своих сообщников. "Как так признался? — воскликнул бригадир. — Он же мне совсем не то говорил". — "Они советским

людям всегда не то говорят", — улыбнулся молоденький. А тот, что носил две шпалы (он все время стоял около открытого окна, курил и пускал шуточки), сказал ему: "Ну, расскажите ему все, я разрешаю". Тогда молодой сказал, что брат его сначала от всего отрекался и даже кричал на них, но потом, когда ему показали расписку, которую он выдал в прошлом году в Новосибирске резиденту одной иностранной державы, заплакал и сказал: "Ну, раз вы уж до Новосибирска докопались — значит, все", — и во всем признался. К сожалению, назвать фамилию этого резидента невозможно. Имена дипломатических представителей называются только при закрытых дверях. Но пусть он не думает — советская разведка не ошибается... А потом ему подписали пропуск, и он ушел. Больше про брата вот уж сколько месяцев ничего не слышно. Невестка сейчас живет с другим и мужа не ждет. Если бы он и вернулся, то добра не было бы.

Я сидел и слушал эту историю с каким-то странным чувством. Я понимал, что во мне зародилось что-то новое, что-то вдруг назрело и перевернуло все мои понятия. Я почувствовал, что, пожалуй, ни на грош не верю ни в иностранного клеща, ни в расписку эту, выданную дьяволу, ни в слова тех двух людей — того, что с тремя кубиками, того, что с двумя шпалами, ни во все то, что они рассказали. Но точно так же совершенно ясно и четко я понимал, что мой собеседник, человек трезвый и бывалый, свято верит каждому их слову и его никак не переубедить. Есть расписка, есть сознание, есть виновный, есть кара виновного, о чем же можно еще говорить?

— Но я посомневался, — сказал вдруг бригадир, — я вот почему посомневался. Ни в какой Новосибирск брат не ездил, это мы тогда с ним нарочно такой факус выкинули. Он от жены хотел уйти к бухгалтерше со свинцового завода; познакомились они на курорте, вот мы и ездили к ней в Чимкент,

а тут слушок распустили, что это он едет в Новосибирск на месячные курсы складских работников, телеграмму даже такую отбили, а сами в это время у ней в Чимкенте сидели, вот почему я им не поверил.

Вскоре я почувствовал, что меня клонит ко сну, я встал, хотел идти, но покачнулся и, верно, упал бы, если бы меня под спину не подхватил хозяин. Он меня обнял за плечи и, что-то говоря, повел в избу. Это я еще помню. Помню и то, как я вырвался от него, увидел лестницу, прислоненную к стене, и вдруг полез на сеновал. Отлично помню полумрак, запах сена и яблок и небольшой стожок посередине. Но вот как я добрался до этого стожка, как лег и как заснул — не помню совершенно.

Проснулся я уже ночью. Было совсем темно и еще сильнее пахло яблоками и сеном. Через открытую дверь сеновала мне было видно лавочку, а на ней трех человек. Они сидели и о чем-то разговаривали. И вдруг мне показалось, что я ясно различаю голос Корнилова.

— И во время допроса она предала всех своих сподвижников, и в том числе великого философа Лонгина, — сказал Корнилов.

— Ну и что ж с этим философом сделали? — спросил второй голос, хрипловатый и старческий.

— Казнили.

— Вот стерва, — выругался старик и закашлялся, — и все ведь... все ведь эти бабы такого рода, — продолжал он, отдышавшись. — Поэтому я и не женился второй раз. Так, значит, его казнили, а ее что?

— А ее Аврелиан заставил пойти в золотых цепях во время триумфа. Потом, правда, он ей пожаловал роскошную виллу в предместье, и она так на всю жизнь и осталась в Риме. Жила хорошо, в почете, растила внуков.

— Вот, наверно, хулиганье было без отца при больших деньгах, — злорадно сказал тот же старческий голос. — Есть за что чтить сучку! Войну проиг-

рала, столицу свою разрушила, от друзей отреклась, а сама, как какая-то позорница, пошла в цепях, и за это ей почет.

— А царицам всегда почет, — ответил кто-то третий, и я узнал голос бригадира. — Это простого человека чуть что под ноготь, а царям всегда полная привилегия. Вот Вильгельм до сих пор живет в Голландии.

— Зато Николашку-то разбахали, — сказал старик.

— Да ведь это мы. Мы бы и эту Зиновью разбахали, не пощадили бы, — сказал бригадир. — А какой она, скажите, нации была — еврейка?

— Нет, вероятно, арабка, — ответил Корнилов.

— И, поди, еще красавица! — усмехнулся старик. — Они все такие, красавицы: Клеопатра, Саломея, которая скакала, плясала, наша Катенька.

— Да, говорят, была изумительно красива, — ответил Корнилов. — И очень образованна. Говорила на четырех языках. Муж ее брал с собой в походы, и она участвовала в походах вместе с мужчинами.

— Ну, вы этого мне не говорите. Где уж им, таким, воевать по-настоящему, — презрительно усмехнулся старик, и я почувствовал, что он махнул рукой. — Это все хворс, а не война. Пока она на коне — она и хороша, а как стащишь за вихры, так она и папу и маму продаст. Вот Маруська такой герой была, что не подходи, а как до расправы дошло, так тоже начала задом вилять, но, однако же, мы не Аврелианы, мы ее тут же израсходовали.

— Так ту Маруську, кажется, в сражении убили, — несмело сказал бригадир.

— Это не нашу, — категорически ответил старик. — Я знаю, что ты думаешь: их несколько было, самую главную-то я лично израсходовал.

— То есть как вы лично? — спросил Корнилов. — То есть собственноручно?

Ответа я не услышал, — очевидно, старик кивнул головой. Я осторожно заглянул вниз.

На скамеечке сидели, курили, разговаривали; рядом с Корниловым расселся тот самый старик, которого звали Родионов.

— Так как же это дело случилось, расскажите, Семен Лукич, — попросил Корнилов, — если это не составляет секрета, конечно.

Родионов затянулся и далеко отбросил от себя папиросу. Бригадир сейчас же пошел, затер ее сапогом и вернулся.

— Секрета тут, положим, никакого нету, — сказал Родионов важно, — но только я про все это вспоминать не люблю. — Он подумал и вздохнул. — Да, не люблю. Да и делов-то не было — просто вызывает меня комиссар и говорит: на совете решили Маруську израсходовать, транспорта нет и народ отрывать нельзя, а кончать с ней надо. Иди и выполняй. Ну, пошел и выполнил. Только и дела.

— Да, дела! — покачал головой бригадир. — Эх-эх! — Он вздохнул.

— Да, дела, — с вызовом подтвердил Родионов. — В то время мы этих расстрелов за большое дело тоже не считали, потому что война. Тут раз ошибешься — и голова долой. И весь разговор, потому что разбираться было некогда, да и некому... Мы не юристы-специалисты. Тут не в этом дело, а вот в чем. Все равно она мне и после смерти свой бабий хворс выказала. Я ее сам своими глазами мертвой видел, еще оттащить подсобил, а недели через две после того, как мы уже верст за триста были от этого места, призывает меня к себе комиссар, улыбается, подает бумагу: "Прочитай-ка, тебе". Посмотрел я на подпись, так у меня ноги и дрогнули: "Твоя Маруська". Плохо вы меня расстреляли, пишет, все равно я живехонькая. И еще не одну сотню вас, голодранцы, в штаб генерала Духонина отправлю. А тебя, босяка, за то, что ты меня сам расстреливать на поле водил, я, говорит, живьем на тысячу и один кусок разрежу". Вот ведь какая гадюка!

— Да, — сказал Корнилов неопределенно, — бывает.

— Да нет, что же это такое! — чуть не со слезами вскочил бригадир. — Раз вы же ее сами мертвую видели, то как же, значит, как вы ее ни стреляли, а она... Так что это — чудо, что ли?

— Вот рассуждай, что и как, — строго ответил Родионов. — Тогда таким чудесам конца-краю не было. Сам же сказал, что Марусек целый десяток ходил.

— История, — сказал бригадир подавленно. — Вот так история.

Тут мне что-то попало в нос, я громко чихнул и спрыгнул на землю.

— О, вот и наш ученый, — радостно воскликнул бригадир, увидев меня, и пошел ко мне навстречу. — Ну, как спали-то? Я смолоду любил на сеновале ночевать.

Тут я увидел: на траве лежат две пустые бутылки, краюха хлеба и стоит глубокая тарелка с огурцами. Ночь выпала теплая, сырая, без звезд и луны. Все небо было обложено пухлыми войлочными тучами. Вот-вот, наверно, должен был хлынуть теплый крупный летний дождик. Когда я спрыгнул на землю, Корнилов тоже встал с места и пошел ко мне.

— А я вас искал, — сказал он мне тихо. — Это очень здорово, что вы приехали.

Мы пожали друг другу руки.

— Мыши-то, мыши-то не тревожили? — весело крикнул бригадир. — Там мышей тьма! Что они там жрут — не пойму, и кошку уж туда запирали, и ловушки ставили, нет! Все равно не переводятся, проклятые.

Я что-то ответил. Родионов сидел молча. А я и сам не знал — верить мне ему или нет. Бог его знает, что за человек и много ли правды в том, что он рассказал хотя бы про эту записку. Такие повести с убийствами, расстрелами, красавицами часто можно услышать от неудачников. В течение ряда лет и даже

десятилетий таскает такой тип в голове что-нибудь эдакое, лезет с ним к любому встречному-поперечному, рассказывает и пересказывает — над ним смеются, ему не верят, но после всех доделок, переделок и отсевов у него в конце концов складывается что-то действительно похожее на правду. Вот, вероятно, что-то подобное я сейчас и услышал.

Вдобавок ко всему старик Родионов оказался и партизаном. Я теперь постоянно имел с ним дело. С тех самых пор, как по инициативе директора отдел советской истории через газету обратился ко всем участникам гражданской войны с просьбой поделиться воспоминаниями, его кабинет был постоянно полон. Всех воспоминателей, которых мне довелось опрашивать, можно было разделить на несколько четких категорий: одни приходили шумно и задористо: "Ну, здравствуйте! А кто у вас тут занимается героями!" На них были красноармейские фуражки, кубанки с малиновым верхом, зеленые поддевки, а на груди бант и какая-то покарябанная медяшка. Курили они при нас только махорку и только из кисета. Они притаскивали номера газет двадцатилетней давности (желтая шершавая бумага; проведешь вгладь — занозишь руку, слепая печать, маленький формат); какие-то приказы, набранные крупными вертлявыми буквами (так в провинции печаталась афиша). Рассказывали они много и охотно, но слушать их было трудно. Это были какие-то скачки с препятствиями по замкнутому кругу. Они все время кипели и все путали. Сначала я старался еще извлечь из этого хаоса хоть что-то, несколько достоверных имен, дат, характеристик, а потом махнул на все рукой и просто-напросто стал их посылать к стенографистке. Тут они уже договаривались до полной хрипоты, а мы отправляли их записи в архив и писали: "Фонд хранения такой-то, единица хранения такая-то".

С посетителями другого рода разговаривать было значительно легче, у них как будто все было в по-

рядке — речь, одежда, воспоминания; им можно было задавать вопросы любой сложности, и они отвечали спокойно, толково и деловито. Но нас-то они интересовали меньше всего, мы их почти никогда не отсылали к стенографистке. Это были не герои, а земляки героев. Никогда они ни в чем по-настоящему не участвовали и ничего как следует не видели. А если что и видели, то давным-давно перемешали с прочитанным и услышанным от других.

Третья категория была самая трудная, но и самая для нас ценная. Эти люди не приходили сами, их нам разыскивали и приводили. Приведут к тебе такого старика, посадят его в огромное кожаное кресло, поставят перед ним стакан чаю с сухариком, и вот сидит он, тихонечко позванивает ложечкой, улыбается и говорит. Называет фамилии и места, известные тебе с детства по кино, портретам и учебникам. Все идет скучно, медленно, спокойно, вполне академично; не спеша говорит он, не спеша строчит стенографистка, ты сам что-то записываешь в блокнот, заходят и уходят сотрудники, звонит телефон. Но вот в ответ на какой-то вопрос он нагибается ("Постойте-ка") и вытаскивает из маленького ученического портфельчика что-то хрупкое, завернутое в бумагу и все время норовящее свернуться в трубочку. Он придавливает это "что-то" двумя большими ногтями к столу, и ты видишь снимок тех лет, очень плохой снимок — желтый, слепой, в разноцветных пятнах. Много вооруженных людей в шинелях и кожанках с бантами. Все они сгрудились где-то у забора, на крошечном пространстве. Каждый лезет в объектив. Кто сел повыше, кто встал повиднее, кто выгнулся пофасонистее. И вдруг через мутноватую светло-желтую дымку эмульсии среди папах, шлемов и фуражек выплывает знакомое и странно молодое лицо тех лет: брови сдвинуты, лоб нахмурен, одна рука на шашке, другая уперлась в бок, нога слегка отставлена вперед. Переводишь глаза на своего собеседника: "Неужели же?" А он

улыбается. "Что, можно еще узнать?" Да, узнать-то можно — это ты, конечно! И вот ты сидишь передо мной в неуклюжем музейном кресле, тычешь толстым ногтем в снимок и стараешься что-то рассказать и объяснить. Но что ты можешь, старый и смирный, рассказать мне сейчас про того молодого и беспощадного, что, прищурясь, смотрит на нас обоих? Еще несколько вопросов, еще два-три ответа — и посетитель уходит — высокий сухой человек, бухгалтер или вагоновожатый, с маленьким ученическим портфельчиком под мышкой. А у меня прибавляется еще несколько проверенных дат, еще один или два маршрута на карте и странная оскомина на сердце. Я кого-то очень-очень жалею, но кого же? Его, себя? Вообще людской род, подверженный старости, утомлению и болезням?

Были люди и четвертой категории. С одним из таких — старым казахом — мне пришлось проговорить несколько часов...

Странная слава была у этого человека — громкая и глуховатая в одно и то же время. И даже, вернее, не глуховатая, а приглушенная. В ту пору, о которой я веду рассказ, он ведал областью, тесно соприкасающейся с нашим музеем. Поэтому мы и встретились. Подвиг, который он совершил двадцать лет тому назад, вернее, который он заставил совершить своих людей, был прост и так же прост и легендарен, как переход Суворова через Чертов мост. Только идти приходилось не через горные ледники, а через раскаленные пустыни и степи. Как-то для большого наступления надо было доставить оружие за много сотен верст. Тогда вызвали этого человека и сказали ему: вот винтовки, вот пулеметы, вот патроны — умри, но доставь! И он собрал своих людей и двинул их через степь. Шли два месяца. Оружие везли на верблюдах, сами шли около. Сколько погибло провожающих — неизвестно. Но оружие все-таки доставили в срок. Повторяю, подвиг этот (а он, кажется, далеко-далеко превосходит человеческие

возможности) был совершен благодаря воле и упорству именно этого человека. Очень странного человека, по правде сказать. До этого он — казах — учился в русской семинарии в Казани, кончил ее и мог стать батюшкой, но не стал, а вдруг почему-то пешком пошел вокруг света. Не так давно мне показали один интересный экспонат — его записную книжку тех лет. На красном сафьяновом переплете золотом вытеснен его псевдоним и надпись: ”Кругосветное путешествие пешком”, а все страницы заляпаны печатями — простыми, сургучными, радужными наклейками, гербовыми марками, ярлычками гостиниц, подписями губернаторов и консулов. Был он и в Африке, и в Индии, и в Китае, и в Европе. Где проходил бродячим фотографом, где заклинал змей, где просто копал землю. Память у него была отличная, все свои профессии он помнил и про все мне рассказывал. Рассказывал про степь, какая жара стояла тогда (земля была сухой и звонкой, как глиняный горшок, и гудела телеграфным столбом, а белая тонкая трава, когда к ней подносили спичку, вспыхивала и догорала до самой земли).

Я смотрел на него и думал: что же делает этот неуемный человек в том тишайшем учреждении по охране заповедников, в которое его засунули? Мазары глиняные штукатурит? Утверждает отчеты лесничих? Увольняет и принимает на работу пасечников из бежавших кулаков и сектантов? Подписывает лицензии на отстрел джейранов? Какие пасеки его интересуют, какие джейраны ему важны? А к концу разговора я понял: все интересует, все важно — и пасеки, и джейраны. Он кончил рассказывать о верблюжьем переходе, точно ответил на все вопросы, кое о чем обещал навести еще справки, потом кивком головы отпустил стенографистку, вынул из кармана толстую записную книжку в кожаном переплете (”Участнику... съезда”) и сказал совершенно иным тоном:

— Теперь вот о чем — о сайгаках...

И стал нас ругать. Очень плохо сайгаки отражены у нас в музее, нет ни одного стенда, посвященного им. Это не годится. Ведь сайгак — реликт ледникового периода. Он современник мамонта. По существу эту породу лет десять назад можно было считать уже вымершей. Но тут вовремя спохватились. Организовали заповедник. И за пятнадцать лет его существования... Да, вот некоторые цифры для экспозиции. И снимок надо! Главное, надо, чтоб был хороший, четкий снимок — вполстены, а то и больше, и надпись: "Стада сайгаков в заповеднике Барсакельмесс".

Другим человеком этой же категории был мой директор, но о нем я уже писал. Ему было у нас и душно, и скучно, и нудно. Но он работал. Работал, как черт, — рьяно, сжав кулаки, закусив губу, шалея от бешенства и нелепости своего положения. Работал неуклюже, тяжело, по-воловьи, вытаскивал наперекор всему и всем наше тихое политпросветское учреждение из того болота, куда его затащили предшественники — знающие и любящие свое дело специалисты, археологи, искусствоведы, ученые-доктора. С такими партизанами мне приходилось встречаться. Этот же старик был какой-то совершенно новой разновидности, таких партизан я никогда не видел. А впрочем, какое мне дело? Пусть мелет сколько ему угодно. Я ж его стенографировать не собираюсь.

— Слушайте, — сказал я, — тут вы о царице Зиновии говорили, это к чему?

— Да это все о монете, — объяснил Корнилов, — пришел ответ из Эрмитажа, надпись-то на ней самая простая. Никакого там Санабара. конечно, нет, просто это одна из монет Аврелиана.

— Из незначащихся в каталогах, — быстро и горячо сказал Родионов.

— Да, не значится, я смотрел, — подтвердил Корнилов. — Ее даже в каталоге монет Британского музея нет. Так что очень может быть — это уникум.

— И никогда римские монеты не заходили так далеко на Восток, — так же горячо сказал Родионов.

— Да-да, — подтвердил Корнилов. — После этой находки Алма-Ата становится самым восточным ареалом распространения римских монет в Средней Азии. Я уже заказал снимок, чтоб послать его в Эрмитаж.

— Значит, все-таки находка Семена Лукича имеет научное значение? — спросил я.

— Безусловно, — сказал Корнилов. — Конечно, ни о каком римском городе говорить не приходится, но холмы копать надо. Надпись читается просто. Это динарий императора Аврелиана. Может быть, даже есть смысл произвести небольшую разведывательную раскопку. Директор говорит, что деньги на это есть.

— Деньги-то есть, — сказал я, — да ведь знаете, какая это волокита: надо просить разрешения, выправлять открытый лист, а это очень долгое дело.

— Мы это скоро сделаем, — сказал Родионов решительно. — Я за пару часов этот лист вам доставлю. У меня начальник по этим делам — друг хороший, мы с ним вместе служили, он для меня, если попрошу, все сделает. Я про него сейчас рассказывал — это он мне Маруську приказывал расходовать.

— Ну, ну, так вам поручили ее, и... — сказал Корнилов.

— А тут мне ее поручили, — твердо ответил старик. — "На Митьку, — говорит комиссар мне, — я не надеюсь, потому что Митька еще сопляк, а она чаровница, цыганка. У нее гипноза много, еще отведет Митьке голову, а ты, говорит, человек крепкий, достойный, потомственных рабочих кровей, в партии социалистов-революционеров состоял, ты можешь". Ну правильно, я могу! Что ж тут говорить — могу! "А где же, — я спрашиваю, — расходовать-то?" — "А в поле, по дороге, я уже послал мужиков яму рыть, как увидишь их, около ямы и кончай, забирай сейчас же, садись на лошадь и веди".

Ну, понимаешь, я с непривычки немного даже обалдел, то хоть загодя предупреждают, а то сразу — забирай да иди стреляй. "Так, — спрашиваю, — и вести одному?" "Да так, — отвечает, — и веди один. Бери коня, наган и подъезжай к сараю, ее к тебе сейчас же и выведут". Ну что ж тут долго разговаривать? Надо понимать: 19-й год, Украина, степь! Сегодня мы здесь, а завтра подогнал к нам батальон с пулеметами, и побежали мы верст за двадцать; сегодня мы их шлепаем, а завтра они нас на столб тащат. Одно слово — революция, а революционных мер в ту пору только две было — либо вызовет тебя командир, утюжит, утюжит, наганом по столу стучит, а потом и крикнет: или "Чтоб я твоей рожи не видел!", либо скажет: "К стенке!" — и пойдет вон из комнаты. Ну и конец тебе тут же, никаких ведь кассаций и апелляций нет, — степь! — Он остановился и поглядел на бригадира. — Вот ты мне сейчас с пьяных глаз про брата толковал, как его ни за что ни про что взяли, а я вот скажу тебе...

— Рассказывайте, рассказывайте, — схватил старика за руку Корнилов.

— Ну, что ж там рассказывать, я все уж рассказал. Вышел я в коридор, а там Митька стоит, губы распустил, скосоротился весь. Обидно ему, что его не вызвали. "Куда он тебя спосылает?" — спрашивает. "А пойди, — говорю, — спроси". И пошел. Тут он меня догнал, вынул флягу, говорит: "На, хвати для крепости рук". И я, дурак, хватил, и много что-то — грамм триста, наверное. А знаешь, какая самогонка была? Горела! Видишь, какой дурак, иду на такое дело, а сам... Ну, ладно! Пошел я в конюшню, вывел коня, оседлал, подскакал к сараю, в руках наган. Смотрю, ее мне выводят. Красивая баба была, высокая, ладная, себя блюла, а глаза зеленые, змеиные. И правда, разве ее Митьке-сопляку поручать? Но, однако, мне на эту прелесть ее, так сказать, целиком и полностью наплевать. Я в те годы революцию понимал строго, по-каменному, ничего себе лишнего не

позволял, водки пил мало, баб не придерживался, такая стойкость у меня, так сказать, в крови заложена. Ну, вывели ее до сарая, стоит она, циркает через золотой зуб, смотрит на меня, улыбается, эдак плечиками передергивает, знаешь, как бабы, — одно плечо выше другого. "Куда ж ты, — спрашивает меня, — красный орел, поведешь?" Отвечаю ей строго, по-революционному: "Куда следует, гражданочка такая-то... — Вот забыл ее фамилию — Черненко ли, Бочкарева, или что-то похожее... — куда следует, туда вы и пойдете. Шагом марш, ни с кем не разговаривать, по дороге не останавливаться. А побежите — сами понимаете!" Усмехается, змея: "Я-то, — говорит, — командир, не побегу, я свое, видно, уже отбегала, а вот ты-то, — говорит, — будешь бегать, только навряд убежишь, не такие дела твои, чтоб трудовой народ дал тебе убежать". Нет, ты чувствуешь, какая гадюка! — сказал он вдруг с каким-то злым восхищением. — Чувствуешь? Ее, так сказать, на шлепку ведут, она другим этим грозится. И опять-таки, видишь, ни от кого такого, а прямо от имени трудового народа! Как будто она народ, а я, так сказать, буржуй, куркуль, помещик.

— Сколько у народа защитников оказывается, — усмехнулся бригадир и покачал головой. — И Колчак, и Деникин, и Маруська вот эта, и ты с наганом! И все защитники.

Коротко скрипнула скамейка, это рассказчик сделал резкое движение.

— Не так говоришь, — строго сказал он. — Пустые, глупые слова ты говоришь! Народ всегда знал своих защитников, это мы, так сказать, прослойка, мелкая буржуазия да мещанство, колебались, а он, батюшка наш, всегда знал, кто у него враг, кто друг.

— Да рассказывайте, рассказывайте, — закричал Корнилов.

— Что у тебя брата взяли, — сказал старик грозно, — это я понимаю, горе, но, однако, так сказать,

голову и смысл терять из-за этого тоже незачем. И эти разговоры веди вот с тем, кто у тебя на сеновале пьяный валяется, он все поддержит, а мне ты...

— Да рассказывайте же, рассказывайте, — попросил Корнилов.

— А-а! И рассказывать даже охота пропала. — Старик с минуту сидел молча. — И как это у нас получается, — вдруг сказал он с горечью, — как что человека коснется, так сразу от него все принципы, идейность его прекрасная, как пар, отлетают, мещанин мещанином остается. Вот вроде той распрекрасной Зиновии.

— Да что я сказал такого, — пробормотал бригадир, — я только...

— Не хитри, я не глупенький, понимаю, что ты сказал, и ты тоже понимаешь, — торжественно и строго произнес старик. — Нехорошо ты сказал, а подумал еще хуже! Не надо так, мы старые люди, должны разбираться. Ну, ладно. Так я, конечно, на эту пулю, что она мне отлила, ничего не ответил, а только крикнул ей: ''Разговорчики прекратить, шагом марш!'' и наганом потряс. Пошли. Вышли за ворота, я на коне, она впереди. А еще раным-рано, часа четыре утра, все окна на ставнях, только кое-где бабы с ведрами дорогу перебегают, нас увидят — сразу около заборов приседают. Прошли мы два квартала так, она меня и спрашивает: ''Куда же ты меня, красный орел, смерть врагам, ведешь?'' Я на ее шуточки ноль внимания. ''К начальнику, — говорю, — вас доставлю. Новый комиссар из дивизии приехал, разговаривать будете''. Усмехнулась она, покачала головой. ''Что ж, он в четыре утра уже на ногах? Не больно у вас много таких! Нет, похоже, ты меня в штаб генерала Духонина отводишь''. Вот видишь, все ведь понимает, гадюка. Ну, конечно, я ее шуточки, так сказать, опять мимо ушей полностью пропускаю и спокойно говорю: ''Фамилию свою, конечно, мне тот начальник не докладывал, может, он и Духонин, а только есть приказ отвести вас к нему срочным

6—166

порядком, вот я и выполняю". "Ну давай, давай, — говорит, — выполняй". Вот прошли мы весь городишко, вышли в поле, как увидела она, что дома кончились, вдруг остановилась, повернулась ко мне и говорит со всей, так сказать, решительностью: "А ведь это ты меня, мужик, на шлепку ведешь". "Ладно, — говорю, — иди, не рассуждай, там поговоришь". Стоит — не двигается, покраснела, не знаю уж, от страха или от злости, глазищи свои зеленые, змеючие раскрючила. "Да ведь жалко, — говорит, — мужик, умирать в такие годы-то". Отвечаю ей: "Годы тут, положим, ни при чем, умирать всем придется, а ты знала, на что шла. И ты знала, и я знаю, так что уж тут рассуждать". "Это, — говорит, — конечно". Призадумалась немного, потом вдруг циркнула через зуб, взглянула на меня, тряхнула головой: "Пошли". Пошли. Я сижу на коне, в одной руке наган, в другой поводья, сижу и смотрю. А у меня уже голова начинает гудеть. Да где же это, думаю, они яму копают, куда же он, черт, комиссар, меня погнал? Вдруг она усмехнулась, поворотилась опять и говорит эдак, с ленцой: "Эх, жизнь-жестянка. Хоть бы ты меня поласкал бы, что ли. Я ведь уже два года этими глупостями не занималась. Туда приду, все архангелы животики надорвут!" "Ладно, иди, — говорю, — гадючка, не строй дурочку. Здесь шалавых нет, не на кровати с любовником разговариваешь". "Не с любовником?" — да как поведет плечами, и плечо у нее одно сразу голое и грудь тоже голая. А такая грудь, что наколоться можно. "Что, — говорит, — хороша Маша? Смотри, смотри-ка дальше" — и еще раз как-то мотнула всем телом, и веревки на землю падают. Вот как это может быть, скажи? Вот вы, товарищ Корнилов, ученый человек, как это может быть?

Корнилов ничего не ответил, очевидно, просто пожал плечами.

— Гипноз, — сказал бригадир. — Я в цирке в Москве видел. Там факир Торама тоже развязывался.

— Вот это ты верно сказал, гипноз, — продолжал старик, — обхватила шею коня и лезет ко мне руками, за наган хватается. Закричал я тут, так сказать, отчаянным голосом. ”Назад, — кричу, — матери твоей черт”. Размахнулся наганом, врубил ей, и у меня уже ни голоса, ни сил нет. И вдруг смотрю — те стоят. Из ямы выскочили и стоят, смотрят, в руках лопаты. Как гаркнул я тут: ”А ну-ка прибавить шагу!” Да как налетел на нее конем, она перевернулась и увидела их. ”А-а! — говорит и головой кивает. — А-а!” Уж не знаю, что она хотела сказать. Так я, пока она на них смотрела, пригнулся и бац ей в затылок, бац! И сразу череп надвое, и звук такой, как будто полная бутылка опрокинулась, — чпок! Повернулась, взмахнула рукой, сделала два шага ко мне, ноги подломились, упала боком. Я с коня соскочил, подлетел с наганом, с размаху раз, раз ей в глаз, а потом стою над ней, смотрю и ничего не могу сообразить, ни поднять ее, ни до ямы поволочь, ни на коня влезть, ни оружия спрятать — ничего!

Те двое подбежали, подхватили ее на руки и потащили, а у ней голова вихляется, зубы блестят, ноги дрожат по-комариному и кровища, кровища хлещет. Вскочил я на коня, врезал ему прямо по глазам да целый день по степи и проблукал. Где был, у кого был — ничего не помню. Помню, верно, в одном месте я зачем-то слезал, стога щупал, сухие ли, потом на мокрой глине у реки лежал, воду пил и лицо обмывал. Рот у меня, как от крови, пошел печенками.

Вернулся весь грязный, оборванный, где лазил, кто мне глаза починил — ничего не знаю. Правда, помню, я в тот день еще добавил здорово. Митька-подлец мне поднес, да я еще к одной солдатке-шинкарке завалился, у нее всегда самогонка была. Так вот она потом рассказывала, что я у ней прямо с коня попросил особой с махоркой, чтоб сразу из головы память вышибить. Увидел меня командир, такого красавца, головой покачал, только сказал: ”Иди

спи!" Потом уж, на другой день, призвал и стал меня отчитывать: "Как же так это ты по степи целые сутки носился, там ведь банды ходят. Знаешь, как они тебя могли прекрасно подкараулить..." Это точно, очень могли. Потом я неделю в себя прийти не мог: хожу, делаю свои дела, а все как сам не свой. Думал, что сниться будет. Нет, не снилась. Дрянь всякая снилась, кровь, мертвецы, лягушек будто ем, а она не снилась. А недели через две, когда мы уж верст за триста были от этого места, призывает меня к себе комиссар, улыбается, подает бумагу: "Прочитай-ка, тебе". Посмотрел я на подпись, так у меня ноги и дрогнули: "Твоя Маруська". "Плохо вы меня расстреляли, — пишет, — все равно живехонькая. И еще не одну сотню вас, голодранцев, в штаб генерала Духонина отправлю. А тебя, босяканта, за то, что ты меня сам расстреливать на поле водил, я, — говорит, — живьем на тысячу и один кусок разрежу. Есть у меня в отряде такой китаец Ваня, он в Китайской империи по этому делу работал, так вот я его специально для тебя держу и водкой пою на махорке", — даже это, оказывается, знает. Вот ведь какая гадюка.

— Да, — сказал Корнилов неопределенно, — бывает.

— Да нет, что же это такое! — чуть не со слезами воскликнул бригадир и вскочил. — Ведь вы же ее сами мертвую видели. Значит, как вы ни стреляли, а она... Да нет, говорите, череп же пополам — чудо, что ли?

— Вот рассуждай, что и как, — строго ответил старик. — Тогда таким чудесам конца-краю не было. Сам же сказал, что Марусек целый десяток ходил.

— История, — сказал бригадир подавленно. — Вот так история!

Посидели, помолчали, покурили.

— "Мы все убиваем любимых" — так сказал один поэт, — продекламировал Корнилов. — Поселилась она у вас в душе с тех пор, Семен Лукич.

— Ну стихов-то я, положим, не пишу, — вдруг обидился старик. — И эти ваши слова тут совершенно ни к чему, а я к тому это рассказывал, что вот что значит, что такое революция. Вот ты нам, Иван Семенович, про своего брата распелся, и товарищ Корнилов тебя поддержал, что он, мол, не виноват, а злодеи его погубили.

— Я такого не говорил, — перебил бригадир.

На другой день Корнилов повел меня на место своих будущих работ. Везде были яблони, яблони, яблони, и, взглянув на них, я сразу понял, что много мы здесь не накопаем. То есть, конечно, совершенно не исключено, что средневековый город Алма-Ата находился именно здесь. Ведь эти холмы как раз то, что было нужно древнему обитателю Семиречья. Они высоки, отлоги, расположены над самой речкой, сверху донизу покрыты деревьями и чудесной травой. С этих высот и врага издали заметить, и осаду отразить очень удобно. Все это так. Но, во-первых, на априорных суждениях в археологии далеко не уедешь: кто знает, какой логике подчинялись древние усуни; во-вторых, в исторической литературе о месте древней Алма-Аты встречается только одно совершенно точное упоминание. Оно находится в труде академика Бартольда "История Семиречья". В 1508 году при Алма-Ате (около Верного), пишет он, Мансур сразился с братьями и разбил их. Вот и все. Значит, в XVI веке действительно был такой большой город Алма-Ата, около которого могли происходить решающие сражения и гибнуть армии. Но от него не осталось ни развалин, ни воспоминаний, ни легенд. Где он находился — неизвестно. Ведь и Бартольд написал тоже очень уклончиво — "около Верного". А это значит: ищи-свищи, лазь по прилавкам, копайся в долинах. Есть, конечно, и другие, куда более обильные сведения. Но достоверно только одно, ибо в других речь идет об Алмалыке, а не Алма-Ате. Правда, советский тюрколог Бернштам думает, что это одно и то же. "Алма-Ата в XVI веке

носит порой название Алмалык, — пишет он. — Последнее зафиксировано еще у Джувейни — персидского ученого XIII века. Так называется это поселение в дневниках Тимура. Но точное название города Алма-Ата".

Так ли это? О, если Алма-Ата и Алмалык — одно и то же, то об алма-атинском средневековье можно писать исторические романы. Вот слушайте хотя бы это: "Дженкши жил преимущественно в Алмалыке, францисканец Николай был хорошо принят при его дворе. Вельможи Карасмон и Юханан (очевидно, нестерианцы) пожертвовали в пользу назначенного папой епископа большое имение около Алмалыка, где была выстроена прекрасная церковь. Вскоре после этого сюда прибыли епископ Ричард из Бургундии, монах Франциск и Раймунд Руфа из Александрии, священник Пасхалис из Испании, братья-миряне Петр из Прованса и Лаврентий из Александрии. Им удалось вылечить хана, за что получили разрешение крестить его семилетнего сына, названного Иоанном" (Бартольд).

Епископы, братья-миряне, монахи-францисканцы, патер Пасхалис, нестерианцы, монгольский царевич Иоанн, Испания, Прованс, Бургундия, Александрия, латинский собор у подножия Алатау, сутаны черные и лиловые, тонзуры, копья и распятия, красками переливаются эти строчки Бартольда! И как обидно, как страшно обидно, что Алмалык — это столица орды Джагатая и расположен он где-то очень далеко отсюда, на южном берегу Или, и что про древнюю Алма-Ату ничего больше не известно[1].

---

[1] Есть и третье предположение, высказанное совсем недавно: "Речь идет о двух городах, названия которых происходят от изобилия яблок... Один из них располагался на правой стороне реки Или — другой находился на левой стороне реки Или на месте современной Алма-Аты... Монголы оба города называли одинаково "Алмалык"..." (Г. Мартынов. Двухэтажный город. — "Простор", № 7, 1962).

Но самое главное вот что: ну, положим, мы установили, что древний город Алма-Ата был тут. Так кто же нам позволит губить сад? Ведь здесь и копаться негде, везде яблони — апорт, лимонка, боровинка. Спустишься ниже — вишня, урюк, абрикосы.

— Пойдемте лучше посмотрим склоны, — сказал я, обдумав все. — На них-то ничего не растет. Кстати и меня проводите до шоссе.

Но Корнилов стоял на поляне над каким-то холмиком и рассматривал план (синяя лента на нем была Алма-Атинкой, бурая — дорогой, а кучевые облака — кустами и яблонями).

— "Копать здесь", — прочел он громко и пнул холмик ногой. — Родионов говорит, что здесь лет пять тому назад копали глину и выкопали бронзовый котел. Он долго валялся на траве, пока его кто-то не забрал.

— Здорово, — сказал я. — У Родионова вечно клады. А сам-то он где?

Корнилов махнул рукой по направлению дороги.

— В своем кооперативе. Ушел чуть свет. Он ведь там счетовод.

— Ну и был бы счетоводом. А то вот директору голову дурит, меня от работы отрывает. Он кладоискатель, понимаете, он — искатель кладов. От таких никогда толку не бывает, ничего мы тут не найдем.

— Ладно, — решил вдруг Корнилов. — Попробую все-таки! Попытка не пытка! Потапов обещал дать сегодня рабочих. "Пусть ради науки поломают спину". Надо зайти за ними в правление. Пойдемте?

— Нет, — сказал я решительно, — орудуйте уж один, мне надо в город. Я и так приехал без разрешения. Будет мне от директора, он таких штучек терпеть не может...

Глава вторая

Весь следующий день я проработал в архиве музея — просматривал инвентарные книги поступлений за прошлые года; мне хотелось выявить все случайные находки, поступившие из района колхоза "Горный гигант", но учет велся из рук вон плохо, и ничего установить я не смог. Записи в книге были такие: "Бронзовый котел на козьих ножках — около дачи есаула Селиверстова", "Бронзовый предмет неизвестного назначения серповидной формы (ритуальный нож?) на 25-й версте, под столбом". Где сейчас этот столб, откуда считать эти версты? Где находилась дача есаула Селиверстова? Ничего не выяснишь и не поймешь по записям.

Я просидел дотемна, но так ничего путного и не сделал, хотя выписок у меня накопилось изрядно. Пошел к себе и лег спать, а в три часа меня разбудили и предложили пройти в соседнюю комнату.

— Зачем? — спросил я.

— Будете понятым, — ответили мне.

Я пошел, и первое,что увидел, войдя в комнату, была наша бывшая машинистка. Она уволилась в прошлом году, и с тех пор я ее не видел. Звали мы ее "мадам Смерть", такая была сухая, прямая и желтая. Сейчас она сидела на стуле, высоко подняв голову, и смотрела в какую-то точку на обоях. Увидела меня и чуть повела головой — это значит поздоровалась.

Меня усадили рядом с ней и повторили, что я понятой. Я сел и начал смотреть.

Арестовали нашего завхоза. Это был казах средних лет — скуластый, крепкий, лысый, кривоногий (кавалерист). Директор считал его пройдой, ловкачом, подозревал, что он крадет у Клары экспонаты и пьет наш спирт, — наверно, так оно и было. Но арестовывал его НКВД. Когда мы вошли, обыск уже кончился. Орудовали двое — штатский и военный. Штатский сидел и писал, военный рылся в сундуке и

вытаскивал какие-то тряпки и коробки. Арестованный сидел в углу, и лица его я не видел, только слышал, как иногда поскрипывал его стул. Один раз он еще спросил:

— Слушайте, в чем же дело?

И штатский ответил:

— Да вы сами, наверно, знаете.

Тот, кто меня привел, тоже военный, куда-то ушел и возвратился со второй женщиной. Было темновато, и я не сразу узнал Зою Михайловну. Увидев меня, массовичка дернулась назад и хотела что-то сказать, но штатский приказал: "Садитесь". Она села, и тут стул под завхозом прямо-таки взвизгнул по-собачьи.

— Зоя Михайловна, — крикнул он, — но вы же знаете, я вам ведь все...

Штатский поднял голову и спокойно сказал:

— А ну замолчать!

И опять застрочил. Кончил писать, вынул портсигар, закурил, откинулся было на спинку кресла, но сейчас же встряхнулся и спросил военного:

— Ну, что там у тебя?

Тот сгреб с пола тряпки, обеими руками запихал их кое-как в сундук и встал. Штатский кивнул ему на стену, военный подошел и стал снимать фотографии. Штатский докурил папиросу и взялся за стопку книг. На столе лежал роман "Страшный Тегеран", фотосправочник и попавшие неизвестно откуда и как к завхозу "Вопросы ленинизма" — пухлый, растрепанный том в красном переплете. Фотосправочник штатский пустил веером, а зато в "Вопросы" он так и впился. Книга была старая, читаная-перечитанная, с массой подчеркиваний, восклицательных и вопросительных знаков на полях, с какими-то отметками. Очевидно, кто-то, готовясь к зачету или к докладу, много дней штудировал это издание. Мне показалось, что у штатского даже пальцы дрогнули и глаза загорелись охотничьим огнем, когда он увидел, что такое ему попалось.

— А ну-ка, — сказал он мне тихо и взолнованно, протягивая руку, — пишите на обложке: "Изъято при обыске". Дата и ваша подпись.

Я взял ручку и понял, что кто бы эту книжку ни читал, что бы он здесь ни отчеркивал или ни подчеркивал, а отвечать за все и на все придется только завхозу. "А что вы хотели сказать, — спросят его, — подчеркивая вот именно это место? А почему именно здесь у вас восклицательный знак? Объясните следствию".

И попробуй-ка объясни! Понял это и завхоз. Когда я взял ручку, он заскрипел и закричал:

— Да это не моя, не моя. Это я на чердаке нашел. Здесь раньше студенты жили. Вот и Зоя Михайловна...

— Отстаньте, — сухо отрезала Зоя Михайловна и отвернулась.

Я расписался и положил книгу на стол. Вдруг все сразу задвигались и обернулись к двери: вошел седой румяный военный в плаще. Я сразу же понял, что вот это и есть главный обыскивающий. Понял это и завхоз. Он вскочил и закричал:

— Товарищ начальник, за что же?

Но ему надавили на плечи, и он послушно сел. А начальник не спеша прошелся по комнате, подошел к столу, заглянул через плечо штатского в акт, о чем-то спросил его вполголоса, кивнул головой и подошел ко мне.

— Ну как, товарищ ученый, — спросил он весело. — Что у вас в музее новенького? — Он засмеялся. — Ну, как же ничего? А змей-то? Весь город теперь к ним валит, — повернулся он к Зое Михайловне. — Моя дочка вчера целый день покою не давала: пойдем в музей да пойдем в музей, ты скажешь, тебе его покажут. Да никакого там змея нет, говорю. Плачет, не верит.

— Я тоже музейный работник, — обворожительно улыбнулась ему Зоя Михайловна.

— А-а! — быстро взглянул на нее начальник, вдруг повернулся к обыскивающим и спросил: — Ну, как у вас, все?

Штатский ему что-то ответил и что-то спросил.

— Обязательно! — сказал начальник. — И вот товарища с собой пригласите, он в этом доме живет, он вам покажет.

Военный положил последнюю фотографию на край стола и сказал мне:

— Пошли на чердак.

Мы вышли из комнаты, прошли по длинному коридору и остановились около стены. Отсюда поднималась узкая деревянная лестница на чердак. В коридоре было темно и сыро, по крыше звенел дождик. Военный засветил фонарик — и стали видны узкие грязные ступеньки и поломанные зеленые перила.

— Я пойду первый, — сказал он мне и бойко вбежал на первые ступеньки.

Но вдруг зашипел и куда-то ухнул. Что-то треснуло.

— Ччерт, — выругался он.

Я вбежал на ступеньки, подал ему руку и помог подняться: оказалось, что он провалился по колено между ступеньками. Когда я подымал его, он посмотрел на коленку, потряс рукой — гвоздем порвало мякоть — и вдруг к превеликому моему удивлению пустил меня матом.

— Что же вы, мать вашу... — спросил он свирепо,— не предупреждаете?

Я пожал плечами.

— А откуда я знал?

— Откуда ты знал, — передразнил он и облизал большой палец. — Все притворяетесь?

Я молча сунул ему фонарик. Он взял его, захромал вверх, я за ним. Влезли на чердак.

— Ну, — сказал он, останавливаясь на пороге, — где тут что? Показывайте.

В лиловом пятне света навстречу нам выплывали какие-то рогатые тени, показался, как будто вынырнул из глубины океана, огромный черный сундук с металлическими затворами и зелеными пятнами плесени. Навстречу качнулось разбитое трюмо, и я уви-

дел в его туманном свете наши отражения и тьму сзади.

— Ну, где тут его вещи? — спросил он меня.

Я ответил, что не знаю.

— Тут живете и не знаете? — выругался он и взмахнул рукой.

Необычайное спокойствие овладело мной, я как-то свысока даже поглядел на него и сказал:

— Осторожно, дурак, опять провалишься.

Он дико посмотрел на меня, открыл было рот, но вдруг, хромая, резко отошел от меня и подошел к комоду. С великим трудом вырвал верхний ящик, набитый тряпками, и чуть не рухнул вместе с ним.

— Его это? — спросил он, морщась.

Я ответил, что нет.

Он слегка покопался в тряпках, рванул было второй ящик, но тот не поддался. Тогда он вдруг попросил:

— Слушайте, а ну-ка тот чемодан?

И так как в его голосе уже не было угрозы, а кроме того, он хромал и кровоточил, я подошел к рогатой пирамиде из сломанных стульев, вырвал из-под низу чемодан и подал ему. Все, конечно, рухнуло, и поднялась такая пыль, что мы оба сразу же задохнулись.

— Мать вашу... — сказал я.

— Да не тащите сюда, откройте там, — крикнул он мне, кашляя.

Я рванул замок чемодана, он не поддавался, я рванул еще, потом стал коленкой (пропадай мои брюки!), начал выворачивать запор, но тут он мне сказал:

— Да ладно, бросьте к черту.

Потом постоял еще немного, поиграл фонариком по углам и уныло сказал:

— Идем.

Когда мы вернулись, штатский на полу увязывал книги. Кипу фотографий без рамок и с десяток писем он вложил в какую-то плоскую жестянку с паль-

мой и верблюдом. Зоя Михайловна стояла около начальника и о чем-то ему тихо рассказывала.

— Ну что? — спросил седой.

Мой спутник только махнул рукой. Штатский подал мне протокол и ручку и сказал:

— Вот, пожалуйста, здесь.

Я расписался. Штатский засунул протокол обыска в планшет, кивнул красноармейцам на связки книг и приказал завхозу:

— Пошли.

Я посмотрел на завхоза. Лицо у него было зеленовато-бледное, худое, глаза провалились. И зелень и худоба эти были заметны даже при дрянной электрической лампочке. Это был не особенно хороший человек — хвастун, дешевка, пижон, и я, как и все, не любил его. Но, пришло мне в голову, вот он сейчас шагнет за порог, и этим шагом окончится его жизнь.

Мне было не жаль его, и если бы он заплакал, я бы, вероятно, почувствовал только отвращение. Но эта покорная обреченность, молчание это — они были попросту ужасны. И вдруг завхоз поднял голову, посмотрел на меня и слегка улыбнулся одной щекой.

— Ну что ж, ничего не поделаешь, — решил он печально и твердо. — Не ругайте меня, хранитель с директором.

— Ну, пошли, пошли, — негромко и благодушно сказал седой и похлопал его по спине.

Они ушли. Осталось четверо — я, Зоя Михайловна, седой военный и мадам Смерть.

— Так, — сказал военный и прошелся по комнате. — Так! Я вас очень попрошу — вас и вас, — он строго ткнул в меня пальцем, — никому ничего не рассказывать, понятно? А лучше вообще не говорите, что были здесь, понятно?

— Понятно, — ответил я.

— Ну, конечно, конечно же, — воскликнула Зоя Михайловна и, перепутав нас, одарила меня нежно-восторженным, чутким взглядом.

Мадам Смерть молчала, за все время обыска она не произнесла ни слова.

— Все, что относится к нашей работе, является государственной тайной, — продолжал военный. — И разглашение ее карается очень строго. Понятно?

— Так точно, — ответил я. — Все понятно.

Он недоверчиво покосился на меня, открыл портфель, вынул палочку сургуча, веревку, печать, спички и сказал:

— Идемте.

Я пришел к себе и бухнулся в кресло. Подумал, что надо бы хоть согреть чаю, но вдруг как-то разом перестал чувствовать, думать, существовать. Разбудил меня только телефонный звонок.

Я посмотрел — солнце уже затопило всю комнату, по вишням в саду веял теплый ветерок, было полное утро.

Я встал и снял трубку. Говорил директор.

— Приходи сейчас же, — сказал он мне.

— Знаю, — ответил я.

— Откуда? — удивился он.

— Присутствовал.

Последовала небольшая пауза, а потом он приказал:

— Ну, иди.

Когда я вошел в кабинет, директор сидел за письменным столом и о чем-то тихо разговаривал с Кларой. Увидев меня, они оба замолчали.

— Так как же это вышло? — спросил директор хмуро.

Я стал рассказывать и когда дошел до того, что поругался с военным, директор усмехнулся и покачал головой.

— Все партизанишь? — сказал он горько. — Ну-ну!

А Клара пропела:

— И надо было вам связываться.

— Ну а в чем дело, не знаешь? — спросил директор. — За что его?

Я пожал плечами и улыбнулся.

Он поймал мой взгляд и снова нахмурился.

— Как это для тебя просто, — сказал он, вздыхая, — ну, до чего же все просто!

— Да не знает он, ничего не знает, — быстро сказала Клара и взглянула на меня: "Молчи".

Директор тоже посмотрел на меня и нахмурился, потом отвернулся, снял трубку и начал куда-то звонить.

— Пошли, — шепнула мне Клара. Мы вышли. На лестнице она вдруг остановилась и взглянула на меня. Это был открытый, ясный, вопросительный взгляд.

— Ну что, Клара? — спросил я. — Что, дорогая?

— Ничего, — ответила она громко и вдруг тихо спросила: — Мало вам было, мало? Для чего вы их дразните, зачем это вам?

— Я их... — начал я, да так и не окончил.

Ведь и в самом деле получается, что дразню. Я-то стараюсь пройти тихо-тихо, незаметно-незаметно, никого не толкнуть, не задеть, не рассердить, а выходит, что задеваю всех — и Аюпову, и массовичку, и того военного. И все они на меня кричат, хотят что-то мне доказать, что-то показать. А что мне доказывать, что мне показывать, меня просто нужно оставить в покое!

"Товарищи, — говорю я всем своим тихим существованием, — я археолог, я забрался на колокольню и сижу на ней, перебираю палеолит, бронзу, керамику, определяю черепки, пью изредка водку с дедом и совсем не суюсь к вам вниз. Пятьдесят пять метров от земли — это же не шутка! Что же вы от меня хотите?" А мне отвечают: "История — твое личное дело, дурак ты этакий. Шкура, кровь и плоть твоя, ты сам! И никуда тебе не уйти от этого — ни в башню, ни в разбашню, ни в бронзовый век, ни в железный, ни в шкуру археолога". — "Я хранитель древностей, — говорю я, — древностей — и все! Доходит до вас это слово — древ-ностей?" — "Доходит, — отвечают они. — Мы давно уже поняли, зачем ты сюда

забрался! Только бросай эту муру, ни к чему она! Слезай-ка со своей колокольни! Чем вздумали отгородиться — пятьдесят пять метров, подумаешь! Да тебя и десять тысяч не спасут".

Конечно, я сейчас здорово упрощаю весь ход моих мыслей: делаю все ясным и четким. Тогда ничего этого, понятно, не было и не могло быть. Но вот то, что я крошечная лужица в песке на берегу океана, это я чувствовал почти физически. Вот огромная, тяжело дышащая, медленно катящаяся живая безграничность, а вот я — ямка, следок на мокром песке, глоток холодной соленой воды. Но сколько ты его ни вычерпывай, а не вычерпаешь, ведь океан тоже здесь.

Я стоял против Клары и не знал, что сказать, молча смотрел на нее. А она вдруг улыбнулась, дотронулась до моей руки и очень певуче, медленно произнесла:

— А что, если я влюблюсь в вас, хранитель? — хохотнула и убежала.

"Да, — подумал я, — не надо было мне приезжать сюда с раскопок, ведь чувствую, чувствую, что этот день так не кончится, что-то еще обязательно произойдет".

...Так оно и вышло.

Прибежала вдруг старуха- казашка.

— Иди, иди, пожалуйста, вниз, — сказал она, — иди канцеляр.

— Да в чем дело, — спросил я, — что такое?

— Иди, пожалуйста, скорей, — повторила сторожиха.

Я пошел. Дверь канцелярии была заперта, пришлось стучаться. Отперла массовичка. В комнате были люди: Клара, кассир — молодой, крепкий казах в своей постоянной кожаной куртке и крагах, контролерша, крошечная старуха-татарка, еще кто-то из обслуги музея.

Все они столпились вокруг большого епископского кресла. На кресле сидела девочка. Была она

худенькая, русенькая, с тощими острыми косичками, в старом, линялом, стираном-перестираном розовом платье. Она сидела и теребила платочек. Все молчали. В комнате царила тяжелая, отвратительная тишина. Я взглянул на Клару.

— В чем дело? — спросил я.

Никто не ответил.

— Вот эта девочка, — вдруг громко сказала массовичка, — выдает себя за племянницу товарища Сталина.

Этого я, конечно, никак не ожидал.

— То есть как? — спросил я ошалело и посмотрел на девочку.

Она не шелохнулась, только крепче стиснула узелок.

— Прошла без билета, — объяснила мне массовичка. — И когда контролерша ее остановила, она сказала, что она племянница товарища Сталина и он разрешил ей ходить во все музеи и театры бесплатно.

"Только этой идиотской петрушки мне и не хватало", — подумал я и наклонился над племянницей Сталина.

— А у вас есть какой-нибудь документ, девочка?

Она не ответила, только платочек в ее руке хрустнул — в нем была какая-то твердая бумажка (судя по размеру, чуть мелочишки — десятка, на неделю, может быть, хватит).

— А когда ее спросили документы, — вдруг прогремела массовичка, — она ответила: "Мы наши документы не всем показываем".

Я даже рассмеялся, настолько это было хорошо. Молодец девчонка! Нашла правильные позывные.

В кабинете наступило молчание. Я стоял и думал, что же мне делать, потом снова наклонился над девочкой.

— Вы сами-то не алмаатинка? — спросил я.

Она молчала.

— Учитесь где-нибудь? Приехали к кому-нибудь? Ищите работу? — осторожно спрашивал я.

— Да что вы... — начала Зоя Михайловна, но Клара вдруг повернулась и так взглянула на нее, что она не договорила.

— У одних служила, — ответила девочка, — но они мне ничего не давали, не одевали, я ушла.

И только она сказала это, как лицо у нее стало сразу мокрым от слез.

— Ну, ладно, ладно, — сказал я сурово. Подошел к столу, налил ей полный стакан воды и сунул под нос. — Пей!

Она покачала головой.

— Пей, пей! — повторил я и вдруг увидел, как затряслись ее тоненькие, перевязанные красными тряпочками косички, как заходили ее острые лопаточки. — Пей и иди, — сказал я. — Вон сколько людей собрала!

И тут она вдруг заревела во все горло. Кто-то громко вздохнул. Я встал и отворил ей дверь.

— Иди!

— То есть как? — громко заговорила массовичка.— Как?.. Послали уже за милиционером. Товарищи, что же вы молчите? Что же такое делается? Девочка, а ну-ка, ну-ка...

— Да замолчите вы, — сказал я тихо. — Клара Фазулаевна...

Но их обеих уже не было. В окно я видел, как Клара вывела девочку на крыльцо, раскрыла свою сумочку из серебряных колец, сунула девочке что-то в руку. Девочка взяла, взглянула на нее каким-то быстрым, зверушечьим взглядом и вдруг скатилась со ступенек. Я отошел от окна.

— Хорошо, — сказала массовичка. — Вот сейчас придет милиционер, что мы ему будем говорить? Вот что вы ему скажете?

— Ничего, как придет, так и уйдет.

— Так все просто? — спросила она меня иронически.

— А как же, — ответил я. — Простее простого.

— А она?

— Ну что же она? Больной ребенок, и все.

— И все?

— И все, Зоя Михайловна, — ответил я очень твердо. — Все, до грошика! И ничего больше тут нет.

— Послушайте же вы, — с каким-то даже горестным вдохновением взмолилась Зоя Михайловна. — Да она, может, из семьи врага, у нее, может быть, вся семья сидит. Вы слышали? Она служила там где-то в домработницах. Почему? Она не похожа на домработницу. Судя по ее внешности, она... А как она себя там держала?

Пришел милиционер — пожилой, усталый, простой человек в запотевшей гимнастерке. Пришел и ушел, ничего не поняв и ничего не записав. Просто неодобрительно покачал головой и ушел.

— Второй холостой вызов сегодня, — сказал он, — прямо с ума сошли люди, от жары, что ли?

Меня вызвали в Наркомпрос. Передал мне вызов директор, специально позвонил, чтобы я зашел к нему в кабинет, дождался, когда все уйдут, и только тогда сообщил, что меня хочет видеть замнаркома товарищ Мирошников. Предупредил, чтобы я ни в коем разе не опаздывал. Товарищ Мирошников только что пришел из армии и все вопросы понимает по-военному — четко, ясно, точно, расхлябанности не терпит, растяп ненавидит. И еще директор мне посоветовал лишнего не трепать, да и вообще (тут он сделал какой-то вихрастый жест) не быть уж слишком умным. Я улыбнулся.

— А тут и полсмеха нет, — сурово обрезал меня директор. — Индюк мудрил-мудрил, да и в суп попал. Ты знаешь эту историю?

— Знаю, — ответил я.

— Ну вот. А так не бойся, он человек справедливый. Только вот такие штучки (опять тот же жест, но уже около головы) ты брось. Понял? Ну, иди.

Я пошел.

Замнаркома меня принял сейчас же, хотя и был занят: разговаривал по телефону. Был он высок и плечист, с аккуратно подстриженными усами, и ими ли или еще чем он очень напоминал тот большой поясной портрет, что висел над его столом. Во всяком случае, хотел напоминать. А вообще-то это был рыжеватый мужчина, веснушчатый, медлительный, уже, пожалуй, склонный к полноте, но еще никак не полный. Когда я вошел, он скосил на меня глаза и кивнул на диван. Я сел.

— Хорошо, — сказал он в телефон, — я тебе еще звякну. Ты что, у себя будешь? Хорошо! Вот и он как раз.

Он положил трубку и позвонил. Вошла секретарша.

— Ту мою папку, — попросил он. И, когда девушка вышла, сказал: — Вот говорил с вашим директором, вы его давно знаете?

Я сказал, что год. Он уволился из армии примерно через месяц после того, как я поступил в музей. Тут Мирошников слегка нахмурился.

— А почему вы думаете, что он уволился из армии?

"Не трепись", — вспомнил я и сказал:

— Он пришел к нам в военной форме.

Замнаркома хмуро посмотрел на меня и объяснил:

— В военизированной... Он же работник Осоавиахима. А военизированная форма присвоена отнюдь не только армии, но, — и дальше, как печатая, — и войскам внутренней охраны, работникам НКВД, лесной охране и кое-каким другим организациям специального порядка. Это вам не мешало бы знать. Так! — Он распахнул папку, вынул оттуда какую-то бумагу и стал ее читать.

Я сидел и ждал.

— Кто такой Родионов? — спросил он, не поднимая головы.

"Вот окаянный старик", — подумал я и сказал:

— Археолог-любитель. Кроме того, вырезает по дереву.

— И такие профессии есть? — замнаркома остро посмотрел на меня. — Быть археологом-любителем и вырезать по дереву.

"Любит точность", — вспомнил я и ответил:

— Сейчас он пенсионер, кажется, работает еще и счетоводом. В общественном порядке.

— Ага, вот это другое дело, — удовлетворенно кивнул головой замнаркома. — Значит, Родионов пенсионер? Ну а какую он получает пенсию? За что? Не знаете?

— Кажется, он партизанил, — ответил я.

— То есть был партизаном, — строго поправил меня замнаркома. — Партизанить и быть партизаном — это вещи разные. Вы с ним знакомы? Он приходил в музей?

Я кивнул.

— Зачем?

Я ответил, что он приносил кое-какие находки, ныне мы в этих местах производим поиски.

— Поиски или раскопки? — поправил или спросил меня замнаркома.

Было очень неприятно. Оба они — тот на портрете, этот за столом, — одинаково одетые, подтянутые, подстриженные, смотрели на меня: один с издевочкой, другой неподвижно и строго.

— Поиски — это и есть разведочные раскопки, — ответил я, — на поверхности ведь ничего не валяется, копать надо.

Замнаркома побарабанил пальцами по столу.

— Так, — сказал он, о чем-то размышляя, — так! Надо копать. И вы копаете! Отлично! Это что же, Корнилов копает?

Он назвал это имя так просто, как будто Корнилов только что вышел из комнаты.

Я ответил, что да, копает Корнилов.

— Тот самый, — спросил он, — что был уволен из публичной библиотеки?

— По-моему, он не был уволен, — ответил я. — Он попросту не поладил с научным руководством и ушел.

— И вы его сейчас же приняли в музей?

Я вздохнул.

— Принимает только директор.

— А он даже не посоветовался с вами? — покачал головой замнаркома.

Меня все это уже начало злить, и я довольно резко ответил, что, конечно, директор со мной советовался и я сказал, что такой работник нам нужен.

— Ах, вот как, — кивнул головой замнаркома. — А не сказал вам директор, за что именно его уволили? Ведь, как я слышал, тут что-то и с вами связано.

"Под кого же из нас троих он подкапывается?" — подумал я и, чтобы не сказать лишнего, только хмыкнул что-то.

Он посмотрел на меня, понял, наверно, что во мне происходит, и сказал уже иным тоном:

— Хорошо, положим, что к вам это не имеет отношения. А вот что за конфликт у вас вышел в музее?

Я ответил, что если речь идет о моем столкновении с Зоей Михайловной, то все получилось из-за того, что она начала хозяйничать в моем отделе, сняла с экспозиции портрет одного ученого, а мне это не понравилось.

— Кто же этот ученый? — спросил замнаркома.

Я ответил ему, что снят был портрет археолога Кастанье.

— Кого, кого? — спросил он быстро.

Я повторил по слогам:

— Ка-ста-нье.

— Никогда не слышал. А чем он замечателен? — снова спросил замнаркома.

Я ответил:

— Работами по древнейшей истории.

Он усмехнулся.

— Первый раз слышу. Вот работы Моргана, академика Марра по древней истории читал и даже сдавал, а о Кастанье слышу первый раз. Ну, хорошо. Век живи — век учись. А вообще он что? Прогрессивный ученый? Он в советское время работал или был сослан сюда еще при царизме?

Я ответил, что ссыльным Кастанье не был, в советских учреждениях никогда, кажется, не работал, да и большим ученым его тоже, вероятно, не назовешь. Но для древнейшей истории Семиречья он, как я понимаю, сделал все-таки чрезвычайно много.

— Даже чрезвычайно, — усмехнулся замнаркома. — Ну, хорошо! Кастанье сделал чрезвычайно много для истории Семиречья, а вот, скажем, такой ученый, как Фридрих Энгельс, сделал чрезвычайно много для древней истории вообще. Его портрет у вас висит?

Я ответил, что портреты Энгельса у нас висят в разных отделах.

— А в вашем? — спросил он.

— У нас нет.

— Жаль-жаль. — Замнаркома выдвинул ящик стола, вынул оттуда книгу в бумажной обложке и протянул ее мне. — Вот, пожалуйста, дарю. В этой книжке все работы Энгельса по древнейшей истории. Сидите и читайте. На работу можете сегодня не выходить. Читайте! Скажите, что я разрешил. Сотрудник музея, историк, образованный человек! — вдруг взорвался он. — И не читал Энгельса. Это же позор! Вы понимаете, по-зор! И для вас, и для нас, для всех.

— Энгельса я читал, — ответил я.

— Значит, плохо читали, — обрезал он меня. — Вы занимаетесь древнейшей историей Семиречья? Так вот, читайте о ней! Читайте! Здесь все, что нужно, есть.

— Хорошо.

Я взял книгу и спрятал. Замнаркома посмотрел на меня и вдруг заворчал:

— А то нашел кого показывать — Кастанье... Преподаватель французского языка в кадетском корпусе. Никто, мол, его не знает, а я вот знаю и выставляю. Ведь это же самое у вас получилось и с библиотекой. Что, неужели вы ничего еще не поняли?

Я покачал головой.

— Лежали в библиотеке какие-то книги, никто ничего о них не знал, никто ими не интересовался. А вот пришел такой просветитель-ценитель и все разъяснил и показал, какие ценности валяются под полкой. Вот ведь на что бьет ваша статья. А вот что эта библиотека обслуживает тысячи человек, что у нас в республике пятнадцать вузов, несколько тысяч студентов и каждому студенту нужно сунуть в руки учебник, что любое задание читателя выполняется за двадцать минут — об этом вы писали? Нет! Вам редкости нужны... А что редкости, что? Они и есть редкости! Привезли их в библиотеку, положили на полку, они и пролежали там пятнадцать лет. А вот то, что каждый день читальные залы посещают сотни человек и уходят удовлетворенные, это не ваша тема? Верно?

Теперь он говорил со мной хоть и ворчливо, но, пожалуй, даже благожелательно, так, как взрослый человек разговаривает с недорослем. ”Экий же ты болван, братец, однако.” Это мне в конце концов надоело, и я сказал:

— Я выполнил задание редакции, вот и все.

Он сразу подхватил брошенную перчатку.

— Нет, не все, — зло повысил он голос. — Далеко не все. Работаете у меня вы, а не редакция и не редактор. Вот я вам даю указания, а вам надлежит их слушать и делать выводы. И еще: будьте вы, пожалуйста, повежливее с посетителями, ведь на вас же жалуются. Пришел к вам старик, заслуженный партизан, герой, а как вы с ним обошлись? Даже читать неприятно, что он пишет. Вот, пожалуйста. — И он протянул мне то самое прошение, которое я уже видел в музее.

— Да сколько же он их разослал?.. — невольно вырвалось у меня.

— А что, вы уже видели это? Директор показывал? — быстро спросил меня замнаркома. — И что он вам сказал? Ничего не сказал. Зря. Ну, так вот я вам говорю и очень прошу, чтобы такие жалобы больше не повторялись. Пришел в учреждение старый, заслуженный человек, сделал рациональное предложение, а сотрудник, молодой человек, на него и смотреть не хочет. Отвернулся и цедит что-то через зубы. Ваш товарищ, пожилая женщина, говорит вам: зря вы повесили на самом видном месте какого-то генерала.

Я открыл было рот.

— Ну, хорошо, хорошо, — пусть статского советника, пусть. Ведь никто эти формы не помнит и не знает. А царские ордена да погоны — они сразу бросаются в глаза и вызывают недоуменные вопросы.

— Ну и что ж? — спросил я.

Он пожал плечами.

— Да ничего особенного, но только зря все это. Повторяется та же история, что и в библиотеке, — все-то вам хочется чем-то блеснуть, кого-то удивить, поразить. Несерьезно это.

Я сидел на диване и слушал его. Все его доводы, в общем, слагались в достаточно стройную систему. Возразить мне было нечего. Просто у нас с ним, как говорят физики, были совершенно разные системы отсчета, и я ползал где-то на другой плоскости. Вот и все.

Он замолчал и посмотрел на меня.

— Вижу, что вы никак не согласны.

— Нет, — ответил я, — никак. Но понимаю, что кому-то и так можно думать.

— Потому что дураку закон не писан, — улыбнулся он.

— Нет, — ответил я искренне, — вы умный человек и говорите умно. Вот я даже не сразу соображу, что же вам ответить, хотя вы и не правы.

Он вдруг засмеялся.

— Ладно, идите работайте. Только подумайте, о чем я говорю. Связывайте, связывайте свою древность покрепче с нашим временем, — крикнул он весело. — Знаете, был такой поэт Безыменский. Так вот он очень хорошо написал как-то: "Только тот наших дней не мельче, кто за любою мелочью может революцию мировую найти". Вот и ищите мировую революцию во всех ваших мелочах. Каждый экспонат должен напоминать только о ней. А вот того генерала... — Он засмеялся. — Да сбросьте вы его к бесу. Ну зачем вызывать лишние вопросы да недоумения? Сбросите?

— Нет, — ответил я, — не сброшу.

— Вот как? — Его лицо сразу застыло, глаза потухли. — Так вот как вы за него, выходит, держитесь? — спросил он задумчиво и насмешливо. — Хорошо. Тогда напишите мне подробную докладную: кто он, что сделал и почему вы его считатете нужным выставить. А я пошлю ее в Москву, в Комакадемию — и пусть там разбираются. Вот так.

Когда я вышел из кабинета, оба хозяина его глядели мне в спину одинаково прозорливыми, пронизывающими, беспощадными глазами.

Глава третья

Ночью дед постучался ко мне. Я слышал, что он пришел и стоит за дверью, но так здорово заспался, что мне не хотелось подниматься. Дед постоял в коридоре, послушал, потоптался немного, потом кашлянул, стукнул одним пальцем и деликатно спросил:

— К вам можно? Вы один?

Я встал и отворил ему дверь. Дед стоял на пороге под желтой угольной лампочкой и держал в руках что-то большое, четырехугольное, покрытое черной клеенкой.

— Что это? — спросил я.

Он сурово взглянул на меня и шагнул через порог.

— Измучился, как черт, — сказал он и сердито поставил ящик на стол. — Что, один? А я думал, кто-то есть. Ух, нечистая сила! — Он бухнулся в кресло и сорвал картуз. — Ух... Четыре версты вот эту музыку пер, ну просто сварился. Вот, вся спина пристала, а тут ты не открываешь. Ну, думаю, наверно, красавица сидит.

— Что это ты притащил? — прервал я недовольно.

— Что притащил-то? — Дед вынул из кармана красный платок в горошек и обтер лицо. — Это, брат, такая хитрая штука, что... И всего-то в нем фунтов тридцать, а ведь еле-еле допер, все руки оттянуло. Это, брат, очень большое дело, международное. А ну-ка снимай, снимай своих тигров да баб. Будем Англию, Америку слушать, что они там о нас...

Тут он сдернул клеенку, и я увидел приемник с серебристыми лампами и мутным желтым глазом внизу. Приемник был новешенький и блестел.

— Откуда это у тебя? — спросил я.

Дед рассмеялся.

— Украл, — ответил он счастливо. — Ну, что вытаращился? Правда, украл. Вот шел мимо совнаркома, окна открыты, а он на подоконнике стоит орет. Ну, я его, конечно, в охапку и к тебе. Сейчас милиция придет, скачи в окно... Так! — Он наклонился над приемником. — Где ж мы его?.. А вот где! Я ведь, пока ты в горах водку пил да с девками блукал, всю музыку у тебя в комнате наладил, вот сейчас и включим.

Он повозился минут пять, и вдруг резкий, гортанный голос из-под его рук крикнул что-то короткое и угрожающее, а серебристые лампы ожили и стали, как рыбьи пузыри, медленно наполняться красножелтой кровью. Глаз внизу вспыхнул открыто и чистым зеленым светом резко мигнул, погас и снова загорелся уже спокойно и глубоко, только слегка сужая и расширяя зрачок.Тот же голос из ящика

крикнул еще что-то — и вдруг все оборвалось. Приемник задрожал и загудел. Послышался треск, шипение, как будто в комнату внесли раскаленную сковороду, — я знал, что это аплодисменты, потом все смолкло, и вдруг запела женщина.

— Какая страна? — спросил дед отрывисто.

— Франция, — ответил я. — Ария Кармен.

— А, город Париж, сразу угоришь... Послушаем, послушаем.

Дед сел в кресло, вынул из кармана кисет с алыми махровыми кочанами, залез в него двумя желтыми, похожими на лекарственные корешки пальцами и вывернул целую щепотку "крупки". Потом спросил у меня газету и закурил.

— Душистый голос, — вздохнул дед и решительно повернул винт.

Раздался писк, визг, вой, затем широкое и злобное завывание какого-то космического вихря (так, наверно, на солнце воют протуберанцы), и вдруг кто-то по-дурацки хохотнул и быстро-быстро заговорил по-немецки. А тон был одесский, шутовской.

— Я раньше по-немецки все понимал, — сказал дед. — А сейчас вот звук знакомый, а ничего не разберу. К нам, понимаешь, сюда в шестнадцатом австрияков пригоняли. Так вот я ими и командовал, сторожил их. А что там сторожить? Куда им бечь? Они землю копают или на траве валяются, а я к станичницам заваливался. Была у меня одна бабенка, погоженькая, вот я к ней все и ходил. А им говорю: ну, смотрите, перцы, один убежит — всех пошлепаю и себя напоследок. Ничего, только смеются, черти. А сейчас вот только один гул слышу. — Он прислушался. — А что это она сейчас загоготала?

Я перевел какую-то дурацкую шутку.

Дед покачал головой.

— До чего же им весело при Гитлере живется, все не просмеются, — сказал он и вдруг спросил: — А война будет?

Я пожал плечами.

— Наверное, будет, дед.

— Будет! — Дед твердо и печально кивнул головой. — Обязательно будет. И директор тоже говорит: "Не надеюсь, что все так обойдется". Это ведь он тебе бандуру прислал. Пусть хранитель, говорит, слушает и понимает, а то язык у него больно длинен стал, не по времени немножко.

— Это он тебе сказал? — испугался я.

— Нет, это я тебе говорю, — нахмурился дед, — ты что? Опять своего Милюкова повесил?

— Повесил, — сказал я. — А тебе что, жалко?

— Ничего мне не жалко, — ответил дед. — Только уж больно громко ты идешь, ну на что он тебе нужен? Никто и фамилии такой не слыхал, а ты раскричался, разошелся, хоть яйца пеки, и поставил на своем. Шум, крик — она к директору побежала, — ну к чему это? А если бы по-умному — полежал бы он у тебя недельку в комнате, а потом взял бы ты его и повесил — тихо, мирно, без шума, и никто бы ничего и не знал.

Дед говорил теперь негромко, задумчиво, сокрушенно, и лицо у него было тоже недоуменное и даже слегка растерянное. Это растрогало меня, никогда я его не видел таким.

— Надо было его обратно повесить, дед, — сказал я, — не в генерале дело, а в том, что дай этой стерве волю, так она всю страну запишет во вредители.

— Ишь ты. — Дед усмехнулся и покачал головой. — Ишь ты, как тебе некогда... Она, значит, нас запишет, а ты опять выпишешь! Нет, не выходит что-то так. Она сама тебя, как до зла дойдет, запишет куда следует — вот это так. Ее никто не осудит. Бдительность — вот и весь разговор.

В голосе его слышалась теперь горечь и укоризна. Это меня разозлило.

— Что ты-то горло дерешь? — взорвался я. — Ну, знаешь...

Я хотел сказать что-то еще очень обидное и вдруг осекся. Совсем другой человек — спокойный и пе-

чальный — смотрел на меня. Я даже и не понял, что же в нем изменилось. Даже насмешечка не сошла совсем с его лица, а был он уже совсем иной.

— Бык вон как глотку дерет, а толку от этого чуть, — сказал дед коротко и просто. — И я, когда надо, тоже не смолчу, а так вот, попусту из-за картонок да картинок... — Он резко отвернулся от меня и снова наклонился над приемником.

Снова мы блуждали по эфиру, слушали голоса городов и станций, неслись из Москвы в Копенгаген, из Копенгагена в Капштадт и Гавану. На земле стояла ночь, и утро, и полдень, и все это было одновременно. И земля пела, плясала, проповедовала, стращала, угрожала и уговаривала. И вдруг отчетливо отработанный, мягкий мужской голос, долетавший, наверно, из какого-то концертного зала Парижа или Тулузы произнес:

— Там, внизу, у людей, говорит Заратустра, все слова напрасны: кто хочет понять людей, тот должен на все нападать, ибо...

— Вот это уже не немцы, это кто-то другой, — сказал дед, — по звуку слышу. — И он хотел повернуть винт.

— Стой, стой, — сказал я. — Не трогай, я хочу послушать, это француз.

Именно потому, что это был француз, я и стал его слушать. Если бы говорил немец, я бы сразу перешел на другую волну. Мне ведь было уже отлично понятно, что может сказать о Ницше какой-нибудь доктор юриспруденции или философии, скажем, Мюнхенского университета. Но что мог о нем сказать француз, и не какой-нибудь, а, наверно, именитый, и не когда-нибудь, а именно сейчас, в лето 1937 года, мне было совсем не ясно. Я сидел и слушал, а дед смотрел на меня и ничего не понимал. Он зевнул раз, зевнул другой, потом слегка тронул меня за плечо. (''Брось ты эту музыку''). Тогда я подошел к шкафу, вынул оттуда флакон спирту и поставил деду. Дед посмотрел на меня и покачал головой.

— Один не пью, — сказал он строго. — И ты меня в алкоголика, пожалуйста, не воспроизводи — раз подносишь, то и сам пей.

— Пью, пью, — сказал я и налил себе полстакана.

— Вот это другое дело, — похвалил меня дед. — Это нормально! — Он поднес стакан ко рту и вдруг закричал и замахал: — Что? Неразбавленный? Эх, образованный человек, а такую глупость творишь! Об этом же упреждать нужно, а то всю глотку сорвать можно. У нас тут один плотник глотнул, а потом три дня сипел. А мог и совсем задохнуться. Ну, мне ты налил, а себе что?

— Я сейчас выпью, — ответил я и взял стакан.

— На-ка вот, разбавь! — И дед налил мне полную крышку от кувшина.

— Перевод времени, — ответил я.

И тут мы оба усмехнулись, переглянулись, сблизили стаканы, чокнулись и выпили разом.

— Ладно, дед, — сказал я, — давай еще по одной.

Он несмело и нерешительно посмотрел на меня.

— А не повредит? — спросил он осторожно. — Завтра к тебе директор собирается с утра. Ну, как он тебе?..

— Ничего, — ответил я. — Директор — человек.

— Человек-то человек, — согласился дед. — Вот видишь, приемник тебе прислал, пусть, говорит, хранитель сидит слухает, может, и мне что расскажет. Ну вот что ты сидишь слушаешь? — продолжал дед очень ласково. — Француза ты этого все слушаешь, да? Ну что он такое говорит? К войне что-нибудь относящееся?

Я кивнул головой. Шла французская лекция о Ницше. А когда француз, прямо-таки захлебываясь от восторга, говорит в 1937 году о Ницше,— это, конечно, что-то прямо относящееся к войне.

Повторяю, я слушал только потому, что говорил француз. Немца я бы слушать не стал. Но вот то, что француз — любезнейший, обаятельнейший, с отлично

поставленной дикцией, с голосом гибким и певучим (как, например, тонко звучали в нем веселый смех, и косая усмешечка, и печальное светлое раздумье, и скорбное, чуть презрительное всепонимание), — так вот что этот самый французский оратор, еще, чего доброго, член академии или писатель-эссеист, не говорит, прямо-таки заливается, закатывая глаза, о Ницше, что все это, повторяю опять и опять, происходит летом 1937 года, — вот это было по-настоящему и любопытно, значительно и даже страшновато. Но сколько я ни слушал, ничего особенного поймать не мог. Шла обыкновенная болтовня, и до гитлеровских вывертов, выводов и обобщений было еще очень далеко. И вдруг я уловил что-то очень мне знакомое — речь пошла о мече и огне. Правда, все это — огонь и меч — было еще не посылка и не выводы, а попросту художественный строй речи — эпитеты и сравнения. Но я уже понимал что к чему. Дюрер, сказал француз, в одной из своих гравюр изобразил Бога-Слово на троне. Из уст его исходит огненный меч — вот таким мечом и было слово Ницше. Он шел по этому миру скверны и немощи, как меч и пламя. Он был великим дезинфектором, ибо ненавидел все уродливое, страдающее, болезненное и злое, ибо знал — уродство и есть зло. В этом и заключалась его любовь к людям.

И тут сладкозвучный голос в приемничке вдруг поднялся до высшего предела и зарыдал.

"Так послушайте же молитву Ницше, — крикнул француз. — Послушайте, и вы поймете, до какой истеричной любви к людям может дойти человеческое сердце, посвятившее себя исканию истины. Что может быть для философа дороже разума, а вот о чем молит Ницше: "Пошлите мне, небеса, безумия! Пошлите мне бред и судороги! Внезапный свет и внезапную тьму! Такой холод и такой жар, которые не испытал никто! Пытайте меня страхом и призраками. Пусть я ползаю на брюхе, как скотина, но дайте мне поверить в свои силы! Но докажите мне, что вы при-

близили меня к себе! Но нет, при чем тут вы? Одно безумие может доказать мне это!?"

Голос, взлетевший вверх до крика, стал все понижаться и понижаться, дошел до шепота и оборвался. Наступила тишина. Приемник гудел и молчал. Я сидел затаив дыхание.

Дед вдруг поднял бурые веки и зевнул.

— Ну все, что ли? — спросил он.

"Слышите ли? — взвизгнул приемник. — Слышите ли вы, люди, эту мольбу? Из-за вас мудрец отказывается от своего разума. Вы слышите, как бьется его живое обнаженное сердце. Еще секунда — и оно разлетится на части...?"

Снова наступило молчание, и потом голос сказал печально и обыденно:

"И Бог услышал его просьбу — он сошел с ума".

— Ну, на сегодня хватит, — сказал я и выключил приемник.

Дед открыл глаза и спросил то, о чем он думал все это время:

— Ну вот, ты на нее обижаешься. Она, конечно, дрянь, я это сознаю, но, так сказать, она что? Сама по себе, что ли?

Мне опять стало скучно, и я махнул рукой.

— Ты копай твои камни, и все, — сказал дед сурово. Он протянул руку, взял спичечную коробку и открыл ее. — Это что же, того самого... Ав-ре-ли-яна?

— Его самого, — ответил я.

Дед положил монету на стол и стал ее вертеть. Я вынул из стола складную лупу и подал ему. Он взял лупу и долго смотрел через нее на монету, а потом спросил:

— Кто же он был? Император? Вроде Пилата Понтийского?

— Здравствуйте, — засмеялся я. — А еще две зимы в приходское бегал. Пилат-то разве император?

— А кто же он? — высокомерно усмехнулся дед.— Как в "Верую"-то читается: "И распятого за ны при Пилате Понтийском". Как же не император? Ну эн-

7—166

тот, правда, более на Ирода Скрижоцкого смахивает. Вон у него какой колпак с шишкой на голове. Так что, правда он сюда из Рима приходил нас покорять или это еще не доподлинно?

— Не доподлинно, дед, — ответил я. — Скорее всего, что нет. Но, однако же, монета попала к нам както в огороды. Это ведь тоже неспроста — значит, верно, длинные руки у него были, если он и сюда дотянулся. Вот в этом я и хочу разобраться.

— Ну, ну, разбирайся! — сказал дед и встал. — Разбирайся, разбирайся, а я пойду вздремну. Что-то размаривает меня.

Он ушел, а я остановился около книжной полки (она висела у меня над кроватью, струганая сосновая дощечка на веревочке), снял книжку и стал ее листать. Все время, после того как из Эрмитажа пришло письмо о том, что античная монета, выкопанная в огороде за Алма-Атинкой, —динарий Аврелиана, я рылся во всех библиотеках и искал что-нибудь об этом императоре. Но материала попадалось обидно мало. Уж слишком, наверное, хорошо в те времена умели расправляться с историками и историями. В толстенном словаре классической древности Любеккера я отыскал только несколько ссылок на классиков. Но все они были недостоверными или недостаточными. Из источников указывались Заима, Евсевий, Аврелий, Виктор и, наконец, таинственный странный сборник "императорских биографий", подписанный шестью совершенно неведомыми именами. Вот эти "биографии" я сейчас и листал. В нашей крошечной библиотеке нашелся старинный русский перевод их, добротный и дубовый, выпущенный еще при Екатерине. Был он весь из периодов — этаких широких пышных фраз, похожих на деревянные триумфальные арки тех времен. Одолевать его было почти физически тяжело. Через час я уже откидывал книгу. Но дело было не только, конечно, в переводе. Непонятен был и сам импера-

тор. Чтобы уяснить себе в нем хоть что-нибудь, я разграфил лист бумаги надвое и стал записывать налево одни его качества и поступки, а направо другие, им противоположные. И вот что у меня под конец получилось. (Пользуюсь новым переводом — старого, 1776 года, у меня сейчас нет.)

Левый столбец:

"Аврелиан вернул мир снова под власть Рима".

"Ябедников и доносчиков он преследовал с необычайной строгостью". (Ура, Аврелиан!)

"При нем была объявлена амнистия государственным преступникам". (Ура, Аврелиан!)

Он был справедлив. Вот что он писал своему главнокомандующему:

"Если ты хочешь быть трибуном и даже больше, если ты хочешь просто быть живым, — удерживай руки солдат!.. Пусть всякий солдат довольствуется своим пайком".

Он любил и блюл своих солдат.

"Пусть оружие их будет вычищено, обувь прочна. Пусть старую одежду сменяет новая".

"Пусть один из них служит другому, как господину, но пусть никто из них не служит как раб".

Он был не просто великодушен, он, когда надо, был еще изобретательно великодушен.

"Дойдя до Тианы и найдя ее ворота запертыми, он, говорят, во гневе воскликнул:"Собаки я живой не оставлю в городе!" А взяв город, приказал: "Я объявил про собак. Убивайте же их всех!"

Он был великим государем и полководцем.

"Только при правлении Аврелиана, одержавшего победу во всем мире, наше государство было нам возвращено", — сказал над трупом императора его преемник.

Таков левый столбец.

А вот правый, с ним одновременный:

"Он отличался такой жестокостью, что выдвигал против многих вымышленные обвинения в заговоре, чтоб получить легкую возможность их казнить".

”Были убиты даже некоторые из самых именитых на основании легковесных обвинений, исходивших от единственного свидетеля, притом ненадежного и ничтожного”.

Но он был не только жесток, он был еще суеверно жесток.

”Велите мальчикам, — приказывал он сенату, — во время военных застоев и неудач исполнять песнь”.

И мальчики пели:

Многие лета, многие лета перебившему,
столько и вина не выпить, сколько крови пролил он.

Он не верил никому и пал от руки убийцы, потому что пришло наконец такое время.

”Великий бедностью”, он тратил непомерные деньги на строительство грандиозных храмов и роскошных зданий. И до сих пор показывают около Рима мертвые со дня рождения стены Аврелиана.

Он уничтожал перебежчиков, без которых не мог бы победить, ибо ”кто не пощадил родину, не сохранит верность и мне”.

Он был первым, кто назвал себя богом: ”Не только в надписях, но и на монетах его имеются слова Deues et Dominus” (богу и хозяину).

Таков второй столбец.

Долгое время после того, как я отошел от этой темы, мне казалось, что только этими двумя листиками, разграфленными посредине, и кончилось мое раздумье. Но оказалось, что в то же время мной был исписан и еще листочек.

Вот он:

”В день своей кончины Август спросил пришедших к нему друзей, как они думают, хорошо ли он провел свою роль в комедии жизни, и продекламировал тут же заключительные стихи:

Так если нравится — рукоплещите
и с ликованьем проводите нас”, —

так рассказывает Светоний.

Надо сознаться: если это придумано, то очень здорово. Так он и должен был сказать. Это ”ловкое и счастливое чудовище”, ”человек без веры, стыда и чести” (Вольтер). Роль, комедия жизни... понравилась ли?.. Рукоплещите... А что же он мог придумать еще? Главное свойство любого деспота, очевидно, и есть его страшная близорукость. Неисторичность его сознания, что ли? Он весь тютелька в тютельку умещается в рамку своей жизни. Видеть дальше своей могилы ему не дано.

...Я беру в руки монету. На ней погрудное изображение зрелого, сильного воина восточного типа с пышными и, наверное, очень жесткими усами. Черты лица четкие и резкие. На голове шлем. Царь и воин... (”Царь Ирод”, — сказал дед.) Зачем он только приказал именовать себя еще и ”Деосом”? Ну, пускай бы заставлял петь, а то ”бог и хозяин”!

”Взвешен и найден слишком легким, — скажет старая весовщица Фемида своей сестре — музе истории Клио. — Возьми, коллега, его себе — его вполне хватит на десяток кандидатских работ”.

— Хм, спит. Он спит. Сукин сын, где же у тебя дисциплина? — Директор сдернул с меня одеяло.

Я вскочил на ноги, было уже светло. Горел свет. Приемник орал вовсю.

— А Корнилов-то, — продолжал директор, — смотри, какой мусор в горах нашел.

Мусор этот лежал на тумбочке около моей головы на аккуратно расстеленном чистом директорском платочке. Тут были круглый бронзовый обломок непонятного назначения, зеленый четырехугольный наконечник стрелы скифского типа, обломок костяной пластинки с какой-то резьбой и, наконец, небольшой черепок сосуда почти чистого оранжевого цвета. Его я и взял в руки прежде всего. Черепок был богато изукрашен. Узор состоял из трех поясов. В первом помещалось что-то очень кудрявое и незначительное. Во втором — ряд

широких солнечных дисков. В третьем — точно такие же солнечные диски, но поменьше, на стебельке и под иным углом. Смысл узора был ясен. Верхний рисунок изображал бога, нижний — цветок, ему посвященный, скорее всего, полевую ромашку — поповник. Находка была примечательная. Таких еще не попадалось. Никто из древних обитателей этих холмов — ни усуни, ни саки, ни кара-такаи не знали ничего подобного. Впрочем, сосуд мог быть привезен, скажем, из Согдианы, то есть территории нынешнего Таджикистана (тогда становился понятным и солнечный диск: согдийцы же солнцепоклонники). Но это была бы уж такая незапамятная древность, с которой мы еще и не встречались.

— И все это он в одном месте нашел? — спросил я.

— А вот читай, — усмехнулся директор и сунул мне в руки лист из блокнота.

Корнилов писал: "Посылаю вам свой первый, пока еще не очень значительный улов. Покажите хранителю, он сразу поймет что к чему. ("Что, понял что к чему?" — спросил директор.) Несомненно, нами обнаружено мощное жилое пятно, расположенное на территории колхоза "Горный гигант". Что же оно такое: город, поселение, крепость или перевалочный пункт — выяснится позднее при планомерных раскопках. Все присланное обнаружено нами на протяжении двух метров, в профиле дорожного холма. Грунт мягкий, глинистый, легко поддающийся кайлу и лопате".

Я положил бумагу на стол и сказал:

— Кайлу и лопате. Вы представляете, что он там натворил?

— Да я уж об этом думал, — поморщился директор. — Ну что ж, будем производить раскопки или пусть он там еще покайлит? Так вот ведь видишь, что он пишет: "...на протяжении двух метров". А ведь ему колхозники голову за эти метры отмотают. Он, дурак, дорогу разрушает.

— Надо будет по-настоящему копать, — сказал я. — Все, что он прислал, очень интересно. Будем вести разведочные раскопки. Открытый лист выправим после. Не полагается это. Да что там. Мы ведь не курган разрушаем, а просто в жилых слоях копаемся.

Директор серьезно посмотрел на меня и вдруг рассмеялся.

— Жилые слои, — повторил он с наслаждением. — Ах вы, археологи... Ладно, посмотрим. — Он кивнул головой на приемник. — Ну а музыку-то ты слушал?

— Ой! — Я вскочил. — Вот свинья-то. Позабыл вас поблагодарить. Я ведь всю ночь сидел над ним.

— То-то ты спишь в рабочее время, — сердито рассмеялся директор, — вот что значит в армии не служил. Там бы тебя...

Он подошел к окну и раскрыл его.

— Нет, конечно, что там смотреть? Надо копать, и все. Хоть в этом году по разделу экспедиции что-то освоим. А то ведь стыд и срам. Нам кредит отпускают, а мы обратно перебрасываем. Пишем: "Экспедиционные работы, за неимением сотрудников, проведены не были". А в ведомости-то — шестьдесят лбов. Ведь позор, хранитель, а?

— Позор, — ответил я.

— То-то, что позор, — устало вздохнул директор и снова подошел к приемнику. — Ну, так что ж ты сегодня услышал? Было что-нибудь стоящее?

— Было, — ответил я, — и очень даже стоящее. Лекция о Ницше.

Директор покрутил головой.

— Вот въелся он им в печенки. Как включишь Германию — так и он.

— Да это не Германия была, — ответил я. — Париж передавал.

— Да? — Директор даже приостановился. — Французам-то что больно надо? Они-то куда лезут?

Я не ответил.

— Слушай-ка, а вот можешь ты мне вот так, попростому, без всяких мудрых слов, растолковать,

что это такое? У нас тут один два часа говорил. Пока я слушал, все как будто понимал. А вышел на улицу — один туман в башке, и все. Человек, подчеловек, сверхчеловек, юберменш, утерменш! Ну, хоть колом по голове бей, ничего я что-то не понял.— Он виновато улыбнулся и развел руками. — Ориентируй, брат, а?

— Плохо, если вы ничего не поняли, — сказал я. — Начать тут надо с самого философа (”Ну-ну!” — сказал директор) — с человека, который всего боялся. (”Ну-ну”, — повторил директор и сел.) Головной боли боялся, зубной боли боялся, женщин боялся, с ними у него всегда случалось что-то непонятное, войны боялся до истерики, до визга. Пошел раз санитаром в госпиталь — подхватил дизентерию и еле-еле ноги унес. А ведь война-то было победоносная. А под конец... Вы помните премудрого пескаря?

— Ну еще бы, — усмехнулся директор, — ”образ обывателя по Салтыкову-Щедрину”: жил — дрожал, умирал — дрожал, очень помню, так что?

— Так вот. Таким премудрым пескарем и прожил он последние годы. Просто ушел в себя, как пескарь в нору, — закрыл глаза и создал свой собственный мир. А вы помните, что снится в норе пескарю, что он ”вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает”. Кровожаднее и сильнее пескаря и рыбы в реке нет, стóит ему только зажмуриться. Беда, когда бессилье начнет показывать силу.

— Вот это ты верно говоришь, — сказал директор и вдруг засмеялся, что-то вспомнив. — Знаю, бывают такие сморчки. Посмотришь, в чем душа держится, плевком перешибешь, а рассердится — так весь и зайдется. Нет, это все, что ты сейчас говоришь, — верно это. Я это очень хорошо почувствовал. Но вот как ему, пескаришке, дохлой рыбешке, саженные щуки поверили? Им-то зачем вся эта музыка потребовалась? Для развязывания рук, что ли? Так у них они с рожденья не связаны. Сила-то на их стороне.

— Это у них сила-то? — усмехнулся я. — Какая же это сила? Это же бандитский хапок, налет, наглость, а не сила. Настоящая сила добра уж потому, что устойчива.

— Так, так, — директор усмехнулся и прошелся по комнате. — Значит, по-твоему, и у земляка этого самого Ницше — Адольфа Гитлера — не сила, а истерика? Ну, истерика-то истерикой, конечно, недаром он и в психушке сидел. Или это не он, а его друзья? Но и сила у него тоже такая, что не дай Господи. Газеты наши, конечно, много путают и недоговаривают. Но я-то знаю что почем. Если бы он нас, говорю, не боялся, то и Европы давно не было, а стоял бы какой-нибудь тысячелетний рейх с орлами на столбах. А ты видел, какие у них орлы? Разбойничьи! Плоские, узкокрылые, распластанные, как летучие мыши или морские коты. Вот что такое Адольф. А ты посмотри на его ребят. Те кадрики, что в нашей хронике иногда проскакивают. Все ведь они — один к одному, молодые, мордастые, плечистые, правофланговые. На черта им твой Ницше? Им Гитлер нужен. Потому что это он им райскую жизнь обещал. За твой и за мой счет обещал. А они видят: он не только обещает, но и делает. Союзники только воют да руками машут, а он головы рубит. Что же это — пескарь, по-твоему? Юродивый Ницше? Нет, брат, тут не той рыбкой запахло. Тигровые акулы? Что, есть такие? Есть, я читал где-то... Только нас он, говорю, и боится. Если бы не мы, то сейчас только одна Америка за океаном и осталась бы, да и то только до следующего серьезного разговора, понял? — Он сел на стул, перевел дыхание и улыбнулся. — Вот так.

— Да я ведь не про него, — сказал я, сбитый с толку, — я про его учителя.

— И про учителя ты тоже не прав, учителей у него много: тут и Ницше и не Ницше, смотря кто ему потребуется. — Он открыл записную книжку. — Вот видишь, у меня полстраницы именами записано:

граф Гобино, профессор Трейчке, профессор Клаач, Теодор Рузвельт — знаешь таких?

— Не всех, — сказал я. — Гобино знаю. Клаача тоже.

— Ну еще бы, еще бы тебе не знать, — усмехнулся директор. — Ты же хранитель. Ну да не в них в конце концов дело. Будь он граф-разграф, профессор-распрофессор. Им всем, вместе взятым, цена — пятачок пучок. Твой Ницше хоть страдал, хоть с ума сходил и сошел все-таки. А те вот не страдали, с ума не сходили, а сидели у себя в фатерланде в кабинете да на машинках отстукивали. И никто никогда не думал, что они понадобятся для мокрого дела. А пришел Гитлер и сразу их всех из могилы выкопал да под ружье и поставил, потому что так, за здорово живешь, сказать человеку, что ты хам, а я твой господин, нельзя, нужна еще какая-то идейка, нужно еще: "И вот именно исходя из этого — ты-то хам, а я-то твой господин! Ты зайчик, а я твой капкан", — знаешь, кто так говорит?

— Нет.

— Уголовный мир так говорит. Ну, блатные, блатные, воры; теперь бандиты знаешь какие? Они и в подворотнях грабят с идеологией. Неважно, какая она. Спорить с ней ты все равно не будешь. Если у меня финка, а у тебя тросточка, то какие споры? Я всегда прав. Бери, скажешь, за-ради Христа, все, что надо, да отпусти душу. Твоя идеология, скажешь, взяла верх. Вот как бывает.

— На первых порах, — сказал я.

— И на первых, и на вторых, и на каких угодно порах; потому что, если взял он тебя за горло...

— Те-те-те... — рассмеялся я. — Так это ж называется брать на горло, а не за горло. Таких даже воры презирают. Потому что это не сила, а хапок... Это я еще лет двадцать пять назад очень понял. Отец мне объяснил, он и все эти вещи тонко понимал. Тогда еще, заметьте, понимал!

Директор посмотрел на меня и засмеялся. Он всегда очень хорошо смеялся: раскатисто, разливисто, весело — в общем, очень хорошо.

— Литератор, литератор, — сказал он. — Выдумал, наверно, про отца. Ну, если и выдумал, то тоже хорошо. Возможно, возможно, что ты в чем-то и прав. Конечно, сила — да не та, но легче ли от этого — вот вопрос! Кто отец-то твой был? Мировой, или как его там? Посредник какой-то? Тогда еще какие-то посредники были?

— Нет, — сказал я, — посредники не там были. Мой отец был присяжным поверенным.

— То есть адвокатом? Хороший, наверное, адвокат был, умница... Что, давно умер? Ах, когда тебе десяти еще не было? Жаль, жаль, что умер. Знаешь, как теперь нам нужны вот такие именно адвокаты. Позарез нужны! Только бы мы их судьями в трибуналах сделали. А то как бы действительно не побили нам стекла. А знаешь, сколько у нас вдруг появилось охотников бить зеркала? Превеликое множество! Превеликое! Пока настоящая сила соберется, раскачается, придет — знаешь, сколько они науродуют? — Он помолчал, подумал и вдруг сказал совсем иным тоном — простым, будничным: — А ты вот этого не понимаешь, фырчишь... Ну что, понравился тебе Мирошников? Строгий мужчина.

Я сказал, что строгость-то еще не беда. Но вот он еще и ограничен, и туповат, и всех хочет учить.

— А именно чему он тебя учил? — спросил директор.

Я рассказал ему про разговор.

— Хм, да!.. — сказал директор. — Ну, насчет портрета я ему сам позвоню, он действительно загнул. Зато во всем остальном...

— А что во всем остальном? — спросил я угрюмо.

Было совершенно ясно, что про это остальное он уже успел сговориться с Мирошниковым по телефону.

— А про все остальное так, — сказал директор твердо. — Вот я хочу тебе сказать, а там дело твое: не хочешь — не слушай. С кем ты только ни встретишься — обязательно скандал.

Я молчал и смотрел на него.

— Ну а как же, считай, — он стал загибать пальцы, — в библиотеке неприятность, с массовичкой истерика, от Родионова формальная жалоба, с органами — полный скандал, мне уже звонили оттуда, справлялись о тебе. Наверно, твоя благодетельница постаралась. Аюповой ты такое наговорил, что она во все инстанции катает. Хорошо, что мы тебя знаем, а то бы, пожалуй... Ну а что ты у меня в кабинете орал, ты это помнишь?

— И что, зря я орал? — спросил я его. — Я не прав?

— В чем? — крикнул он. — В чем ты прав? В существе дела? Да, безусловно прав. Но именно в существе, а не в форме. Ну ты представляешь, что было бы, если бы тогда подошла Зоя Михайловна и встала за дверью? Тебе что, туда, к нашему завхозу захотелось?

Я молчал.

— Ну вот то-то, дорогой товарищ. Когда говоришь, надо отдавать себе отчет — что ты такое говоришь, когда ты это говоришь и кому говоришь. А ты сплошь да рядом... — Он махнул рукой и замолчал.

Молчал и я.

Он посмотрел на меня и вдруг улыбнулся.

— Ну, хорошо, что хоть не споришь. И потом — зла в тебе, дорогой товарищ, много, то есть не зла, а какой-то глупой предубежденности. Необъективный ты человек, хранитель, вот что. Ну вот хотя бы взять опять эту историю с Родионовым. А ведь он еще что-то обещает принести.

— Товарищ директор, — сказал я официально. — Ну вы поймите, я археолог, "хранитель древностей", как вы меня называете, я занимаюсь тем,

что умею, — клею горшки и пишу карточки. В политпросвете вашем — я ни в зуб ногой. Что же касается Родионова, его планов... — И я нарочно замолчал.

— Ну а что его планы, — вцепился в меня директор, — что, что? Ведь копаемся же мы именно там, где он нам указал, зарываем, так сказать, казенные деньги в землю по его указанию.

— Да и не там зарываем, — ответил я. — Вы посмотрите карту. Я отобрал ее у Корнилова и привез сюда. ”Копать тут”. А где копать, когда там одни яблони и змеи...

— Да, — спохватился директор, — ведь тебе из редакции звонили, все насчет этого чертова змея. Ну что, есть он там или нет, ты проверил? И вообще, что ты про него знаешь?

Я развел руками.

— Да, что-то не того, — согласился директор. — Я ведь звонил в горсовет и ничего не узнал. И знаешь, говорят, что ниоткуда удав не сбегал и нигде не появлялся, а тут совсем иная история.

— Какая же?

— А вот какая, — он подумал. — Ездила по клубам такая гопкомпания: директор — грузин; рыжий — штаны в крупную клетку — гипнотизер То Рама; какая-то старуха в кисее — ”умирающий лебедь”. А гвоздь-то программы — ”борьба с удавом”. Понимаешь, сгружают с фургона гроб с запорами и дырками, и шесть человек его еле-еле несут в сарай — это удав. А на крышке плакат: удав давит быка — ”смертельная схватка человека с гигантской рептилией”. Ну, конечно, народ валом валит — у кассы давка, будку опрокидывают. А когда программа уже кончается, выходит директор и объявляет: ”Борьба состояться не может, потому что удав заболел”. Ну и все. Сбор-то в кассе!

— Ловко! — воскликнул я.

— А как же не ловко, — нам дай бог такое придумать. Но в одном кохозе стали просить, чтоб хоть показали этого удава. Обступили ящик — открывай, да

и все. ”Ладно, — говорит директор, — вечером покажем.” А вечером после конца программы объявил: ”Тому, кто сообщит, где находится гигантский удав, сбежавший из труппы эстрадного объединения, выплачивается награда в десять тысяч. Приметы: двадцать пять метров длины, глотает людей, валит деревья, душит домашний скот”. Прыгает, скачет, давит, ползает, плавает, ну только-только что не пышет огнем. Будьте осторожны, берегитесь! Следите за детьми! И началась, понимаешь, паника: бабы из дома не выходят, то одного удав задушил, то другого, работы срываются, в результате доходит до органов — и те высылают уполномоченного. Тот приехал, расположился в правлении и начал вызывать по одному. Труппа тикать. Так рассыпалась, что и следов не найдешь. Вот какая история, говорят, вышла.

Я засмеялся.

— Совершенно великолепная история. Так вот этот самый удав и появился в ”Горном гиганте”?

Директор улыбнулся.

— А пес его знает какой, скорее всего, и никакого нет. Но вот это мне рассказали в горсовете. А в общем-то, дело по нашим временам совсем не смешное, раз органы заинтересовались... Это ты запомни.

Это я запомнил.

А между тем в музее шло полным ходом разрушение старой экспозиции, и этим опять командовала массовичка. Клара ей уже не помогала. Но все равно за день с помощью двух подсобных рабочих Зоя Михайловна успевала опустошить целый отдел и ходила победительницей. С ней разговаривали по телефону, ей давали указания, ее вызывали для собеседования. С моим отделом она уж и не связывалась — не до того было. Внезапно врагами оказались многие знаменитости казахской литературы: один был разоблачен как шпион, другой признался в том, что он агент немецкой разведки, третий же, как вы-

яснило следствие, вообще замышлял отторгнуть Казахстан от Советского Союза в пользу Японии. Об этом третьем хочется сказать особо. Гром над его головой грянул совершенно неожиданно. Только-только по республике прошел его юбилей, окончились банкеты и приемы, отзвучали речи, отсверкали адреса, еще не были распроданы в киосках все его фотографии и брошюры с биографией, средние школы еще не успели оплатить его портреты художественным мастерским, — а он уже оказался врагом народа. А ведь был не только крупнейшим писателем, но еще и революционером, и членом правительства, и основоположником Советской власти в Казахстане: целые разделы самых разных экспозиций были посвящены у нас ему. И вот позвонили откуда-то и приказали снять все, где только есть его имя. И все сняли и куда-то спешно отправили, а затем последовали еще звонки — и полетели другие портреты.

Прошли быстрые, закрытые процессы, и мы собрались после конца занятий, чтобы требовать расстрела. Выступал директор и говорил страстно, правдиво и убежденно, а в чем дело — тоже сказать не мог. Как почти все, и я верил в очень многое, даже в эти процессы, но все чаще и чаще меня стала посещать юркая и трусливая мыслишка: "А что, если... А вдруг все-таки?.."

...Однажды, когда я сидел в столярке за верстаком, зазвонил внутренний телефон. Я поднял трубку и услышал голос директора.

— Как титан, кипит? — спросил он.

— Так точно, — ответил я голосом деда. — Титан кипит вовсю!

— Ну хорошо, я приду за кипятком, — сказал директор.

Когда я через минуту с кипящим мельхиоровым чайником вошел в кабинет директора, за столом сидели трое: директор, старик кладоискатель Родионов и Клара. Они рассматривали что-то маленькое,

круглое, переходящее из рук в руки, какие-то монетки, что ли.

— А вот и он! — радостно воскликнул директор.— О, даже чайник принес. Вот это молодец! Так вот, Кларочка, сейчас я вам покажу, что у нас в Каракумах называлось пограничной заваркой: берется крутой кипяток (директор пощупал чайник: "Ничего, сойдет!"), сыплется в него пригоршня черного, как он раньше звался, фамильного, чая (он достал цветастую жестянку — всю в пальмах, китайцах и цаплях, открыл, отсыпал в ладонь добрую половину ее, потом посмотрел и прибавил еще щепотку), ставится все это минут на пять на горячие угли. Он подошел к тумбочке в углу, включил электрическую плитку и поставил на нее чайник. В это время Клара и сунула мне в руки то, что они рассматривали. Это были кружочки желтого металла величиною с пятак.

— Что же это такое? — спросил я.

— Это ты нам должен объяснить, что это такое, — жизнерадостно крикнул директор из угла. — Вот мы, например, думаем все, что это золото, а ты как?

— Это вы принесли? — спросил я Родионова.

— Так точно-с, — поклонился он. — Рабочие с кирпичного дали. Нашли-с где-то...

— Где?

Он пожал плечами.

— Где-то на охоте были, там и нашли-с.

Донельзя меня взрывала его мягкость и обходительность, эти неожиданные шипящие "с", так и извивающиеся в его голосе. Но я ничего не сказал, только отошел к окну.

Директор вернулся к столу, поставил чайник и сказал:

— ...И маленькую-маленькую щепоточку соды для разварки. Вот такую!

— Ой, — сказала Клара, глядя на него с испугом.— Соды?!

— Крохотную, такую, что даже не заметите, — заверил директор. — Теперь можно пить.

Он вынул из нижнего ящика и поставил на стол две пиалы — одну себе, другую кладоискателю, потом достал непочатую пачку сахара и положил на стол.

— Ну, а вы, товарищи, здешние, — сказал он, — у вас чашечки должны быть свои, тащите их сюда. Кларочка, вы ведь за чашкой наверх пойдете? Так притащите мне Петьку, а то забрался он на свою верхотуру и никак его оттуда не достанешь. Так что же, это не золото, хранитель?

Я взял бляшку в руки. Да, может быть, и золото.

— Не знаю, — сказал я. — Надо попробовать. А так что скажешь? Видите, как они расплющены, их, наверно, под трамвай клали.

— Ладно, давай их сюда, проверим. — Директор собрал бляшки и бросил в ящик стола. — Теперь вот какое дело. Вот мы договорились с товарищем Родионовым, он опытный резчик, предлагает нам свои услуги в части разных художественных работ.

Я пожал плечами: а какое мне дело до его художественных работ, у меня резать нечего, у меня клеить надо.

— Работы мы его видели, — продолжал директор, с нажимом повышая голос и глядя на меня. — Вот я и думаю: неплохо было бы заказать в твой отдел две-три объемные диорамы. А-а! Вот и он, наш знаменитый электротехник, стащила его все-таки Клара с кумпола. Садись, Петр, это и тебя касается. Вот, Петр, мы хотим сделать несколько диорам, так надо будет продумать освещение — простое, эффективное и доступное для посетителей: нажал посетитель кнопку — и все загорелось, заблестело, задвигалось. Понимаешь?

— Понимаю, — уныло ответил Петька. — Что ж, там у Клары Фазулаевны лежат сотни две лампочек

от фонарика ”гном”. Вот их и можно приспособить, только раскрасить надо.

— Ох, халтурщики, ох, лентяи, — страдальчески сморщился директор. — Да лампочку от фонарика я и сам ввинчу. Обмозговать это дело надо! Обмозговать со всех сторон, чтоб было просто и удивительно! Чтоб народ ахал! Чтоб толпы стояли! Вот что нужно. Изобретатель ты таковский, понял?

— Ну так что ж, — пробормотал Петька. — Можно. Вот у Клары Фазулаевны...

— Ой! Даже разговаривать не хочется! Так вот, товарищи, — ты и ты! — Директор ткнул пальцем в меня. — Обдумайте все это дело, чтобы все было как следует. А ты не морщись, не морщись, хранитель, это тебя больше всех касается. Почему? А вот потому! Очень просто — по-то-му! В твой отдел и зайти-то, по совести, неприятно. Что там у тебя есть? Черепок, да земли кусок, да битый горшок. Вот и все. А знаешь, что мы можем сделать? Товарищ Родионов, скажите ему, что мы можем сделать. Вот что вы сейчас мне предлагали, скажите ему.

— Охота на мамонтов, согласно академику Васнецову, — прогудел старик.

— Вот! — крикнул директор и ткнул в меня пальцем. — На заднем плане из ямы голова мамонта, хобот поднят, клыки торчат! А вокруг носятся люди в шкурах с дубинками. Понимаешь? И все это освещено заходящим солнцем.

— Можно сделать еще мастерскую топоров в пещере и вечный огонь, — сказала Клара.

— Молодец, Кларочка, — похвалил директор. — Понял? Слышишь, хранитель? Пещера, в ней вечный огонь, и сидит старуха, лепит горшок. Вот это панорама! А пламя от костра неровное, все время меняющееся, с дымом. Это, осветитель, уже твое дело, там у вас какие-то вращающиеся цилиндры, я слышал, есть. Вот и ородуй. Так, товарищи. Кто еще будет чай пить, пока не остыл? Кларочка, Петр, хранитель, товарищ Родионов? Кому чаю пограничной заварки?

Никому? Ну, тогда пока расходимся. — Он подошел к старику и похлопал его по плечу. — И насчет раскопок еще поговорим. Вот хранитель мне все расскажет. Я его уж расспрошу. Ты не смотри, что он такой, он парень с головой. — Он подмигнул мне. — Корчаги, говоришь, пустые стоят? Пусть берет корчаги, нам все пригодится. А кроме того, у меня с вами еще один разговор имеется. Вы звякните-то мне сегодня по домашнему. Ведь надо еще и с колхозом поладить.

Однажды под вечер, когда я сидел на своей вышке и пыхтел над последними карточками и последними экспонатами, ко мне влетел Корнилов и рухнул в епископское кресло — одно из них я вырвал для себя.

— Что случилось? — испугался я.

Он отмахнулся, придвинул графин и выпил, не отрываясь, два стакана, потом обтер губы и стал жаловаться и ругаться. Жаловался он на то, что ввязался (или был втянут, так я хорошо его и не понял) в совершенно безнадежное, бесполезное и даже бездарное дело.

— Что мы с вами делаем в горах, землю копаем! Капусту сажаем! — обрушился он на меня. — Так не работают и не раскапывают. Ведь ничего нет, ничего: ни плана работ, ни сметы, ни штата, ни открытого листа. Черт его знает, кто работает, как работает и для чего работает. И спросить не с кого. Десять мужичков с базара с поденной оплатой — и весь штат. Захотели — пришли, захотели — ушли. Хищнический налет это, игра в казаки-разбойники, а не раскопки. Руководящей окаменелостью, — сказал он, — служат осколки старого горшка, и раскиданы они по всему колхозу, где разрыхлишь землю — там и они. Где же что искать? Крепость? Это не крепость, а просто старая кирпичная кладка, и лет ей не больше ста.

— А клады? — спросил я.

— Да что клады? Что вы мне все время толкуете про клады? — заорал он на меня. — Кто нашел, тот нашел, а кто не нашел, так еще сто лет впустую прокопается — вот и все, спрашивать-то не с кого. И вообще, — закончил он вдруг с внезапной злобой, — долго ли будет научной работой республиканского музея командовать отставной комбриг! Это же вам не дивизия все-таки, дорогие друзья, а наука. Надо же знать край!

Все это было очень неприятно выслушивать, и у меня так и вертелся на языке вопрос: "Да тебя-то кто неволит? Не нравится — подай рапорт, слезай с гор и садись со мной писать карточки". Но я молчал и только слушал. Но вот это-то и раздражало его больше всего. Он вдруг ударил кулаком по мраморному столику и выкрикнул несколько негодующих фраз. Их можно было отнести и к директору, и ко мне, и к раскопкам, и к музею в целом, и вообще ко всему чему угодно. Он понял это, вдруг спохватился и оборвал себя на полуслове.

— Ну, ладно, — сказал я и подошел к шкафу. — А про это что вы скажете? — И поставил на стол коробку с бляшками.

Он хотел что-то ответить, но тут вошел дед-столяр. Карман брюк у него слегка отдувался, а сам он уже был навеселе.

— Ну, граждане ученые, — сказал он, опускаясь на шатучий железный стульчик. — Кончен бал, огни потухли, пора и вам по домам. Я внизу уже все закрыл.

— Вот что, дед, — сказал я, придумывая, как от него отделаться. — Шкаф-то, оказывается, не заперт, придется тебе за ключом сбегать, а то ведь золото тут, червонное.

— Да оставь, оставь тут, — сказал дед пренебрежительно. — Все цело будет. Кому они нужны, пятаки твои? В них и золота-то на гривенник.

— Нельзя, дед, — ответил я. — Драгоценный металл это, не положено.

— Драгоценный, — сказал дед насмешливо. — Вот у меня драгоценный металл в кармане, это да! — Он вынул из кармана бутылку и поставил на стол. — А закуска у тебя есть?

— Так вот эти бляшки, — сказал я, поворачиваясь к деду спиной и не замечая его пол-литра. — Вы их уже видели?

Корнилов кивнул головой.

— Показывал Родионов.

— Так значит находится где-то поблизости могильник, и, очевидно, богатый могильник, женский. Ведь все это части какого-то женского украшения.

Корнилов покосился на меня.

— Были, — проворчал он, — были частью украшения; раз эти штуки у вас на столе — значит, они были да сплыли. Сейчас на их месте пустая яма с косточками. Все остальное унесено.

— Это не факт, — сказал вдруг дед твердо, — унесли бы, так это не принесли бы. А раз они здесь, то значит верно Родионов говорит, что их где-то в ручейке подобрали.

Корнилов удивленно посмотрел на деда. Я рассмеялся. Дед вечно был в курсе всех наших дел. Он все видел, все слышал, все чуял. Даже когда Клара отлучалась ко мне, позабыв запереть шкаф со спиртом, дед уж был тут как тут, он стоял около шкафа, ворчал и орудовал. И склянка у него откуда-то появлялась, и воронку он находил тут же, и все у него было в аккурат.

— Вот дед правильно сказал, — засмеялся я, — логика у него железная: знали бы люди, откуда эти бляшки, не отдали бы их задарма первому встречному. Я тоже думаю — могильник этот не тронут.

— Так где же он, — быстро спросил Корнилов, — где? Скажите, так я сразу туда побегу с лопатой.

Я развел руками. Да, где он — в этом все и дело!

— Ну, вот то-то и оно-то, — вздохнул Корнилов. — Эти клады, дорогой, заговоренные, в руки они так не даются.

Он вздохнул и взял бляшку в руки. И тут я увидел нечто очень странное. Длинные пальцы Корнилова вдруг сделались какими-то необычайно бережливыми, чувствительными, чуткими. Он действительно чувствовал всей кожей, всеми кожными сосочками кончиков пальцев. Он как бы просветил эту бляшку насквозь, выявил то, что было стерто временем, погибло под ударами молотка, казалось — исчезло навсегда. Его пальцы бегали, нащупывая незримые следы очертаний и рельеф рисунка, бляшка заговорила формой, весом, шлифом поверхности, своим химическим составом. Лицо его было по-прежнему неподвижно, хмуро, и только, пожалуй, выражение какой-то сосредоточенности, похожей на легкую задумчивость, вдруг появилось на нем. Я не мог отделаться от впечатления (и потом, когда я вспоминал, оно становилось еще сильнее и сильнее), что Корнилов чувствует незримую радиацию, звучание, разность температур, исходящую от этой крошечной пластинки. Наконец он положил ее на стол.

— Да, это очень любопытно, — сказал он. — И вы, вероятно, правы, это именно часть женского украшения. Может быть, такая бляшка нашивалась на одежду, как аппликация, а может...

И в это время погас свет.

— Здавствуйте пожалуйста! — сказал дед крепко. — А если б я сейчас пил?

— А что это? — воскликнул я.

— Да Петька со светом там, — сказал дед. — Набрал лампочек, выкрасил их как дурачок и вот сидит любуется, пробки жжет. Сколько раз я ему говорил — одни смешки! Смешно дураку, что сумка на боку, идет и потряхивает. У тебя на чердаке сидит! Что, не знал разве? Уж неделю оттуда не слезает, приспособил там себе какой-то агрегат из фанеры и сидит, пережигает пробки. А ну-ка пойдем, посмотрим...

Петька у меня на чердаке! Ничего хорошего мне это, конечно, не сулило. Я нащупал дверцу шкафа, открыл ее, вынул две свечи, зажег их и сказал:

— Пойдем посмотрим.

Мы спустились вниз, вышли на улицу, вошли в другую дверь. Она вела в большое пустое помещение (все думали, что тут раньше работали просвирни), взобрались по пожарной лестнице на колокольню, там пролезли в большую дыру у стены, и, когда добрались до второй площадки лестницы, свет опять зажегся. Но на чердаке было темно, и в этой темноте горели огненные гирлянды, голубые созвездия, целые кучи вспыхивающих и погасающих огоньков. Они были всех цветов: синие, желтые, зеленые, фиолетовые, красные, оранжевые, и так много было их, этих мельчайших, ярко светящихся звездочек, точек и кружков, разбросанных по всем концам чердака от пола до крыши, что мне показалось, будто все помещение наполнилось роем летучих светлячков или фосфорических бабочек. Огоньки жили. Одни тухли, другие вспыхивали, электрическая дрожь пробегала по гирляндам, и все время, качаясь, вспыхивала и гасла большая рогатая ветка, свешивающаяся с потолка.

— Петя, ты что делаешь? — крикнул я.

— Пробки жжет, — пробасил дед.

Светлячки разом мигнули, погасли. Наступила полная темнота, и вдруг зажегся яркий, ослепительно белый, какой-то наглый свет. Везде около потолка были ввинчены яркие лампы. Петька растерянно стоял посредине, вокруг были разбросаны банки красок, куски фанеры, оторванные от посылочных ящиков и расчерченные во всех направлениях, провода, батарейки.

— Ты что тут делаешь, Петя? — повторил я. Он сконфуженно усмехнулся и наконец объяснил.

— Да вот директор приказал. Для панорам лампочки привинчиваю.

— Так ведь у тебя мастерская есть, что ж ты сюда-то залез? — все еще не понимал я.

Петька молчал.

— Нет, верно, Петя, почему ты не у себя?

— Изобретатель, — презрительно проворчал дед.

А Корнилов только усмехнулся и покачал головой.

— Да там ко мне все люди ходят: то исправь, там посмотри, — сказал Петька, виновато отворачиваясь. — Директор говорит: не сиди там, работать не дадут. Посторонние ходят.

Корнилов вдруг молча повернулся и пошел к выходу.

Я догнал его уже внизу. Он прыгал через три ступеньки.

— Черт ее знает что, — сказал он, останавливаясь, — дед с водкой, Петька с лампочками, вы с этими бляшками, не музей, а цирк, и я с вами тоже, дурак, а законной бумажки от музея все нет и нет. Завтра председатель вызовет меня и надает по шее... Что тогда делать будем?

— Ничего, — сказал я. — Поезжайте к себе. Я завтра пойду к директору. С колхозом мы поладим быстро.

С колхозом мы поладиди очень быстро. Нам даже не пришлось выправлять открытый лист. На другой же день бригадир Потапов прислал в музей отношение за подписью председателя: нам предоставлялось право копать, пролагать шурфы, снимать землю слоями — все это в окружности на полкилометра, по обеим сторонам дорожного холма.

Директор достал откуда-то две брезентовые палатки, потом дед привез "титан" и водрузил его перед "станом". Корнилов набрал рабочих, и экспедиция задышала, запылила, заработала. Без всякого, пока, правда, толку. Рабочих Корнилов набрал молодых, здоровых, они постоянно около палаток играли на гармошке, пели и смеялись. Я мог посещать экспедицию только в выходные дни. Все остальное время приходилось работать в музее. Мы готовились к новой экспозиции: надо было смонтировать, выставить и написать текстовки почти к пятистам экспо-

натам. Это была чертовская работа, проделывал я ее один. Корнилову было не до меня. У него все еще висело в воздухе. Директор никаких приказов об экспедиции не подписывал, а попросту распорядился отпустить под личную расписку какую-то сумму из статьи ''на приобретение экспонатов''. Я несколько раз говорил ему, что это непорядок, но он только махал рукой.

— Ну пусть хоть что-нибудь найдет, — говорил он, — ну что-нибудь самое маломальское, понимаешь? Я ведь не прошу Венеру Милосскую или там меч Александра Македонского, ну хоть что-то, что-то...

Но прошло уже полмесяца, а Корнилов ровно ничего стоящего не находил: он носился по прилавкам, фотографировал холмы, снимал какие-то планы, иногда вдруг заявлялся ко мне, рылся в моих ящиках, картотеках, фототеке и, ничего не найдя, так же мгновенно пропадал, как и являлся. Я его понимал: он хотел копать без промаха. Ребята и старики водили Корнилова на места находки кладов. Он наносил их крестиками на карту, и под конец весь яблоневый сад стал выглядеть у него как кладбище. Тогда он пришел ко мне, швырнул карту в угол, выругался и сказал:

''Ничего не установишь! Где-то, кто-то, что-то, когдато находил, а где и что — никто точно не знает, все говорят по-разному. Нет, это совершенно не археологический метод''. Но и археологический метод ничего хорошего Корнилову не давал. Во всяком случае, когда я приезжал к нему, то он мне показывал только осколки кувшинов, какие-то странные тесаные камни — не то древние точила, не то остатки жернова. Ему же обязательно хотелось найти улицы, дома, мастерские.

Директор качал головой и говорил: ''Ох, и затянете вы меня в историю, я уже чувствую''. Но приказа о прекращении работы не давал и денежных отчетов тоже не спрашивал. Может, просто потому,

что было не до этого: оформлялся вводный отдел, и в нем находилось все, что полагается иметь "Уголку безбожника", — языческие кресты, слезоточивая чудотворная икона, таблицы, история креста и происхождение человека, всемирный потоп в легендах и в действительности, портрет Галилея, а под ним место для большой диорамы.

В это время мне впервые сказали, что в музее появился собственный скульптор. Говорили, что это очень странный человек — маленький, горбатый, чахоточный, кудрявый. Он живет не в городе, а в большой станице и работает в артели "Художник" надомником — кажется, вырезает какие-то сувениры. Разыскал и привел его к нам Родионов. Директор поговорил с обоими, потом вызвал Клару и приказал выдать "нашему скульптору", как он пышно представил горбатого, материалы — бархат, шелк, слоновую кость и вообще обеспечить всем нужным.

— Я вас очень прошу, Кларочка, — сказал директор, — проследите, чтобы ни в чем не было недостатка. Два историка у нас, а толку от них... — И он махнул рукой.

Так передавал мне по крайней мере Петька, который присутствовал при этом разговоре. А однажды пришел ко мне директор и молча сунул черный конверт из-под фотобумаги. В конверте была пачка каких-то совершенно непонятных мне снимков: черный фон, а на нем лучи, лучики, какие-то полоски.

— Ты не то, — сказал директор, — ты заключение смотри.

Заключение лежало тут же. "Пробы присланного металла, — писал металлургический институт, — являются химически чистым золотом. Примеси незначительны и случайны... Примерное соотношение таково... Более точные цифры мог бы дать количественный анализ".

Я бросил заключение на стол.

— Значит, правда — золото. Это, конечно, очень интересно. Но все равно история с бляшками по-

прежнему и темна и загадочна. Откуда они? Что они? Кто их нашел? Где? — Директор коротко развел руками. — Да вообще, честно говоря, не нравится мне все это. Очень, то есть, не нравится. Гуляет где-то золото. Сколько его? Что оно? Откуда оно? Ясно, что разрыт какой-то курган, а где, что — неизвестно. Ну, как вот в таком случае поступать? Такие ведь истории должны быть предусмотрены. Что делать-то? В милицию, что ли, звонить?

Я пожал плечами.

Он помолчал, подумал.

— Ну а твой что там делает? Нащупал хоть что-нибудь?

— Так скоро дело не делается, — ответил я. — Если в этом году мы хоть составим ориентировочную карту, то и это будет уже хорошо. Но вероятнее всего — город был именно там.

— Почему так думаешь? — быстро спросил директор.

— Место уж больно подходящее. Подход узкий, затрудненный. Трава. Вода. Река. Видимость прекрасная — если с цитадели смотреть, то верст на пятьдесят вокруг видно. Вот эти цитадели в первую очередь и нужно нащупать. Фундамент-то, вероятно, сохранился.

— Так, так. — Директор постукал пальцами по краю стола. — Так, так, — посидел, о чем-то подумал и сказал: — Цитадели! А вот мне Корнилов рассказывал, что есть где-то старинная такая запись: "Кошка может бежать от города Тараза[1] до города Самарканда по крышам и ни разу не коснуться земли". Правда, было так?

Я рассмеялся.

— Ну, вряд ли следует понимать эту несчастную кошку слишком уж буквально. Но то, что тысячу лет тому назад на месте этих степей и песков стояли цветущие города и села, — это, конечно, так.

---

[1] Теперь город Джамбул.

Директор грустно покачал головой.

— Да! А сейчас едешь-едешь трое суток — и ничего! Ну ничего! Одна раскаленная земля да белая травка на ней — все! Да ночью еще желтое зарево над землей: в солончаках казахи камыш жгут. И куда все ушло? Пески пожрали? Ветром сдуло? Или, как вы говорите, климат изменился и жара все спалила, а? Что было-то?

— Люди были! — сказал я. — Нагрянули чужие люди, сожгли город, разрушили канал. Жителей — кого убили, кого увели, а кто сам убежал. И вот вода ушла, песок пришел, и все. Дело-то нехитрое.

— Да, простое, простое дело, — покачал головой директор. — То есть такое уж простое, что дальше и некуда. Пришли. Сожгли. Ушли. Вот и вся история этих мест за тысячу лет. Весь потаенный смысл ее, так сказать. — Он посидел, подумал. — Года два тому назад был я в командировке в одном степном совхозе, по партийному делу ездил. Ну, ничего не скажешь. Тот совхоз! Блогоустроенный, прибыльный... Степь, а везде сады-садочки, зелень, школа-десятилетка, клуб двухэтажный. Директор — из коренного местного населения. Он за эту землю, знаешь, зубами держится. Вот однажды, уже перед самым моим отъездом, сели мы с ним выпивать. Ну, парторг пришел, дыню с пуд весом в мешке притащил, вина бутылки три. Сидим, разговариваем. Смотрю — стоит на шкафу голубая чашечка. Под солнцем так и светит, так и горит. А в двух местах, по краям и на боку, у нее аккуратные металлические скобочки. Подошел я, взял ее в руки, а хозяин и говорит: ”Осторожно! Знаете, сколько этой чашечке лет? Тысяча”. Ну, я теперь к твоим тысячам попривык уж немного. Камню твоему — тыща, черепку — тыща, а белой акации так все три, а тогда чуть не упал. ”То есть как это, спрашиваю, тыща? Откуда же она?” — ”Да отсюда же, — отвечает. — Ребята из земли вырыли, вон видите, лопатой задели краешек? Ведь тут у нас, где пахота да арыки, — огромнейший

город стоит. Один из самых больших городов в Азии. Дворцы. Бани. Сады. Короче — город Отрар. В нем Тамерлан умер. Тогда его воины и город разрушили". Просто ведь?

— Да, — ответил я, — просто.

Директор подумал, вздохнул и сказал:

— Ну, ладно, ищите, ищите свою цитадель. Будем восстанавливать историю края. Мы же музей!

Раздался стук в дверь, и появился Потапов. Он был в извозчичьем брезентовом плаще и почему-то с кнутом в руке.

— Здравствуйте, — сказал он. — Можно?

— А, входи-входи, хозяин, — заулыбался директор. — Ты ж теперь наш хозяин, — продолжал он, усаживая Потапова на диван. — Ну а то как же, у тебя молодые люди землю роют, только найти ничего не могут. А может, это только так, для отвода глаз? Может, они уж целый котелок золота там накопали?

— Они накопали, — заговорил Потапов, загораясь. — Они там ничего... — Но наткнулся на мой взгляд и осекся. — Они там ничего работают, — сказал он, спадая с тона. — Похаять не могу, ничего. А меня вот, — он полез за пазуху, — на весь Союз прописали.

— Как так? — мы оба вскочили с места.

Потапов торжественно вынул из кармана плаща сложенную вчетверо газету и протянул директору. Это был вчерашний номер "Казахстанской правды", который я еще не успел посмотреть.

— Ну-ка, ну-ка, — сказал директор. — Читай вслух, хранитель, а то у меня голова что-то...

Статья была напечатана на развороте и называлась "Гость из далекой Индии". Когда я прочел заглавие, директор вдруг рассмеялся.

— Ох, интересно, — сказал он и потер руки, — читай-читай, хранитель. С чувством, с толком читай...

— "Еще с прошлой осени ходила по колхозу "Горный гигант" молва об этом по меньшей мере не-

желанном госте. Кто-то видел его выползающим из большого омета, какие-то ребята в ужасе шарахались по домам, заприметив его, свернувшегося огромным клубком в нескольких шагах от дороги.

А недавно позвонили по телефону.

Видели в саду... Обвился вокруг толстого дерева, выбирает и вмиг проглатывает самые крупные спелые яблоки.

Бригадир колхоза Потапов рассказал:

— Шел я двадцать второго июля. Иду — ни под ноги себе не смотрю, ни в сторону не оглянусь, вдруг как что-то зашипит около меня. Глянул — и обмер. Чуть на хвост огромной змее не наступил. Ползла она через тропинку. ...Из себя черная. Длиной добрые четыре метра. А толста, как ствол средней яблони".

— Врет, — прохрипел Потапов. — Ничего этого я не расписывал. Четыре, не четыре — ничего не говорил! Говорил — громаднющая.

Я продолжал:

— "Без памяти метнулся я назад, забрался в садовый балаган и целый час от испуга пошевельнуться не мог".

— Ай да герой! — крикнул директор в восторге. — Вот утешил так утешил. А говорит — при царизме полного Георгия имел.

— Да вранье, вранье, чистое вранье! — налился кровью Потапов. — Сам все из своей головы придумал.

— "Белее стенки был, — подтверждает находившийся в то время в балагане колхозник Завалюев".

— Ах ты черт!.. — Директор так обрадовался, что даже с места соскочил.

— Да ведь вранье же, вранье! — опять закричал Потапов.

Директор махнул рукой.

— Ладно... Читай-читай, хранитель, что дальше-то.

— "По словам Луценко, Завалюева и других, гигантскую змею видел не так давно Василий Гутов из той же бригады.

Сопоставив все эти факты и свидетельства многих лиц с участившимися в последнее время случаями исчезновения кроликов и кур...”

— Молодец заведующий фермой, — сказал я. — Кролики — это вещь.

— Особенно под водку, — кротко согласился примолкший Потапов.

— ”По мнению ученых, змей мог перезимовать в пещере, находящейся недалеко от Алма-Аты и обнаруженной в 1910 году жителем поселка Малая Станица Ганжой. Пещера эта велика и обширна — она тянется на много километров...” Ну, тут дальше про пещеру. Все.

Наступило молчание.

— Вот что, Иван Семенович, — сказал директор вдруг строго. — Тут уж всякие шутки в сторону. Ты что, действительно в него стрелял?

Бригадир изумленно промолчал.

— Да ты видел его или нет?

— Ну вот, как вас, — ответил Потапов тихо. — Как вас — вот так же и его видел. Большой, черный, ползет по траве так, что лопухи дрожат. Это правильно, правильно, верьте.

— Верю, — ответил директор. — Раз так говоришь — значит, верю. Ну, значит, и все. И не бойся тогда ничего. Раз есть, так есть. Так всем и говори! А газетчика этого поймай где-нибудь да и...

Глава четвертая

Шли дни, и что-то очень странное начало происходить в музее. Я не сразу даже уловил, что же именно. Но как-то само собой получалось так, что все, что мы считали в своей работе главным: реконструкция отделов, сбор материалов по истории гражданской войны, раскопки и даже инвентаризация — все это вдруг отодвинулось куда-то в сторону.

В "Горном гиганте" вот уже второй месяц сидел Корнилов и только каждую неделю приезжал к нам с отчетами, планами и рапортами; отчеты были неутешительны (опять те же черепки и наконечники стрел), рапорты же почти повторяли друг друга. Что же касается отдела гражданской войны, то еще весной позвонил мне составитель книги "Октябрь и гражданская война в Казахстане" и спросил, не хочу ли я написать очерк о... И тут он назвал фамилию одного из первых членов Верненского ревкома. В музее мы этого человека знали по фамилии и понаслышке. Ни в экспозицию, ни в текстовки он не вошел. Нам это попросту не порекомендовали. (А впрочем, кто, кто не порекомендовал-то? — мы даже и этого не знали, были какие-то намеки, слухи, а проще говоря, было обыкновенное умалчивание, но оно и действовало вернее всего.) А человеком-то герой этот был интересным, одной из тех личностей, которые рождаются только во время войн, мятежей и революций.

Был он казахом с почти русской фамилией и русским (кажется, начальным) образованием. Документы обрисовывают его как смелого, безудержного и волевого человека. Деятелен был чрезвычайно, инициативен — вероятно, более чем нужно. Он исчез сейчас же после установления Советской власти в Семиречье при обстоятельствах неясных и загадочных.

Я давно заинтересовался этим человеком и поэтому ответил, что написал бы о нем с удовольствием, но материал-то где мне взять? Кроме выписок из официальных документов да личного дела (листок!), у меня ничего нет. Так я и ответил составителю.

— Да вот поэтому я вам и звоню, — засмеялся он. — Мы ведь жену его обнаружили! Очень много интересного рассказывает, у нее даже и документы кое-какие сохранились. Так если желаете, я пришлю ее к вам, вы нам тогда и очерк напишете. Ну как же, как же! Крупная фигура, революционер, личный друг Куйбышева.

Я, конечно, согласился и что-то около недели просидел над этим делом: стенографировал, заказывал снимки, рылся в архивах, сверял документы, диктовал на машинку. Статья была сдана в редакцию и пролежала около полугода, а потом ее послали в типографию, и я уже читал первую корректуру, и вдруг мне позвонил тот самый составитель и спросил, что делать с материалом, который я как-то занес в редакцию, — сам ли я к ним зайду или прислать мне его с курьером.

— А что такое, — спросил я, — разве вас в нем что-то не устроило?

— Да нет, не в том дело, — ответил он очень неохотно. — Вы что? В музее этого, так сказать, деятеля представили каким-нибудь материалом? Портрет его, что ли, у вас там висит?

Я ответил, что портрет у нас его не висит, да и материала нет, но все-таки никак не пойму...

— А газеты вы читаете?.. Ну чего там еще вы не поймете! — раздраженно сказал он в трубку. — Как маленький, ей-богу... В общем, приходите заберите все это.

И даже не повесил, а просто бросил трубку.

Я рассказал обо все этом директору. Он слушал меня и все ходил и ходил по кабинету. Потом вдруг остановился посредине и сказал:

— А послал бы ты всех их знаешь куда?.. Только сам не ругайся. Ты сделал, что тебе заказывали? Сделал! Точно все записал? Точно! От себя ничего не прибавил? Ну и отлично — давай нам всю статью. Я тебе как-нибудь оплачу.

А потом еще позвонил кому-то по телефону, сел, подумал, пожевал губами и спросил:

— А портрет его еще не висит?

Я покачал головой.

— Ну и хорошо, подожди пока. Я еще поговорю кое с кем. А пока давай заниматься вводным отделом. Это сейчас наше самое большое дело. Ты знаешь, сколько я на него времени и денег трачу?

8 166

Да уж что говорить, денег и времени на этот тихий, мирный отдел директор тратил, не жалея, — и отдел разрастался и расцветал все больше: работали художники, скульпторы, резчики по дереву, появились красочные таблицы, бюсты антропоидов, макет пещерного медведя и макет саблезубого тигра. А однажды мне показали что-то совершенно необычайное.

Позвонила мне Клара и попросила, чтобы я зашел к ней. Я спрятал свои таразские орнаменты (мы их фотографировали для Эрмитажа) и взбежал по лестнице в отдел хранения. Там было тихо, темно и прохладно, как и всегда. Клара дневного света здесь не терпела. Окна у нее были постоянно задрапированы коврами. ”Свет — мой самый страшный враг, — говорила она, — он прожорливее моли”. А жрать здесь, по совести говоря, было что: китайские акварели, легчайшие расписные ткани, персидские миниатюры (”словно бабочки сказочных стран”), золотые византийские и каирские пергаменты.

Человек пять собралось вокруг китайского лакированного столика. Они что-то рассматривали. Горело несколько карманных фонарей.

— Вот и он, — сказал директор обрадованно. — Хочешь увидеть суд в подземелье? Тогда смотри.

Оказывается, фонарики освещали диораму. В ящик из-под посылки были вмещены готические своды, высокие стрельчатые окна с разноцветными стеклами, длинный стол под черным покрывалом и монахи за ним. На возвышении стоял пурпурный кардинал, а рядом внизу некто в колпаке и в черной маске. Два солдата в панцирях с алебардами вытянулись около двери, окованной железом. Все это окружало центральную фигуру. Безусловно, то был Галилей, наигалилейший Галилей из учебника физики для шестого класса. Те же известные всем большие, умные глаза, бородка лопаточкой, сорочка с белым воротничком. Галилей гневно показывал ру-

кой на потолок, а около ног его валялись кожаные фолианты. Наверху ящика была металлическая дуга и в ней славянская надпись: "А все-таки она вертится. Г. Галилей".

— Ну, как? — спросил директор. — Понравилось?

"А к чему нам это", — чуть не вырвалось у меня. Но Клара как-то по-особому посмотрела на меня, и поэтому я ответил:

— Что ж, хорошо. Конечно, только надпись бы сделать иным шрифтом — готическим, что ли.

— Я ее могу вытравить на стали, — сказал около меня какой-то мягкий и гибкий голос. Я обернулся и увидел очень странного человека, узкие плечи, куриная грудь — пиджак аккуратный и твердо отглаженный, мальчикового размера, тонкая, сильная рука с красивыми длинными пальцами. Голова у человечка была вся в мелких жестких кудрях — каждая куделька отдельно. А лицо маленькое, хрупкое, не то кошачье, не то хорьковое; когда мне говорили о нем, он мне почему-то представлялся совершенно иным — может быть, горбатым, может быть, уродливым, но мощным и широкогрудым, как Квазимодо, а сейчас передо мной стоял маленький человек — щуплый и тонкий.

— Это сочинения Галилея — его заставляют отречься от них, — любезно объяснял человечек.

Меня все это начало здорово злить — что за балаган?

— Раз, два, три, шесть, — сосчитал я, — товарищ дорогой, да при ваших масштабах каждая такая книжка — это годовой комплект "Известий", а все вместе взятое — это примерно раз в сто больше, чем Галилей сумел опубликовать за всю жизнь.

— Ой, хранитель, — пропела Клара. — Да разве в этом дело?

— Экспонат должен быть нагляден, — изрекла массовичка.

— И потом, цветные витражи тут ни при чем, — продолжал я. — Вот тот в маске — он что? Палач?

Ну так как же он попал в собор? В таком одеянии? Вы же смешали два события — допрос Галилея и его отречение.

— Тогда стол можно снять, — согласился маленький человек ласково. — Но не пострадала бы наглядность.

— Безусловно, безусловно, она пострадает, — подхватила массовичка. — Экспонат должен воспитывать посетителя, он...

Она говорила с минуту. Директор послушал ее, а потом обратился ко мне:

— Ну, говори, говори, хранитель, что еще?

Я махнул рукой.

— Клара Фазулаевна, вы как будто что-то... Нет, ничего? Так. Значит, голосуем: кто за приобретение этого экспоната? Единогласно. Значит, панораму мы берем с обязательством внести поправки. А поправки будут вот такие, — обернулся он к человечку, — стекла оставьте, так, верно, красивее. А вот книги с пола уберите, уберите. Вы посмотрите, что получается. Ведь он Библию топчет. Ну, раз толстенный томище в церкви — значит, Библия. Помните "Спор о вере" в Третьяковке? Ведь точь-в-точь. И надпись другую, конечно, нужно. Напишите попросту, обыкновенными буквами. Ну, все, товарищи.

А проходя, он взял меня за локоть.

— Идем, надо поговорить.

В кабинете он сел в архиерейское кресло и спросил меня:

— Чем же ты недоволен?

— Ну, зачем это нам, — сказал я, — ну, зачем? Галилей вот этот, ну, зачем он? Что мы, планетарий, что ли? Ну, те книги, я понимаю, они подлинники, а это что?

Директор посмотрел на меня и засмеялся.

— Эх, брат, какой ты оказываешься... Значит, культурно-массовая работа для тебя уже окончательно ничего не стоит? Ладно, вот подпиши-ка за председателя. — И он сунул мне акт.

Круглым почерком Клары было выведено: "Закупочная комиссия в составе... собравшись... осмотрев панораму, изображающую исторический факт отречения Галилея, и оценив ее, постановила..."

Я зачеркнул "исторический факт", поставил "сцену" и подписался.

— Исторический факт! Ну это-то зачем было писать? Купили и купили. "Изнемогая от мучений под страшной пыткой палачей, на акт позорный отреченья уже согласен Галилей". Стишок Сысоева из календаря Сытина. И надпись эта: "А все-таки она вертится". Ну к чему это? Ведь накакого "А все-таки" не было.

— Как? — удивленно поглядел на меня директор. — Как же не было? Что ты говоришь? Да разве он не восклицал?

— Вот, — сказал я тежело. — Вот почему палкой надо гнать Ротаторов. Потому, что они внушают своим читателям, что великие люди только и делали, что восклицали: "Эврика!", "Святая простота!" Ну, как оперные тенора. Да до этого ли им было, Митрофан Степаныч! Это же все Ротаторы придумали. А массовички распространили. Для наглядности. Эх, черт бы вас!..

Директор рассмеялся и встал.

— Ну, ладно, ладно, иди и ты к своим кругам. Раз уж до Добрыни-Ротатора дошло — значит, вправду здорово разозлился. Экие вы, однако, литераторы. Ежи! Иди.

...Договорок мы составили, подписали, и художник вдруг пропал. С неделю я о нем не помнил, а потом как-то спросил директора, что случилось с декоратором, не заболел ли. Набрал у меня книг и исчез.

Директор улыбнулся и ответил:

— Нет, он не заболел, а... Но ведь все это у тебя не очень спешно? Так ты потерпи, брат, с неделю. Я, понимаешь, ему одну работу поручил. Тут мы говорили на заседании горсовета, и мне одна мысль пришла.

Я посмотрел на директора. Он улыбнулся, но, видимо, был смущен.

— А что за работа, секрет? — спросил я.

Тут он засмеялся и отвернулся.

— Да какой секрет, так, одна мысль. Сам еще не знаю, что выйдет.

Я не стал его больше расспрашивать, а у Клары как-то спросил, где же ее художник.

— Разве он у вас не бывает? — спросила она. — А я его каждый день вижу. Он и сегодня приходил. Что ж вы молчите? Надо сказать директору.

— Да я говорил.

А на другой день, зайдя ко мне проститься (она уезжала с этнографической экспедицией университета), она вдруг сказала:

— А сегодня утром я пошла к директору, в кабинете его нет. Уборщица говорит, он в художественной мастерской, на колокольне. Поднялась на колокольню, дверь закрыта. Слышу голоса: он и директор. Стучала, стучала, так и не открыли мне. В чем дело?

— Тайна старой башни, — сказал я.

Она даже не рассмеялась.

— А вы видели, какие вчера у директора были брюки? На правой коленке бронзовое пятно в ладонь. Он все тер его авиабензином. Что-то строят они там.

— Да, но что, что?

Она ничего не ответила.

Понял я кое-что через неделю. Вдруг газеты заговорили о новой Алма-Ате, о том, что в каких-то московских знаменитых архитектурных мастерских выработан проект социалистического города у подножия Алатау. Ротатор ахнул статью о набережной из красного гранита, в которой будет заперта ”буйная и вольная Алма-Атинка”, о парках, самых больших в Советском Союзе, о ”величественном здании библиотеки”, о том, что на месте бывшего пустыря (здесь стояли казачьи казармы) встанет могущественное куполообразное здание, — не то обсервато-

рия, не то планетарий, не то художественная галерея Казахстана — мраморная юрта на сорок метров.

В следующем абзаце он уже писал о нашем музее, о том, что давным-давно пора ему вылезти из собора и повернуться лицом к современности. Собор ни Ротатора, ни директора не устраивал. Потом я узнал, что на этот счет директор имел уже несколько ответственных разговоров, что у него была какая-то встреча в верхах и какой-то разговор с Москвой. Но все это — и встречи, и разговоры — проходило где-то очень далеко от нас. Со мной директор ничем не делился. Почему — опять-таки не знаю. И только раз я увидел что-то из этой области. Директор позвал меня к себе, запер дверь и развернул передо мной какой-то, как мне показалось, многокрасочный плакат или рекламу, нарисованную на листе ватмана.

— Смотри, — сказал он, — узнавай.

Я стал смотреть и узнал наш парк, тот угол, который каждый день вижу из окна своей колокольни. Только теперь в аллеях появились пальмы, а на площади вдруг забил огромный бронзовый фонтан. Цвели нарциссы и ирисы. Пара красавцев — он и она — сидели, обнявшись, на лавочке. Но самое главное было здание музея. Это было что-то сверкающее, многооконное, какой-то призматический куб из стекла и стальных перекрытий. От множества окон здание это выглядело фестончатым, как крылья стрекозы. К нему примыкали какие-то галереи. По углам его стояли арки, а на самой крыше этого куба торчала башня с флагом.

— И вам не жалко собор? — спросил я.

Он удивленно посмотрел на меня.

— Вот еще! Этот клоповник, поповскую пылесобирательницу эту жалеть? Да что ты...

Я промолчал. Что и говорить, все тут, очевидно, отвечало последнему слову строительной техники.

— А на крыше что? — спросил я.

Он рассмеялся.

— Что ж ты не узнал свой будущий археологический отдел? Вот там будешь сидеть со своими камнями, а мы с Кларой вот куда поместимся.—И он показал на огромные, как ворота, окна нижнего этажа.

И тогда зачастил в музей этот маленький, вежливо улыбающийся человек, но теперь он был непроницаем и замкнут, как и тот английский фибровый чемоданчик, который он постоянно таскал с собой. Со мной скульптор только раскланивался. Появлялся он всегда в самом конце дня, вежливо здоровался со всеми, потом останавливался перед кабинетом директора и деликатно стучал в кожаную архиерейскую дверь одним ноготком. Дверь перед ним открывалась тотчас же. Директор, усталый, распаренный, но большой и добрый, стоял на пороге и благодушно повторял: "Жду, жду, пожалуйста", — и наклонялся, слегка обнимая его за плечи. Затем дверь закрывалась, скрипели стулья, что-то вынималось из чемоданчика и раскладывалось на столе, начинался разговор и какие-то обсуждения. Несколько раз, очевидно, по телефонному звонку, к ним приходил и Добрыня-Ротатор, а иногда я слышал его могучий лекторский голос с великолепными вибрациями и переливами. Порой доносилась и какая-нибудь особенно мудрая фраза, афоризм, которому суждено стать пословицей в веках.

Например: "Когда я увидел в первый раз Исаакиевский собор, я сказал: "Да, это окаменевшая соната", или еще круче: "Вавилон погиб, потому что задумал дотянуться куполом до Бога. Но наши флаги и вышки врежутся уже в пустое небо".

Потом эта же фраза, в урезанном, конечно, варианте (без Бога) появилась в газете "Социалистическая Алма-Ата".

— Да объясните же вы ему, дураку, — сказал я директору, — что столпотворение вавилонское и гибель Вавилона — это два совершенно различных события.

Директор вдруг рассердился.

— Не придирайся, это тебе не археология. Поезжай-ка, — сказал он, — брат, лучше в горы, пора закругляться с раскопками.

Я плюнул и больше ничем и интересоваться не стал.

На другой день я уже был в горах.

Глава пятая

Неожиданно кончилось лето. Листья на березах истончились, стали прозрачно-золотистыми, похожими на пластинки слюды. Густой и частый осинник побагровел, поредел, и через него засквозил противоположный прилавок с соседней усадьбой (забор, ворота, зеленая крыша). Повеяло тонким и вязким ароматом, так пахла увядающая трава, тяжелые осенние цветы, омытые ночными дождями, осыпающиеся листья. Они и падали-то теперь по-осеннему — медленно кружась и порхая. Появилось повсюду очень много красного и желтого цвета. Если листья кленов светлели, желтели, истончались и становились почти светочувствительными, то кусты барбариса перед концом наливались багрянцем.

И, заметив осень раз, я стал ее уже находить всюду. Например, спускался я к Алма-Атинке, останавливался на камнях, стоял и смотрел, как она грохочет, крутится и шипит меж камней, и чувствовал всей кожей, какая это ледяная, обжигающая вода. Шел по каменистому песчаному косогору, сплошь заросшему осинником, дудками и аккуратными фестончатыми лопушками нежного лягушачьего цвета, и видел внизу и дно оврага, и сиреневые глыбы на этом дне. А раньше через листву ничего нельзя было разглядеть.

У нас было пять рабочих — два старика, трое молодых. И надо отдать им должное: работали они как черти. Так мы их купили своими байками о кладах. Когда мы рассказывали им о Венере Милосской, о

золотом саркофаге Тутанхамона, о сокровищах Елены Прекрасной, у них загорались глаза и они вскрикивали, качали головами и становились как пьяные. А однажды я рассказал о том, что лет пятьсот тому назад в Риме по Аппиевой дороге откопали красавицу. Она лежала в гробу, но казалась живой. Румянец на щеках, тонкая нежная кожа, длинные ресницы, высокая девичья грудь. На ней был убор невесты. Красавицу перенесли в Ватикан и выставили напоказ. И вот началось паломничество. Приходили из самых дальних мест, и людей становилось все больше и больше. Ходили странные слухи. Женихи начали отказываться от невест и уходить на свидания к гробу. Кончилось все это тем, что по приказу папы гроб опять закопали в землю. Так вторично умерла красавица, пролежавшая тысячи лет в земле.

Когда я кончил рассказывать, Потапов махнул рукой и сказал:

— Ну, спящая царевна. Даже книжка такая есть. ''Пушки с берега палят, кораблю пристать велят''.

— Да нет же, — сказал я, — это не сказка.

— А что же это такое? — спросил бригадир презрительно. — Форменная бабья прибаутка, и все.

А самый молодой из наших рабочих — высокий, белокурый, тонколицый, его звали Козлом — покачал головой и тихо спросил:

— И неужели это все было?

Я сказал: да, было. Красавицу эту видел человек верный и тут же записал все в тетрадку; ни одна из его записей, кажется, никогда не оспаривалась.

— Ведь надо же, — сказал парень, подавленно выслушав меня. — Ведь надо же. Так что же, она вроде как обмерла на тысячи лет или как? Ведь надо же, — повторил парень задумчиво.

— Ну вот ищи, — сказал Корнилов грубовато и насмешливо. — Здесь тоже где-то такая красавица находится. Вот недавно от нее две чешуйки принесли. Значит, лежит где-то, тебя с лопатой дожидается.

И тут же все засмеялись. Так шуткой все и кончилось.

А на другой день к нам опять пришел бригадир Потапов. Он вообще наведывался к нам каждый день — то яблони оглядывал, то приходил смотреть, как косят траву, то где-то близко строилась баня и он приводил техника. А в этот раз он пришел без всякой нужды — через плечо мешок, в руках вилы.

— Ты что это, как водяной бог с фонтана? — сказал я.

Он как будто не расслышал моих слов, поздоровался, махнул фуражкой рабочим и спросил:

— Ну как, работяги, дела? Еще бабу сонную не выкопали? Не там копаете, наверное, глаза вам отводят. Небось дирекция для себя ее сберегает. Здравствуй, профессор.

— Здравствуй, — ответил я. — Что, выпимши?

— А с чего же это я выпимший, — слегка обиделся он. — Я на Май бываю выпимший, на Октябрьскую. — Он облокотился на вилы. — Так, значит, ничего нет? А здесь где-то должно быть золото, должно, это я точно знаю. Здесь при царизме, так за лето до войны, полный котелок с червонцами выкопали. Губернатор приезжал, осматривал, всем медали роздал, потом в газетах об этом писали. Золото Александра Македонского.

(Ну, опять этот проклятый Александр Македонский со своим золотом!)

Бригадир поговорил о золоте еще с минуту, потом встал и взял вилы.

— Вилы-то у тебя зачем? — спросил я.

Он хмуро улыбнулся.

— Значит, надо. — И ушел, ничего не объяснив.

И еще мне запомнился один разговор с ним, и не по содержанию запомнился, а по какой-то странной нервности тона, по той внезапности, с которой начался этот разговор. Я сидел на корточках и щеточкой прочищал черепок. И вдруг бригадир подошел и ти-

хо остановился сзади меня. Я обернулся и увидел его, он стоял, опершись на вилы.

— Здравствуйте, — сказал он печально. — Меня здесь никто не искал?

— Нет, — ответил я удивленно. — А что?

— Да нет, просто так спросил, — ответил он. — Отлучался я сегодня.

— С вилами-то отлучался? — спросил я.

Он усмехнулся, опустил вилы и сел со мной рядом.

— Что газеты-то пишут? — спросил он.

— Разное пишут. Тревожно в мире, нехорошо, — сказал я.

Он вздохнул, вынул папиросную бумагу, насыпал табаку и стал лепить папироску.

— Только ее бы не было, окаянной, — сказал он.— Только бы уж не воевать!

— Боишься? — спросил я.

— Боюсь, — серьезно сознался он. — Не за себя, за детей боюсь. Мы что? Мы свое прожили. Плохо ли, хорошо ли, а спрашивать уже не с кого. А вот ребята-то, вот мой старший кончает техникум — значит, на следующий год ему в армию идти. А начнется война — сразу же его на фронт. А там не то вернешься, не то нет. А что он в жизни повидал? Мы хоть пожили свое, попили водочки, а он ведь ничего не видел, ну ничего! Вот брательник мой пропал, я его не жалею. Нет, совсем не жалею! Виноват не виноват, а он свое отжил. Если где и ошибался когда, то за это и заплатил.

Я вспомнил его рассказ про брата и спросил:

— А он ошибся?

— Он-то? — Потапов вдруг решительно встал и взял вилы. — Ладно! — сказал он грубо. — Что тут попусту языком теперь трепать. Было не было, на том свете разберут. Не было бы, так не взяли бы. — И он выдернул из земли вилы, положил их на плечо и пошел от меня. Пока я смотрел ему вслед, ко мне подошел Корнилов.

— Что это он? — спросил Корнилов.

Я не ответил. Корнилов покачал головой и усмехнулся.

— Вилы зачем-то таскает с собой. Рабочие рассказывают: пошли вчера гулять с гармошкой, ну с бабами, конечно, а он по кустам крадется с вилами и топором, а через плечо мешок.

— А топор-то зачем? — спросил я.

— А вилы зачем? Шут его знает, зачем топор, небольшой такой, говорят. Не топор, а топорик, ну знаете, сучья обрубать.

— Странно, — сказал я, — очень странно...

И еще одно происшествие крепко запало мне в память. То есть само по себе оно ровно ничего не значило, так, мелочь, смешной анекдот. Но я его запомнил потому, что тогда я в последний раз увидел Потапова именно таким, каким он был в первый день нашей встречи в те часы, когда мы сидели под яблоней и толковали об археологии, саранче и судьбах мира.

Два дня до этого я провел в городе, возвратился рано утром на казенной машине и первое, что увидел, вылезая около правления, была спина Потапова. С лопатой через плечо он стремглав несся вверх по дороге.

— Иван Семенович, — крикнул я ему в спину, — подожди, милый человек, куда ты так разогнался, эй!

Он обернулся и зарычал.

— К дураку твоему бегу, дурак-то твой что натворил, он кости чумные раскопал! Там сто лет пропащий скот закапывали, а он всю эту заразу вытащил и скрозь, скрозь по саду разбросал. Вот если бабы узнают!

И побежал дальше. Я догнал его уже у самой ямы. Картина предстала мне очень выразительная. Яма была большая, четырехугольная, полная до краев каким-то косточным крошевом. Рабочие мол-

ча стояли вокруг. Корнилов держал в руках кость. Рядом на траве лежала огромная куча костей — белых, желтых, черных. Потапов шпынял их сапогом и шипел:

— И чтоб сей минут, сей минут! Чтоб ни косточки! Ах ты ученый! — и с размаху вонзил лопату в эту груду.

Через час под яблонями уже ничего не осталось. И только раз Потапов оторвался от работы: это когда Корнилов вдруг швырнул заступ и, что-то бормоча, сердито пошел прочь.

— Ах, бежите, — загремел ему вслед Потапов. — Барин! Белые ручки напаскудили, а работать не хотят. Ах, барин!..

Но тут я его толкнул, и он замолчал.

— А он у нас точный барин, — сказал молодой парень. — Работать никак не любит, только показывает, где копать. Вот они, — и он показал на меня, — сразу видно, без дела сидеть не будут, а наш ученый...

И тут Потапов мне рассказал, что же произошло. Он выделил Корнилову дополнительно для каких-то особых работ по его просьбе еще пятерых парней. Корнилов привел их в сад и приказал раскапывать тот самый холм, что старик пометил стрелкой "Копать тут!", а сам ушел пить чай в колхозную столовую. В этот день ничего не выкопали, а наутро в сторожку Корнилова ворвались два парня, и у одного в руках были сухие турьи рога, и у другого обломок древнего глиняного светильника. Оказывается, срыв холм, землекопы наткнулись на кости. Эти турьи рога и светильник лежали сверху. Корнилов, который лежал на топчане в одних трусах и майке, вскочил и, как был, пронесся к месту раскопки. Яма почти до самых краев была полна костным крошевом: рога, лопатки, позвонки, ребра, черепа — овцы, лошади, свиньи. Увидев свиной череп, Корнилов схватил его и, поднимая над всеми, как фонарь, заорал:

— Доисламский период, друзья! Усуни. Шестой век! Копайте дальше! Ура!

— Вот ведь какой дурак! — сказал Потапов, дойдя до этого "ура". — Золото он нашел!.. Да раньше, доведись у нас в станице... Эх, научники!

Он был так возмущен, что не мог ни одну фразу договорить до конца, только фыркал и махал рукой.

— Ладно, Иван Семенович, — сказал я мирно. — Ладно! Конечно, сейчас это нам ни к чему. Но вообще кость в раскопках — это вещь.

Он посмотрел на меня и усмехнулся.

— Вещь! Да я, знаешь, сколько этой вещи каждый месяц в город отвожу? Вагоны! И что-то никто не интересуется ими. А ведь те же самые: коза, овца, барашек. Так что же, не такая же кость? Интересно!

— Такая, да не такая, — ответил я. — Этим вот барашкам, что Корнилов открыл, может, тысяча лет. Понял?

Потапов усмехнулся и что-то поддал ногой.

— Вот тоже наука валяется, — сказал он и поднял с травы что-то черное и грязное, какой-то влажный ком земли. — Эй вы, артисты! Чего заразу разбросали? — крикнул он парням. — Куда теперь это девать?

— А что это такое? — спросил я.

— Чурка! — ответил он презрительно. — Столб тысячу лет назад тут стоял. Столб! На столбе мочала...— Он нагнулся, поднял чурку и размахнулся, чтоб пустить ее под откос.

— Стой! — сказал я, перехватывая его руку. — Дай-ка я посмотрю.

Это был срез бревна — очень ровный, только слегка подгнивший по краям. Сердцевина же сохранилась полностью.

— Вот что, — сказал я. — Это я заберу. Пойду сейчас к реке и отмою.

— Иди, — сказал Потапов сердито. — Вещь! Иди! Мой! Вещь! Иди!

И пошел, сердито бормоча и размахивая руками. Но, дойдя до дороги, вдруг остановился и крикнул совсем иным тоном — ясным и добрым:

— Слышь! Отмоешь свою вещь, чай пить приходи! И своего чудака-мученика приводи, а то совсем отощал, пока тебя не было. Вещь! Ах ты!.. Вещь!

А для меня эта чурка и впрямь была самой настоящей вещью. Несколько лет тому назад мне в руки попала книга ”Занимательная метеорология”. Уж не помню, кто был ее автором, но одна глава заинтересовала меня чрезвычайно. Древесина, писалось в книжке, является очень точным документом, она свидетель всех земных и небесных сил, проявившихся за период роста дерева. Засухи, ливни, суховеи, большие пожары, слишком суровая зима, слишком жаркое лето, солнечные пятна, изменение климата, отход Гольфстрима, ледяная арктическая блокада (и такое было в жизни нашей планеты) — словом, все-все, что пережила земля и увидело небо, все это фиксируется и хранится в туго свернутой ленте годового кольца.

Помню, как тогда меня, ученика восьмого класса, поразила эта связь всего со всем. Я подумал: а может быть, это только начало, и гораздо более тонкие, непрослеживаемые нити соединяют космос и сосну, куст орешника и созвездие Ориона? Кто знает, какие затмения, северные сияния, происхождение кометы, вспышки новых звезд прочтут наши потомки по доске, скажем, старого шкафа, стащенного с чердака. Может, и все звездное небо зашифровано там! Я так был захвачен этим, что стал искать специальную литературу и узнал еще больше.

Я узнал, что кольца деревьев указывают на какую-то пульсацию климата, на какие-то циклы жизнедеятельности планеты, не совпадающие ни с периодом солнечной активности, ни с чем иным. Что-то неведомое случается с землей через каждые десять, через каждые тринадцать, тридцать пять лет, и все это складывается в мощный столетний цикл. Он тоже прослежен — узнал я — в течение трех с половиной

тысячелетий на кольцах гигантской секвойи из Калифорнии.

Вот бы сделать такую таблицу и для наших широт!

Я носился с этой идеей целый месяц, а потом как-то забыл о ней и вспомнил только через десять лет. На чердаке музея хранилось несколько отличных спилов с тянь-шаньских сосен. На одном из них было двести семьдесят пять годичных колец, другие были моложе, но тоже очень старые. Я поговорил об этом с директором и он мне привел дендролога, совсем еще молодого человека, футболиста и баскетболиста, в майке и с жестким ежиком на голове.

Исходя из нашего материала, он составил сравнительную (судя по толщине колец) таблицу влажных и засушливых годов в районе города Алма-Аты за двести пятьдесят лет, и мы выставили ее в музее.

Однако дендролог не был доволен.

— Двести пятьдесят лет? Что это? — говорил он. — Современность! Вот если бы узнать, какой здесь был климат тысячу лет тому назад. Неужели в курганах ничего нельзя найти? Ведь бывают там какие-то деревянные подпорки...

Никаких подпорок в курганах, конечно, не бывает, но вот один отпил, и, может быть, даже именно тысячелетней давности, все-таки оказался в моих руках.

Внизу у реки я тщательно отскреб чурку от грязи, промыл ее несколько раз и положил сушиться. А сам пошел по берегу смотреть валуны. Здесь их было превеликое множество, как будто целое стадо — красных, зеленых, синих, аспидно-черных — приковыляло сюда с гор и, добравшись до песка, застыло в разных позах: кто повалился на бок, кто заполз под кусток, кто по колено зашел в реку, подставляя горбатую спину солнцу и ледяным брызгам. Один самый длинный черный валун с узкой хищной мордой поднялся на дыбы и замер так в нелепой позе, похо-

жий на только что вылезшего из берлоги перезимовавшего медведя.

Вот около него через час с чуркой в руках и застал меня Корнилов. Посмотрев на меня, он засмеялся и легко сбежал по тропинке. На нем был белый костюм, плащ, переброшенный через плечо.

— Ну как Потапов? — спросил я.

Он опять засмеялся.

— А что Потапов? — ответил он. — Эти злые и нервные мужики, писал где-то Чехов, — удивительно верно подмечено! Удивительно! Вот и этот такой же: накричит, наплюется, а потом ходит и качает головой: "Эх, неладно получилось". Ведь это он меня за вами послал: "Хранитель обиделся, с чуркой на реку побежал". — Он засмеялся. — Нет, в самом деле, что за чурка-то?

Он наклонился, поднял ее и стал рассматривать.

— Но ведь нет на ней ничего, — сказал он удивленно. — Это попросту кусок гнилого бревна, и все!

Меня коробил его тон, но объясниться, конечно, было необходимо.

— Видите ли, — сказал я, — с этим связана одна проблема, которая меня когда-то очень интересовала.

И в нескольких словах я изложил ее сущность: годовые слои, возможность получить картину температурного режима столетия, возможность сравнить ее с данными летописей и документов.

Я говорил, он слушал меня и молчал. А потом вдруг пожал плечами и спросил:

— Господи, ну как это у вас все вмещается? Черепки, чурки, Хлудов, гражданская война... Господи, мне и с археологией-то одной и то не справиться... Копаем, копаем — и ничего нет. А вы... слои!

И он засмеялся.

И вдруг бригадир пропал. То он ходил, бухтел, рассказывал, поддразнивал, а тут вдруг как в тучку канул. Рабочие заметили это в первый же день.

И вечером, после работы, Корнилов сказал мне:

— В самом деле, что этс с Потаповым случилось? Сильно он задумываться в последнее время стал.

— Войны боится, — ответил я. — Насчет детей думает. Это сейчас бывает с людьми.

К Потапову я собрался вечером и пошел прямо через косогоры. Быстро темнело, и я засветил фонарь. Собирался дождь. На горизонте несколько раз вспыхивали бесшумные молнии. Тогда становились видными облака, дикие и обрывистые, как те кручи, мимо которых я шел. Вскоре сделалось уж так душно, что мне показалось, будто я заперт в узком и длинном сарае, накрытом мокрой ватой. Дождь должен был хлынуть вот-вот. Я остановился на краю обрыва и стал соображать, где же удобнее спуститься. Было уже так темно, что я не различал дороги. Чуть не коснувшись лица, мимо меня пролетела длинная и бесшумная, как кошка, ночная серая птица. И только я нащупал дорогу и начал спускаться, как внизу в кустах ответно зажегся другой фонарик. Я остановился и два раза описал рукой светящуюся дугу (глупее, конечно, ничего уж нельзя было придумать), и другой фонарик проделал то же самое. Затрещали ветки, и я увидел на фоне кустов, как при свете молнии внезапно появилась неподвижная белая фигура. На секунду мне сделалось вдруг очень неприятно. Но тут вдруг фигура засмеялась и голосом Софы сказала:

— Ну как хорошо, что я с вами встретилась. Ведь я заблудилась. Здравствуйте, дорогой. — Она протянула мне руку. — А Михаила Степановича вы здесь нигде не встречали?

— Нет, — сказал я.

— Вот незадача, вот незадача, — повторила она, глядя мне в лицо. — Понимаете, испортилась машина, и как-то безнадежно, как-то совсем испортилась. И вот пока он возился, я решила пойти пешком, да, видите, запуталась, никак не могу найти дорогу.

Дорога была рядом, только надо было спуститься. Я сказал ей об этом. Она опять засмеялась.

— Ну, значит, лешак водит, как говорил мой дед, — сказала она. — Вы знаете, мой дед замерз около стены своей усадьбы. Дошел до нее, уперся в стену спиной, сполз и замерз. — Она посмотрела на меня. — Он был помещик Якушев. Слышали таких?

— Ну как же, — воскликнул я. — Так вот вы из каких!

— Да-да, — сказала она, — да, я из таких! Старый дворянский род.

Тем временем мы уже спустились и сошли, вернее, спрыгнули, на дорогу.

— Ну вот вы и на месте, — сказал я. — Но куда же вы шли? К машине или... куда вас проводить?

— К Потапову, — сказала Софа. — Я хотела достать у него яблок для посылки.

— Ну вот смотрите, как хорошо! — воскликнул я. — И я к нему тоже. Он пропал куда-то, вот мы боимся, не случилось ли чего-нибудь.

Она поглядела на меня.

— А что же может с ним случиться? — спросила она осторожно и не сразу.

— Не заболел ли? — предположил я.

— Ах, не заболел ли! — воскликнула она. — Нет, не заболел. Сегодня Михаил Степанович встретил его в городе, там они и сговорились насчет яблок. — Она пошла и остановилась. — Знаете что, давайте спустимся на шоссе к машине, посмотрим, что там стряслось, может, он зря возится. Может, нужно просто поехать в город за помощью. Идемте-ка.

И, не дожидаясь моего согласия, она быстро пошла назад. И только мы сделали с ней несколько шагов, как из-за поворота вылетела длинная желтая машина, ширнула лиловым лучом по дороге, осветила нас, кусты барбариса на обочине и вдруг резко, с визгом остановилась. Из машины выскочил Михаил Степанович и бросился к нам. В кабине сидело еще два человека в серых военных плащах.

— Ну, как, — спросила Софа, — все в порядке?

— Вроде, — уклончиво ответил Михаил Степанович, смотря на меня. — Откуда вы, прекрасное дитя?

— Встретились по дороге, — сказала Софа, — тоже шел к Потапову.

— Так я был там, — ответил Михаил Степанович,— Потапов в городе.

"Когда же они тогда с ним сговаривались?" — подумал я, но ничего не спросил.

— А вам, кстати, в город не нужно? — спросил меня Михаил Степанович. — А то можем довезти.

— Нет, — сказал я, — в город мы ездим только по выходным.

В кабине что-то произошло, зашевелился кто-то из военных и не то спросил, не то сказал что-то.

— Так мы вас довезем до вашего лагеря, — воскликнул Михаил Степанович, — садитесь, садитесь!

Не могли они меня довезти до нашего лагеря, не было туда дороги, и они отлично знали это. Я стоял, не зная, что предпринять, — все было странно, очень странно.

— Поедемте, — ласково предложила, даже скорее попросила меня Софа и слегка дотронулась до моего плеча.

— Поедет, поедет, — весело повторил Михаил Степанович и взял меня за руку.

Мне стало вдруг очень не по себе. Черт знает, что хотели от меня эти люди. Ясно было только одно: они совсем не то и не те, за кого себя выдают.

— Ну, прошу, — сказал Михаил Степанович уже без всякой улыбки.

В это время впереди нас мягко вспыхнули лучом фары, и другая машина, черная и бесшумная, остановилась около нас. В ней никого не было, кроме шофера. Впрочем, не походил на шофера человек, сидящий за рулем. Был он маленький, очень тщедушный, с холодными серыми глазами и морщинами — две глубокие складки прорезали его лицо. Он мимо-

летно, но зорко взглянул не меня, потом молча перегнулся, протянул руку, отворил дверь кабины, тут я увидел, что под плащом на нем мундир.

— Садись, — кивнул он Софе.

И она сейчас же пошла к машине.

— Нет, ко мне, — приказал он, — а его в другую.

И тогда Михаил Степанович слегка подтолкнул меня, а один из военных подвинулся и освободил мне место.

— В тесноте, да не в обиде, — сказал он улыбаясь. — Едем!

И мы поехали.

Мы молчали. Михаил Степанович достал из кармана портсигар и протянул его мне. Я покачал головой.

— Тут недалеко, — успокоил он меня вполголоса.

Машина неслась по асфальтированному шоссе в город, но вдруг шофер осадил ее, повернул руль, и мы нырнули на боковую дорогу. Я знал про эту дорогу только то, что она ведет к зданию, расположенному на противоположном прилавке. Машина мчалась очень легко, дорога была асфальтирована, и свет фар опять вырывал аккуратные кусты по обочинам дороги. Какие-то сторожевые будочки, сторожевой гриб, поднятый шлагбаум, а около него лавочка и человек на ней в военной гимнастерке. Здесь машина сделала поворот и понеслась уже не вверх, а вниз. Мы въехали в широко открытые, большие деревянные ворота. Я увидел двор, усыпанный белым песком, и в глубине большую каменную дачу с застекленной террасой. Окна были освещены и плотно задрапированы.

Машина остановилась, завизжала проволока, и к машине не торопясь подошла и остановилась огромная серая собака, похожая на волка. Михаил Степанович обхватил ее за шею и сказал:

— Вылезайте.

Я вылез. Впереди меня очутился один из моих спутников. Он слегка дотронулся до моего плеча и сказал, показывая на дом:

— Пошли.

Тут я впервые увидел его лицо — светлые глаза, аккуратно зализанные волосы, тяжелые скулы. Второй мой спутник был высок, худощав, костист, осыпан золотыми веснушками, рыжеволос. И хотя на первого, плотно и крепко сбитого, он совсем не походил, ясно было, что оба они существа одной и той же породы, оба одинаково подтянуты, чисто вымыты, ухожены.

— Пройдемте, — пригласил или приказал мне первый.

Пошли. Он впереди, я за ним, рыжий сзади.

Он привел меня в большую комнату с завешенным окном, письменным столом около него и книжным шкафом в углу, выдвинул ящик стола, вынул оттуда кипу "Огонька", два-три номера "Вокруг света", положил все это на стол и вышел, плотно закрыв дверь, и сказал: "Только одну минуточку". Я постоял, посмотрел, потом перегнулся через стол и поднял занавеску. Окно упиралось в забор и мощные ворота, заложенные бревном. Между забором и окном не было ничего — белый песок, и ни кустика, ни цветика. Я опустил занавеску, подошел к шкафу и стал рассматривать книги. Впрочем, книга была только одна: Большая Советская Энциклопедия в новешеньком зелено-красном переплете. И тут в комнату вошел Михаил Степанович.

— Ну как, нравится вам у нас? — спросил он радушно. — Ведь вы, наверно, по этой дороге никогда не забирались?

— Нет, — сказал я.

— Ну вот теперь поднялись и увидели, как живем! Садитесь, садитесь, пожалуйста, курите. Этот дом сейчас пустует. Здесь живут иногородние преподаватели Высшей пограничной школы, когда они к нам приезжают. Ведь и сама школа рядом. Я препо-

даю в ней международное право, а Софа — моя аспирантка. Я руковожу ее практикой.

— Ах вот как! — сказал я.

— Да, вот так. Да не стойте, садитесь. Вы же гость. — Он поглядел на меня и улыбнулся. — Тут ведь вот какое дело. Да, стойте-ка, я сейчас принесу стул и приду — поговорим.

Он вышел, аккуратно притворив дверь за собой. Пришел он только минуты через полторы со стулом и портфелем.

— Тут вот какое дело, — продолжал он, ставя стул и садясь. — Тут довольно смешное дело. Вам Потапов про удава рассказывал?

— Да, — ответил я.

Он юмористически сморщился.

— И наверное, вы еще и в газете что-нибудь читали про него?

— Читал.

— А видеть его не видели? Нет, конечно. Ну а человека, который видел этого удава, вы встречали?

— Ну да, Потапов, — сказал я. — Он даже стрелял в него раз.

— Но промахнулся. Отлично! Запомним... А еще кто видел этого удава? Какие-то пионеры, которых так и не разыскали. Да? Пастушонок Петька, которому двенадцать лет и который, когда его стали расспрашивать, ничего путного рассказать не мог. Стрелял в кого-то дядя Потапов, а в кого — разглядеть не смог. А еще кто?

Я молчал.

— Вы понимаете, о чем я говорю?

— Да, откровенно говоря, нет, — ответил я.

— Да неужели нет? — удивился он. — Фантастика все это... Никакого удава в горах нет и никогда не было. Зоологи нас просто на смех подняли. Удав перезимовал в сугробах! Да это все равно что сказать: у меня в подполье завелась щука.

— Постойте, постойте, — сказал я, — так, значит, Потапов врет?

— Значит, брешет наш Потапов как сивый мерин, — ответил мой собеседник ласково, — вводит, как говорится, в заблуждение общественное мнение и советскую печать.

Я молчал и смотрел на него.

— Вижу, вы все еще сомневаетесь, — покачал он головой, — тогда прочтите вот это. "Социалистическая Алма-Ата" за вчерашнее число.

Я взял газету. Наверху страницы были изображены обезьяны, карабкающиеся по решетке, попугаи на кольце, лев с гневно занесенным хвостом — и все это в окружении больших вертлявых букв.

— Да читайте, читайте, — сказал Михаил Степанович. — Вслух читайте.

— "Уж много дней свежевыкрашенное здание на колхозном базаре привлекает к себе любопытных..." — прочитал я первые строчки и перевернул газету, чтоб посмотреть, когда она вышла.

— Номер сто шестнадцать от двадцать восьмого числа этого месяца, — услужливо подсказал Михаил Степанович. — Открылся новый зверинец: львы, тигры, крокодилы, страусы, удавы. А вы тут сидите в горах и ничего не знаете. Прочитайте вот тут отчеркнутое красным карандашом.

"Демонстрируя удава, — писала газета, — директор напомнил, что летом этого года в одной из алмаатинских газет появилось фантастическое сообщение о сбежавшем из зверинца удаве, будто поселившемся в садах колхоза и даже перезимовавшем в прошлую особенно суровую зиму. Тропический гость никак не может акклиматизироваться в Алма-Ате. Он погиб бы через несколько дней при нашем климате. Да вдобавок удав и не сбегал.

Вся история с удавом — выдумка досужего, не очень грамотного любителя желтеньких сенсаций".

— Да, но к чему ему все это? — вырвалось у меня.

— Вот, — удовлетворенно сказал Михаил Степанович. — Вот наконец-то вы задали совершен-

но дельный вопрос. К чему подняли весь этот шум? А шум поднят действительно немалый. В республиканской газете — одна статья, в вечерней газете — другая. А затем эта история вынырнула за границей и появилась знаете где? В фашистской Германии. В газете "Фелькишер беобахтер" опубликована большая статья о всей этой фантастике. Интересно?

— Чрезвычайно, — воскликнул я, — но все-таки до меня еще не полностью доходит, что все это значит.

— А надо, чтоб дошло, надо, — строго сказал Михаил Степанович. — Для вас это просто необходимо. Я пытался дать вам это понять, но вы... Давайте зададим себе вопрос: кто мутит воду, кто распускает слухи? Бригадир Потапов. Ну а что собой представляет этот Потапов, кто он такой, а?

Я молчал.

— Ну кто он такой — скажите?

— Бригадир шестой бригады, — ответил я.

— Точно! — обрадовался Михаил Степанович. — Бригадир шестой бригады колхоза "Горный гигант". Но это сейчас он бригадир, а кем он был раньше? Вот стали мы дознаваться и дознались. Оказывается, был он белоказаком, участвовал в мятеже девятнадцатого года. Потом бежал из города Верного в Кульджу, то есть на китайскую границу. Доходит это до вас? Брат Потапова в прошлом году арестован и осужден за вредительство, он находился в связи с консулом одной из враждебных держав и получал задания от иностранной разведки. Во всем этом он сознался. Вот вам вторая и, так сказать, неожиданная сторона бригадира Потапова. Вы всего этого, конечно, не знали, — улыбнулся он.

— Про брата знал, — сказал я неожиданно для самого себя.

Он удивленно посмотрел на меня.

— Откуда же?

— Он рассказывал.

— Да? — Секунду Михаил Степанович молчал, а потом воскликнул: — Ловко! Вот подлец! Прет напролом! Ну, раз вам это уже известно, то и дальнейшее не удивит. Вот. — Он вынул из портфеля и положил передо мной почтовый конверт, адрес был напечатан на машинке. — Обратите внимание — обратного адреса нет. Так что сразу не поймешь что откуда. — Он вынул из конверта письмо, отпечатанное на машинке, подал его мне и сказал: — Читайте!

”Германская Империя,
Министерство Иностранных дел,
Консульский отдел

Уважаемый г. Потапов

Обращаемся к вам по поручению Немецкого общества акклиматизации животных. Означенное общество, существующее с 1848 года и объединяющее виднейших ученых Германии, обратилось к нам с просьбой выяснить все обстоятельства, связанные с появлением удава в горах Алма-атинского Алатау. ”Самый факт, — пишет нам секретарь общества проф. Фохт, — что столь теплолюбивое животное, каковым является удав, могло провести суровую континентальную зиму, заслуживает всяческого внимания и детального изучения”. Он надеется, что вы поймете, какое значение для науки имеют наблюдения, подобные тем, которыми вы располагаете, и поэтому просит не отказать нам в информации. В случае получения подобных сведений президиум общества перешлет вам диплом почетного члена-корреспондента, дающий право на посещение всех заседаний, выставок и мероприятий общества. Адрес общества...

...Если это вас устроит больше, вы можете снослться с нами прямо через Германское консульство.

С почтением...”

— Ну, что вы скажете? — спросил Михаил Степанович, когда я положил бумагу на стол.

— Оригинально.

— Оригинально, — вздохнул он. — Хорошо, если бы это было только оригинально. Теперь вспомните шум, который был поднят, статьи в газетах, это самое отношение, и вы поймете смысл и содержание следующей бумаги, которую я вам сейчас предъявлю. На этот раз она исходит из советского учреждения и советских людей. Бумага эта, конечно, строго секретная. Но уж если говорить, то говорить начистоту. Вот с этого места.

И он достал из портфеля другой конверт — большой, глянцевитый, без всяких надписей, вынул из него какую-то журнальную вырезку на немецком языке и отложил в сторону, потом бумагу, напечатанную на машинке, загнул ее начало и конец, дал мне и сказал:

— Читайте, доверять так доверять.

Я стал читать. Это были вопросы. Некоторые из них я запомнил. Вот примерное их содержание. Вопрос первый: прошлое бригадира Потапова, его политические убеждения. Вопрос второй: что именно могло заинтересовать фашистскую печать в сообщении об удаве, напечатанном в "Казахстанской правде" (перечислить все соображения). Вопрос третий: какую цель преследовала молодежная газета, пытаясь повторно опубликовать заметку на эту же тему. Кто является ее автором. Зачем потребовалось указывать на тайник (пещеру), находящийся в горах, в которой якобы мог перезимовать удав. Где находится этот тайник, обследован ли он органами государственной безопасности. Вопрос четвертый: есть ли какие-нибудь основания считать, что заметки эти являются кодированным сообщением фашистской разведки. Вопрос пятый: чем занимается археологическая экспедиция, работающая в районе мнимого появления удава. Какую роль в работе экспедиции играет археолог Корнилов, ранее ре-

прессированный органами НКВД. Что вы можете сообщить о... (дальше стояла моя фамилия).

Пока я читал, Михаил Степанович следил за мной глазами.

— Вот видите, и о вас тут! — сказал он, когда я дошел до последнего вопроса, и отобрал у меня бумагу. — Вы понимаете, — продолжал он, — что такие документы являются секретнейшими, в особенности для лиц, затронутых в этом документе. А я взял и показал этот документ вам. Вы учитываете, что это серьезнейшее служебное нарушение? Так как, по-вашему, зачем я на него пошел, а?

Я пожал плечами.

— Но должна же быть причина! Не знаете? — Михаил Степанович не спускал с меня ясных, чуть насмешливых глаз. — Потому что доверяю я вам, вот почему. По-видимому, вся эта история с удавом — хитро задуманная диверсия.

Он снова улыбнулся, и это была какая-то особая улыбка — тонкая, загадочная, чуть высокомерная. И сам он как-то сразу и мгновенно изменился. Из радушного, веселого хозяина дома вдруг незримо превратился в почти официальное лицо. Не говорил уже, а приступал к допросу. Но голос его был по-прежнему тих, и смотрел он на меня, тонко улыбаясь. А у меня уже голова шла кругом.

— Слушайте, но зачем и кому все это нужно? — воскликнул я.

— Зачем шпионам нужно шпионить? — спросил он, тщательно подчеркивая свое удивление. — Ну, наверно, просто потому, что они шпионы. Другой причины нет. — И он спрятал оба конверта в портфель.

— Но если Потапов шпион, почему вы его не арестуете? — спросил я.

— Есть основания, — сказал он ласково. — Почему шпиона далеко не всегда берут сразу? Во всяком случае мы хотим вас предупредить. — Он встал. — К Потапову не заходить! Если же встретите в горах,

то держитесь с ним по-прежнему, но сразу же известите нас. Вот сюда придете! А теперь пошли обедать!

Домой я шел в обход, косогорами.

Уже наступило утро — холодноватое, ясное, с высоким небом и прозрачной далью. С вершины прилавков можно было охватить глазом верст десять. И впервые я увидел в это утро ту синеву, которой всегда в этих местах означается осень. Сизыми были склоны гор, поросшие лесом: сиреневыми — камни и глинистые обнажения оврагов; совсем синими — низ снежных шапок и заросли терновника. Чем дальше, тем этот цвет крепчал, наливался и где-то вверху переходил в фиолетовый и просто темный — летом его скрывала зелень, а осенью, когда все обнажалось, он становился основным фоном гор и сливался с небом. На этом фоне мерцали красные, оранжевые, золотые, светло-зеленые пятна. Стоило прищурить глаза — и предметы исчезали, а вся долина представлялась огромной мозаикой или панно из разноцветных камешков. Ночью прошел дождик, и пахло землей, мокрым щебнем и листьями.

Я шел по высокой росистой траве, нес узелок, и колени у меня уже были мокрые, а башмаки хлюпали. Но я думал только о бригадире Потапове. Теперь мне многое представлялось в ином виде: прежде всего то, что он сильно переменился, таскается по целым дням в горах и перестал обращать внимание на колхозные дела. Вилы же и топор после сегодняшнего разговора приобрели в моих глазах совершенно особое значение. Хотя к чему они — я все-таки объяснить не мог. Непонятно казалось и все остальное: эта ночная встреча с Софой, шоссейная дорожка в гору, здание на горе, разговор в комнате с видом на заколоченный забор, неведомые и непонятные мне люди. Во всем этом было что-то и от настоящей тайны, и от чего-то совсем иного, раздутого, надуманного и несерьезного. Но ложь об удаве! Но статья в немецкой газете! Но письмо германского консула! Ведь все это действительно печаталось, писалось, существовало.

Я шел, думал... И вот уже стали видны наши палатки и даже потянуло речной свежестью. Вдруг кто-то сзади осторожно дотронулся до моего плеча. Я обернулся. Незнакомая девушка в красном платке стояла передо мной. На ней была блузка защитного цвета, узкая юбка и тапочки на босу ногу.

— Здравствуйте, — сказала девушка.

— Здравствуйте, — ответил я, с некоторым даже страхом оглядывая ее небольшую статную фигуру.

— Вы меня не знаете? — спросила она. Голос у нее был глубокий, грудной.

— Нет, — сказал я. — Но что-то как будто...

— Я племянница бригадира Потапова, — объяснила она.

— А-а, — засмеялся я. — Помню, помню. Это вы, вместо того чтобы работать, хохочете?

Она засмеялась.

— Ну вот, вспомнили. А меня за вами прислал дядя, — сказала она, — вы ему очень нужны.

— Бригадир Потапов? — воскликнул я. — Пойдемте, пойдемте.

И, честное слово, сразу отлетели все раздумья, предположения и вопросы. Так все это не вязалось с ясным, солнечным утром, с открытым круглым лицом этой девушки, с беззаботностью тона, тем, что на груди ее был комсомольский значок, а на голове красная косынка. (Так в те годы на плакатах изображался комсомол.)

Я повернул было на дорогу, но она меня остановила.

— Не домой, — сказала она, — он вас в щель просит.

— А почему в щель? — снова насторожился я.

— Да тут близко, — успокоила она меня.

Знал я, что это близко. Я был даже несколько раз в этой щели. Боже мой, до чего там было сыро и темно! Огромные желтые камни цвета ржавой воды, каменистые пещеры по склонам. Большие желтые, оранжевые, белые глыбы, продолговатые, как ло-

шадиные черепа. Вот-вот и сам дракон пожалует из пещеры. И особенно тоскливо было глядеть на нависшие и набрякшие груды песка (они, кажется, могли ухнуть каждую секунду), на кустики осины с горькими зелеными побегами, на крошечные чахоточные березки. ”Что ж там потребовалось Потапову?” — подумал я и вспомнил о тайнике.

Девушка шла впереди, перескакивая с камня на камень, нащупывая ногой невидимые мне тропинки и уступы. И было видно, что в этих местах она как дома.

— Не упадите! — крикнула она мне, когда под ногой у меня обвалился камень и я было поехал под откос.

— Держите меня за плечи, — приказала она в другой раз, когда мы стали спускаться.

Потапова я увидел сразу. Он сидел на большой глыбине, рядом лежало что-то накрытое серой мешковиной, валялись вилы, топорик и ружье.

— Ну вот, молодец, Дашка, — похвалил он мою спутницу, — а я уж думал, если не дождусь, то поеду сам. Ты что, был у меня вчера? — обратился он ко мне.

— Нет, — ответил я.

— Не дошел, — усмехнулся он. — Встретили и завернули. Куда же они тебя повели, в органы, что ли?

— Да нет, — ответил я, не зная, что сказать. — В пограншколу.

— Тоже неплохо, — сказал он. — А насчет змея говорили, что нет, мол, никакого змея? Его Потапов выдумал. — Он сжал кулаки. — У, нечистая сила! Всю работу у меня отбили. Яблоки собирать надо, а я с ними пять дней как в котле киплю. — Он посмотрел на меня и вдруг сообщил: — А меня ведь вчера арестовывать приезжали.

— Да что ты! — воскликнул я, соображая, к чему все это идет и как мне в случае чего надлежит поступить.

Наверное, на моем лице выразилось что-то подобное, потому что он вдруг посмотрел на меня, грубо усмехнулся и вдруг ударом сапога сбросил мешковину. На срезанных лопухах лежало что-то черное, скрученное, чешуйчатое, кольца какой-то довольно большой, как мне показалось — метра полтора, змеи. Она была еще жива: кольца вздрагивали, сокращаясь, по ним пробегала длинная дрожь, чешуя блестела мельчайшими чернильными капельками, словно исходила предсмертным потом.

— Да что же это такое? — спросил я очумело. — Откуда эта змея? Ведь это совсем даже не...

Потапов искоса посмотрел на меня, зло усмехнулся и опять накрыл мешковиной умирающее чешуйчатое тело.

— Вот и весь сказ, — сказал он твердо и скорбно. — Только всего и было, что вот эта гадючка. Вот она тут и ползала. А когда она ползет, знаешь, какой она кажется?.. Написал этот дурак четыре, а мне подумалось: нет, мало, метров шесть в ней будет.

"Да, да, — подумал я. — Правильно, правильно... Как же это мне сразу не пришло в голову? Об этом и профессор Никольский пишет: когда змея ползет в траве, она кажется раза в два, а то и в три длиннее, чем есть... Да, так всегда бывает".

Я приподнял концом сапога мешковину, разбросал лопухи — и тогда показалась голова, небольшая, плоская, с широко открытыми, пристальными синими глазами.

— Черный полоз, — сказал я. — Самый обыкновенный черный полоз. Но только большой-большой. У нас стоят два в банках на выставке, но такого я еще не видел.

— Я мерил — метр шестьдесят сантиметров, — сказал Потапов. — Вот, дорогой товарищ, и все, что было. Признаешь теперь, какие у страха глаза? В газету попал, себе на шею петлю надел, здесь уже пять суток сижу, а из-за чего? Эх! — Он махнул рукой.

9—166

— Да, но при чем же тут ты? — сказал я. — Нет-нет, ты лишнего на себя, бригадир, не бери. Не ты эту анафему выдумал, и писать ты о нем тоже не писал. Подписи твоей нигде нет. А что другие там от твоего имени...

— Эх, кабы попался мне тот артист, что с аппаратом приезжал. Уж я б его... — алчно покачал головой Потапов. — Но как я мог в нем эти метры насчитать? Как? Ведь явственно, явственно видел — громаднейший змей ползет. Или наваждение такое? А то говорят, что они отвод глазам такой делают. Ползет змеючка, а ты видишь дракона. Может, правильно так.

Я засмеялся.

— Какой там к черту отвод? Нет, это со всеми бывает, бригадир. Вот и Брем такие случаи подробно разбирает. Это, говорит он, самая обычная ошибка наших воспринимающих и оценивающих способностей. Так что не бойся.

— Воспринимающих... — улыбнулся бригадир и покачал головой. — Да ведь не будут они твоего Брема спрашивать. Никогда не будут! Да что ты? Они в случае чего его сразу из города вышлют. Им дело нужно. Вот что! Разве они теперь со мной когда расстанутся?

— Да зачем ты им, зачем? — сказал я.

— Будто не понимаешь. Один брат расстрелян за вредительство, другой схвачен как шпион, что же им еще надо? Они и во сне такое дело не видели.

— Ну ладно, ладно, — сказал я сурово. — Не говори что не надо. Бери его, пойдем.

— Пойдем, — устало вздохнул Потапов. — Конечно, пойдем. У меня теперь только один путь — являться. Вот с этой самой штуковиной и пойду. Эх, не сумел я тогда отстоять брата Петьку. Не сумел. Оробел, струсил. Думал свою шкуру спасти. А вон видишь, что вышло. — Он снова наклонился, взял змея и стал засовывать его в мешок. — Всю жизнь он мне взбаламутил, из-за него покой потерял. Ведь

знаешь всех, всех рабочих перетаскали на допросы. И что им надо? Ведь я снес бумагу, что мне германцы прислали. Поблагодарил этот длинный, что со мной водку трескал! Сначала ты, говорит, "советский человек", а потом: "Расскажи, с какой целью агитируешь население насчет Бовы-конструктора. Скажешь — простим. Нет — пеняй на себя. Значит, сколько тебе ни говори, ты все равно ведешь свою линию". — "Да какую такую свою линию я веду, какая такая линия? Зачем она мне нужна?" — "Хорошо! А брат у тебя где?" — "А это вам лучше знать! Вы его забрали". — "А ты как будто ничего уже и не знаешь. Мужичок-серячок! Брат он тебе, мать твою, или нет?" — "Брат! Брат, единокровный брат он мой, Петька! И знаю — ничего он не делал, никаких клещей в банке с собой не носил, и хлеб им не заражал, и к консулу не ездил. Все это одна ваша агитация". — "Ах, вот как ты заговорил, ты теперь за брата заступаешься, вражина! Значит, тебе враг, вредитель, шпион, диверсант дороже советской власти, да?! Да разве органы зря кого забирают? А ты знаешь, где ты находишься? Контрреволюционер! Антисоветчик! Японская морда! Встать! Марш в коридор! Посиди подумай!" Вот и весь разговор со мной. А что я сделал? Кому я что перешел? Что ж, неужели все это правда, что он творит, а? Ты умный, скажи.

Он говорил теперь тихо, печально разводя руками. Я ему ничего не ответил. Он постоял, подумал, помолчал и вздохнул.

— Думаю-думаю и ничего придумать не могу, какой враг все это устраивает, на что он людей толкает? Зачем все это ему? Вот и ты боишься! Стоишь молчишь. Ну хорошо, не надо. — Он посмотрел на племянницу. — Водку-то захватила или опять тетя Маня не дала? — спросил он хмуро.

— Захватила, — ответила племянница, — два поллитра даже, да вот и они...

— О, — сразу встрепенулся бригадир, — неужто два? А закуску?

— Взяла колбасы да полбуханки...

— Вот это чисто! — сказал бригадир. — Это ты чисто одумала. Это прямо можно сказать, что молодец девка! В самый, самый цвет мне попала. Эх, напьюсь! А стаканы есть? Ну-ну! — И он восхищенно развел руками. — Вот какому-то счастливому жена будет... Ну, тогда садись с нами. Садись... Сейчас мы это дело воспроизведем в большом масштабе. Садись, что стоишь? Сдвинь змея к чертовой матери и садись. Дашка, давай приготовляй все. Ну, как ты думаешь, — обратился он ко мне, — возьмут меня или нет?

— Да за что же? — сказал я. — Теперь все в порядке, ты ничего не врал. Доказательство налицо — вот он, удав-то! Завтра стащим его в город, и все.

— А я, брат, где? Я тоже вот он! — усмехнулся Потапов. — Заберет он меня — и следа не найдешь. Ну, ладно, что там говорить, все равно идти надо.

Куда мы шли? Зачем мы шли? Кому мы несли этого дохлого змея, и не удава даже, а самого обыкновенного туркменского полоза — никто из нас ничего на это ответить не мог. В общем, шли в город "являться", как сказал Потапов. Солнце палило вовсю. Шоссе разогрелось так, что в нем отпечатывались следы. Пахло резиной и асфальтом. Это в августе в горах Алатау! Я был уверен, что бригадира посадят, и молчал. Молчал и он. На третьем или четвертом километре нам, наконец, повезло. Попался знакомый шофер, и мы как-то очень быстро, тарыбары, трали-вали ("А где теперь Петька Гвоздев? А что Маруська, все с тем, косым? А кто ездит с председателем?"), доехали до пивного завода. Здесь начинался город, отсюда Алма-Атинка текла уже по равнине. Тут мы и расстались с Дашей. Она не особенно понимала, что такое происходит, и поэтому покинула нас беззаботно. Бригадир наказал ей ждать его до утра (тетке пока ничего не говорить), а в обед бежать к председателю и сказать ему, что вот

Иван Семеныч убил казенного удава и пошел с ним ("Напиши куда! Адрес"), да и не пришел до сих пор. Так не случилось уж что?

Итак, мы простились на мосту. Даша ушла, помахав нам рукой, а мы остались ждать попутной. Бригадир сидел на перилах моста в пыльных сапогах, что-то посвистывал и листал самодельную записную книжку в желтой картонке. Потом вытащил зеленую бумажку и потряс ею.

— Вот она, родная! Живые пол-литра, — сказал он.

— Да деньги и у меня есть, — проворчал я.

— Да? — Он сразу оживился и поднял мешок. — Ну тогда пошли напрямик. Здесь по дороге на мельнице "Смычка" есть шашлычная. Там и машину подцепим. Пойдем!

Мы спустились с дороги и пошли через поле. Вот этот последний путь мне почему-то запомнился особо. То было место, где горная речка, вдруг резко изгибаясь, нырнет в лопухи и через двести метров появляется снова ласковой тихой Алма-Атинкой — спокойной городской речкой. Зато здесь у нее появляются отмели, косы, намывные песчаные островки, а кое-где даже тихие заводи и в них светло-зеленые клубки — комья русалочьих волос. Здесь купаются. Здесь лежат и загорают. Сюда любят бегать ребята. Здесь над разноцветными голышами стоят спокойные, дымчатые, как стекозы, плотвицы.

Так мы прошли с версту. Бригадир шел по песку, я по воде — парной и ласковой. А потом река вдруг потемнела, напряглась и остановилась около камней, свирепо гудя и набирая сивую, морщинистую пену.

— Тут взрыв о прошлый год делали, — сказал Потапов, — русло расширяли. Видишь, что получилось? Столько он тут, дурак, поуродовал!

Глыбины лежали в воде то боком, то плашмя, и вода возле них ходила винтом. А около двух острых, косо срезанных глыбин — очевидно, Сциллы и Харибды этих мест — свила гнездо семья мелких сердитых бурунов. Но прошли метров сто, и опять потянулись

косы, заводи, а в них тихие рыбки и солнечные тени на дне. Все просто и ясно, понятно.

Прошли с полверсты, пересекли какую-то дорогу и вышли в поле. Сразу потянуло влажностью и прохладой большого открытого пространства. Река появилась опять тихая, неслышная, в широких низких берегах. Пышно разрастаются болотные травы: высокие дудки, белые воздушные зонтики (их настоем отравили Сократа), широкие, разлапистые листья, то оранжерейно нежные, то тропически зеленые, сердитая голубая осока, а дальше, там, где тростинки зелены уже просто до черноты, державным строем стоят вокруг какого-то окна или особо опасной топи камыши в коричневых меховых опушках.

— Снять сапоги, — вздохнул бригадир. — Дай плечо. Тут и ухнуть одна минута. Пойдем стороной, где мох.

Мох здесь был влажный и высокий. Металлически лиловая ржавчина, холодная, как ключевая вода, закипела у нас между пальцами, но окна и промоины стали отходить вбок. Зачастили небольшие кусты, поднялся болотистый ивняк. И кора на нем на солнцк блестела, как золото на ложках суздальских мастеров. Белая хищная птица с круглыми голубыми глазами сидела на вершине большого куста и равнодушно, не мигая, — так могут глядеть на человека только гады и хищные птицы — смотрела на нас.

— Она на той стороне живет, — сказал бригадир и показал на черно-зеленые и сизые осоки. — А воздух, чуешь?

Да, воздух здесь был совсем особый. Болото курилось тысячами запахов, тонких, терпких, не смешивающихся друг с другом. По-одному пахли мох и вода, по-другому — неясно и терпко — осоки. Неуловимый, чайный аромат исходил от странных, бурых цветов с телесно-серыми лепестками и мохнатой пчелиной шапочкой, и совсем иным — водой и торфом — несло от широких промоин с совер-

шенно прозрачной, но, как казалось сверху, черной водой. Кое-где в них, как свечки, стояли восковые кувшинки.

И в помине не было тут того открытого, задорного перезвона, как в молодом осиннике или ельнике, — там весь лес шуршит, как огромный муравейник. Там слышно, как опята лезут на пни, лист — на лист, здесь же только мох хлюпал под ногами. Даже зеленые лягушки с золотыми глазами телескопов уходили под воду без взрыва и щелканья.

— Приволье-то какое, — сказал бригадир. — А тут...

И я понял: "А тут в тюрьму идешь".

Ветер пробежал вдоль по камышам, и они заколебались, задвигались, задышали, бесшумно показывая свои широкие голубоватые лопасти и изнанки. Сзади нас раздался громкий, короткий, отрывистый писк. Я оглянулся. Это та белая птица снялась с ветки и полетела. Она кувыркалась, становилась то боком, то плоскостью, словно норовя нащупать подходящий воздушный ток. Наконец, видно, нащупала его и спокойно взмыла, набирая высоту.

"Нет, окончательно все это глупость", — решил я.

Через минут пять мы выбрались на шоссе, и Потапов шмякнул мешок на асфальт.

— Дошли, — сказал он.

Мы подошли к павильону. Павильон этот стоял у автобусной станции. Был он новенький, легонький, разноцветный, лакированный и весь блестел. Народу набралось уже порядочно. С десяток человек сидело, несколько стояло у стойки. Кто-то спал, положив голову на стол. Красивая рыхлая блондинка в белом фартуке стояла над бочкой, и кружка так и летала у нее в руках.

— Молодец, Маша. Так ты никогда не проторгуешься, — похвалил бригадир. — Ну-ка и нам по полной.

Продавщица поглядела и засмеялась.

— А мы уж вас вспоминали, — сказала она весело. — Тут ваш приятель из пограна заезжал с компанией. Это беленькая что, его жена?

Потапов посмотрел на меня.

— Чуешь, Алексей? Вот где она, наша Софа-то. И долго сидели? — спросил он.

— Да нет, с полчаса, говорят — встречают кого-то: профессор московский, что ли, должен приехать.

— Профессор? — насмешливо переспросил Потапов и ногой загнал мешок под стол. — Теперь что-то все стали профессорами. Вот и я тебе профессора привез. Высший специалист по пятакам. У вас там ребята старых железяк нигде не находили?

Продавщица посмотрела на меня.

— А вы не из музея?

— Из музея, — ответил я.

— Постойте, — сказала она.

Оставила кружку, подошла к столу, выдвинула ящик и достала оттуда какую-то бляшку и протянула мне. Я поглядел. Формой и цветом бляшка напоминала большой березовый лист. Были видны на ней и остатки каких-то узоров. Я подбросил бляшку на ладони. По тяжести это могло быть золотом или электроном. Так назывался сплав, употреблявшийся для монет и ювелирных изделий (античного ширпотреба, что ли) .

— Откуда это у вас? — спросил я.

Она усмехнулась.

— Да пьяный один дал. На тебе на зуб, говорит. Я спрашивала у нашего шефа, он говорит — латунь.

Я попробовал бляшку на зуб и вдруг совершенно ясно понял, что это золото, и очень древнее, червонное. Я даже сам не знаю, откуда пришла ко мне эта уверенность. Вкус, что ли, у золота особый или по-особенному оно подается под зубом. Но, в общем, я уже не сомневался, что где-то поблизости действительно разрыли и разграбили курган.

— Давайте я проверю в лаборатории на кислотность, — предложил я.

— Да берите, — охотно согласилась она, и в ее руках снова зашипели, запенились и залетали кружки.— Пиво у нас сегодня настоящее, жигулевское. А Терентьева, уборщица, у вас работает в музее?

— В музее? А-а!

И вдруг я что-то сразу понял, что-то щелкнуло как будто у меня в голове, и я сразу решил, к кому идти, что говорить.

— Ты далеко? — крикнул Потапов.

— Ты заказывай, а я сейчас. — И выбежал на шоссе голосовать.

Около самого павильона над раскаленной жаровней, черной, как дракон с тупо обрубленной головой, над четырьмя уродливо вывернутыми лапами ее стоял духанщик. Он махал кожаным опахалом, снимал и подкладывал дракону палочки шашлыка, а в такт его взмахам круглые кривые отверстия на боках дракона наливались огнем, как кровью, и оттуда тянуло тонким березовым угаром. Пахло шашлыком, красным перцем, луком, уксусом и еще чем-то рыночным. Другой духанщик, желтый, худой, голый до пояса, как факир, с выступающими ребрами, все время выхватывал из огня железные прутья и бросал на тарелку. Все это по-базарному, свободно, шумно и весело. Он кропил шашлыки желтым уксусом из одной бутылки, красным перцем из другой, засыпал рубленым луком и совал подручному. Подручный, подросток, в пышной, золотом шитой тюбетейке, серьезный и строго улыбающийся, как молодой будда, принимал деньги и совал тарелки в протянутые руки. Гуляющие подходили со всех сторон. Подъехал с гор голубой курортный автобус и остановился, мягко покачиваясь. Посыпались и побежали к духанщику пассажиры.

И вот, смотря на них — веселых, беззаботных, с рюкзаками и гитарами, на духанщика, на его доброго черного дракона, — я опять почувствовал, что все, чем мы забили себе голову, совершенно невозможно и невероятно.

Подошел Потапов и остановился рядом.

— Да не будет тебе ничего, — сказал я. — Выгонят тебя с мешком, вот и все!

Он только вздохнул и головой покачал.

— Ох! — сказал он. — Ну-ну...

Около въезда в город, где теперь памятник Абаю, я крикнул шоферу, чтоб он остановился. Посередине шоссе стояла Клара и готовилась голосовать. Была она белая, ажурная, с розовым зонтиком в руках — такие девушки на большой проезжей дороге не стоят более пары минут. Увидев остановившуюся вдруг машину, а потом нас, она запрыгала, завертела зонтиком (извечная студенческая манера останавливать машины) и радостно закричала:

— Вот как кстати! Вот как кстати! А я уж второй раз как к вам. Здравствуйте, хранитель! Добрый день, Иван Семенович!

Была она тонкая, гладко причесанная, высокая, и Потапов посмотрел на нее и отвернулся. Я молча кивнул головой. Клара вопросительно взглянула на нас и сразу осела. Я наклонился и открыл ей дверцу:

— Садись! Бригадир, ну-ка подбери мешок.

Она влезла, села рядом со мной и сразу примолкла.

— Так куда же теперь? — спросил шофер.

— К собору, — ответил я. И объяснил Кларе: — Едем к директору. Будет один разговор.

Она не спросила, о чем, испуганно поглядела на меня и отвернулась.

Глава шестая

В директорском кабинете было темно, а в коридоре около печки мирно дремал старый казах с ружьем, и мы его еле-еле добудились. Он продрал глаза, зевнул, посмотрел на нас и сказал, что директора нету.

— Так, может быть, он на заседании в каком-нибудь... — робко сказала Клара.

И так могло быть, конечно. Но тогда мы просто попадали в идиотское положение. Что же, ночевать с убитым змеем, что ли? Мы на диване, а он на полу? Кроме того, мы сейчас обязательно должны были куда-то спешить, кому-то рассказывать, что-то делать, что-то доказывать, а не спать. Мы стояли с Потаповым и молча глядели друг на друга, не в силах сообразить, что же надо делать.

— Да в чем же дело наконец, что у вас там, в дурацком мешке? — вдруг воскликнула Клара.

— Смерть свою за собой таскаю, — усмехнулся бригадир.

И тут сторож вдруг посмотрел на него и сказал:

— А ведь похоже — он где-то здесь! Столяр от него приходил за лампочкой, говорит — директор послал. Сходите-ка к нему в столярку.

Но и в столярке никого не было. Опять мы стояли и думали. Но тут вдруг какое-то вдохновение осенило меня, я схватил мешок и сказал:

— Пошли!

Обогнули все здание и около спуска в глухой церковный подвал на круглом сирийском надгробье, высеченном из гигантского голубого валуна (сколько раз я говорил директору, что его нужно убрать), увидели деда. Он сидел и курил. Я его окликнул. Он поднял голову и спросил, как всегда ничему не удивляясь:

— Неуж столько золота накопал?

— Где директор? — спросил я свирепо.

Он усмехнулся.

— Ну а где ж ему быть? Дома чай пьет с клубничным вареньем.

— Ты не ври, — сказал я сердито. — Здесь он где-то...

— Ишь ты, как тебе некогда, — удивился дед. — Да ты только что приехал, что ли?

— Да вот так, мне некогда, — огрызнулся я. — Где, спрашиваю, директор?

— Дома.

— Нет его там.

Он скучно вздохнул и затянулся.

— Ну, так, значит, тебе лучше знать, где он, — сказал он равнодушно и отвернулся.

Я постоял, подумал и вдруг опять что-то понял.

— Постойте-ка, — сказал я и скатился в подвал.

Странный был у нас этот подвал — темный, глубокий, сырой, ступеньки у него были узкие, сколотые, выщербленные. Для чего попам понадобился такой подвал, я так и не знаю, — может быть, покойников они туда затаскивали. Но у нас в нем лежали камни: сирийские надгробья, мусульманские плиты с полумесяцем, десяток гранитных баб, стащенных со всех концов степи. Деду как-то предлагали этот подвал под столярку, но он отказался, сказал: "Это, значит, мне из ямы в яму? Нет, я еще жить хочу, у меня внук университет кончает. Вот самогон здесь гнать — это нормально: пожара не будет".

Итак, я сбежал по ступенькам и очутился как в каменной пещере. Передо мной была железная дверь; даже в сумерках я понял, как она походит на крыло дракона — зеленая, тонкая, перепончатая, злая. Я стукнул в нее кулаком. Никто мне не ответил. Я ударил ногой так, что она загудела,— опять не ответили. Тогда я увидел около новой проводки белую грушу и несколько раз ее дернул. Раздалось что-то очень противное, дребезжащее, жидкое, как будто покатилась по ступенькам и разбилась пара бутылок. Опять никто не ответил. Ничего не понимая, я поднял голову и увидел на фоне звезд Потапова. Он сидел наверху и курил, лицо у него было утомленное, усталое и такое же серое и бесчувственное, как у тех каменных баб, что мы стащили со всех степей и заперли в этом подвале. Тогда я скверно выругался, плюнул и хотел поддать эту проклятую

дверь уже по-настоящему. Но тут Клара отодвинула меня от двери и громко приказала:

— Митрофан Степанович, откройте.

За дверью что-то произошло, послышались чьи-то шаги и голос директора спросил:

— А дед где?

— Да отворяйте же, отворяйте! — крикнул я бешено.

— Что? Уже? — беззлобно спросил директор и открыл дверь.

Клара сразу нырнула в темноту.

— Давай, — махнул я Потапову.

Он так и скатился с мешком.

— Проходите, — сказал директор и захлопнул дверь

Сразу стало так темно, что я уж не видел собственных рук. Со всех сторон нас обняло запахом устоявшейся сырости, плесени и отсыревшего камня. Директор взял меня за плечо и отвел куда-то. У другой стены вспыхнула папироска, и на секунду я увидел щербатый известняк — крепкую тюремную кладку стены...

— Иди, иди, — сказал директор, — не бойся, ям нет!.. Да брось, брось мешок. Это что, яблоки?

Я покачал головой.

— Коровьи кости? — спросил он и приказал кому-то: — А ну давай... А мы тут над макетами работали, — объяснил он мне.

Опять произошло что-то в темноте. И вдруг перед нами возник целый сверкающий город. Поднялись купола радиобашни, забил голубой фонтанчик, вспыхнули витрины магазинов, побежали автомобили, закрутилось огромное огненное колесо. А над всем этим, как огромный голубой кристалл, куб или октаэдр, возникло здание музея. Было оно такое же, как и на том листе ватмана, который мне показал однажды директор: те же арки, портики, переходы. Я узнал и ту башню, где я буду сидеть со своими камнями, и те светлые покои, где разместятся директор

и Клара. Четыре человека до сих пор только знали об этой тайне (я оказался недостойным ее). И трое из них работали над ней своими руками. Все это огненное, сверкающее, великолепное, составленное из крохотных электрических лампочек, простояло минуту перед нами и так же исчезло бесшумно, оставляя нас в полной темноте.

— Ну, как? — спросил директор.

— Понравилось? — вежливо спросил меня чей-то ласковый голос.

Я только вздохнул.

— Вот какой будет наш музей через три года, если не случится война. Уже отпущены средства.

Зажегся ровный электрический свет (это вошел дед), и подвал опять стал подвалом. Было очень грязно и беспорядочно в этом подвале, стоял верстак со свежевыструганными досками, лежали груды стружек (вот уж верно, что дед не боялся ни пожара, ни пожарной инспекции), ящик с инструментами, к стене были прислонены большие мотки проволоки; виден стал и самый макет, над которым они работали. Маленький архитектор стоял над ним и, склонив свою странную, неприятно красивую голову, заглядывал в окно одного из зданий. Оказывается, подвела проволока, один квартал так и не вспыхнул. Сейчас это выглядело довольно жалко — и лампочки и крашеный картон. Но я подумал: а может, он и в самом деле гений, второй Зенков, ведь собор-то они сломают, конечно.

— Через две недели, — сказал директор, — мы все это выставим в здании городского Совета на пленуме, пускай посмотрят.

Клара стояла сзади директора. Она замерзла так, что сделалась черной и некрасивой.

— Так что кончай раскопки и будем заниматься выставкой, — сказал директор, снова спускаясь в сегодняшний день и становясь директором музея. — Что ты такое привез? Кости? Там, говорят, вы черт знает что наделали. Мне из колхоза звонили. Зары-

вайте вы эту яму к чертям — может, верно, заразная.

Бригадир опустился на колени и размотал проволоку на мешке.

— Вот, — сказал он робко и вытряхнул змея на белые плиты.

Выглядел змей сейчас очень жалким и ненастоящим, как будто бы сделанным из черной гуттаперчи. Директор опустился на корточки.

— Так вот что было!.. — воскликнул он протяжно. — А, Кларочка? Видели, что они нам притащили? Полоз...

Огромная, кристальная ясность и трезвость исходила от этого человека. И с ней было несовместимо все — и наши страхи, и нелепость положения, и все то, что мы пережили за эти дни.

— Да уж очень он большой для степного, — сказала Клара. — Ведь те, что у нас стоят в отделе "Природа"...

— Да, здоров, здоров. — Директор поднялся с колен и отряхнул руки. — Такого я еще не видел. В нем что, метра полтора будет? Клара, вы вот что...

Она хотела улыбнуться, но вдруг ее всю передернуло, и она только щелкнула зубами.

Тут только директор заметил ее голые плечи и всплеснул руками.

— А ну-ка, давай отсюда, — сказал он строго. — Кто за тебя отвечать-то будет? Ишь вырядилась, голенькая.

Она хотела возразить, но он закричал:

— Марш, марш, мы сейчас вслед идем. Дед, проводи, набрось ей там на плечи мой плащ!

Когда они ушли, наступило недолгое молчание. Директор что-то обдумывал.

— Ну, вот что, Иван Семенович, — сказал он решительно. — Вы его оставляйте здесь, мы его у вас купим, чучело сделаем или заспиртуем и дощечку сочиним: "Гигантский полоз, убитый в горах Алатау". А может, он и вырос тут так, а? — обратился

он ко мне. — Уж больно он, правда, здоров. Таких "корольками" называют. Той же самой породы змея, ну, вроде как король среди своих. Бывает, бывает такое у них. Это и старики рассказывают, и читал я где-то об этом. Ты сходи завтра, хранитель, на биофак, там есть препаратор. Пошли, товарищи! А змею оставляйте, оставляйте тут, бригадир. Здесь холодно, она не испортится. — Он пошел и ласково тронул архитектора за плечо. — Ну, пошли, пошли, дорогой, — сказал он заботливо. — На вас сегодня даже фуфайки нет.

На улице было уже совсем темно. Клара, высокая, прямая и опять очень красивая, стояла в плаще директора, наброшенном на плечи, и, закинув голову, смотрела на звезды.

— Самолет пролетел, — сказала она. — Вон-вон, над горами огонек. Часто что-то стали они летать за последнее время.

— Да, часто, — невесело подтвердил директор. — Очень часто.

Настроение у него заметно испортилось.

— Ну а раскопки у тебя как? — спросил он хмуро. — Одних копыт да рогов накопал, а? Бросай все это дело. Сматывай палатки и приезжайте сюда. Вот и все.

Я вынул из кармана бляшку и протянул ему. Он равнодушно взял ее в руки, осветил папиросой и вдруг ахнул, высек огонь из зажигалки и стал жадно рассматривать.

— Откуда это у тебя? — спросил он.

Я сказал, что дала в горах буфетчица.

— А у нее откуда?

— А ей принес какой-то пьяный.

— Да? Пьяный? — в восторге крикнул директор. — Вы слышите, Клара, пьяный! Ну, все! Значит, есть где-то спящая красавица, есть, есть! Нам тоже вчера принесли в музей две такие бляшки и серьгу с верблюдом. Я уж хотел посылать за тобой, а Клара сказала: "Да ведь это из нашей же коллекции, у нас

при прошлом директоре всю коллекцию скифского золота раскрали". Клара, смотрите, видите? — И он сунул ей бляшку в руки.

— Да, — сказала серьезно Клара, глядя на меня. — Да, хранитель, значит, действительно ваша красавица ждет вас где-то. Надо искать.

Я промолчал.

— Ваша красавица, хранитель. Ваша! Археологическая! — повторила Клара с нажимом.

Директор поглядел на нее, хотел что-то сказать, но вдруг махнул рукой и отошел.

— Пока! — крикнул он. — До завтра.

— Ладно, — сказал я Потапову. — Пошли и мы.

И мы пошли.

— Стойте! — крикнула вдогонку Клара. — Стойте. Я вас провожу. — Она подбежала к нам. — Ну, стойте же, товарищи. — И она нас обоих подхватила под руки. — Завтра, если будет хорошая погода, надо съездить в горы. Если это действительно горное золото...

К себе я ее не пустил. Мы попрощались на пороге.

— У меня очень не убрано, — сказал я ей.

Потапов как вошел, так и рухнул на диван, только сапоги сбросил. Когда я вернулся с чайником, он уже храпел. Лицо у него было изможденное, желтое, с запекшимся ртом. Я осторожно приподнял его голову и подсунул подушку. Он даже и не шелохнулся, только бормотал что-то. Я пошел, сел за стол, налил себе холодного чая, но только пригубил и отставил. Не хотелось ни сидеть, ни пить, ни думать. Тогда я достал из шкафа пальто, бросил его на пол около дивана, положил в изголовье пиджак, лег и сразу же заснул. Спал я часа три и проснулся от собственного крика. Впрочем, может, это мне тоже приснилось. В комнате было по-прежнему тихо. Светлый лунный квадрат лежал на полу, и в нем шевелились какие-то неясные тени. Тишина стояла такая, что

было слышно, как перекликаются собаки всего города. Я подошел к окну, асфальт блестел (значит, пролетел дождик), с другой стороны улицы поднимались неподвижные темно-синие тополя — парк. И ни прохожего, ни проезжего! Все спало, спало, спало... "Ну, хоть одно-то хорошо, — смутно подумал я, — с этой дурацкой историей теперь покончено! Впрочем, и вообще-то мы все придумали со страху! Что же?.. Ведь и черт когда-то существовал. Его тоже видели". Я вынул из кармана бляшку и немного повертел ее в руках. "Вот бляшка: где-то разграбили богатое женское погребенье, и золото уже пошло гулять по рукам. Не сегодня завтра они появятся в скупке и у протезистов. Значит, надо не опоздать, завтра же сделать заявку. Пойти в управление милиции или в НКВД"... И тут вдруг кто-то совершенно ясно и отчетливо сказал мне в ухо:

— Уходи, пока не поздно! Скажи, что получил телеграмму от матери, и уезжай! Чтоб завтра тебя здесь не было! Слышишь?

Это была трезвая, совершенно дневная мысль, из числа тех, которые приходят внезапно, поражают своей ясностью и достоверностью и именуются "озарением". Я вздохнул, отошел от окна и уже хотел лечь спать, как в коридоре рядом хлопнула дверь, заплакал ребенок и женский голос запел:

Все люди-то спят,
Все звери-то спят!
Одна старуха не спит,
У огня сидит,
Мою шерсть прядет,
Мою лапу варит.
Скырлы, скырлы, скырлы,
Отдай, старуха, мою лапу.

"Это у нового завхоза поют", — подумал я.

Наступила минута тишины, потом резко скрипнула колыбель и опять тот же голос повторил таинственно и зловеще:

Отдай мою лапу, старуха.

"Вот где чертовщина-то", — подумал я и поглядел на часы.

Было уже три часа. Спать не хотелось. Прошвырнуться, что ли? Может, тогда лучше засну...

Я очень люблю ночную Алма-Ату: ее мягкий мрак, бесшумные ночные арыки, голубые прямые улицы, дома, крылечки, низкие крыши. Весной — тяжелые и полные, как гроздья винограда, кисти сирени; осенью — пряный аромат увядания; зимой — сухой хруст и голубые искры под ногами. Как бы ты ни волновался, что бы ни переживал — пройди этак кварталов двадцать, и все станет на свое место: сделается ясным и простым. Только не торопись, а иди потихонечку, насвистывай что-нибудь, кури, если куришь, грызи семечки и отдыхай, отдыхай!

Путь, который я проделывал в эти часы, всегда одинаков: сначала через весь город к головному арыку — посмотреть, как несется по бетонному ложу черная бесшумная вода, потом вниз, к Алма-Атинке, к ее плоским низким песчаным берегам; посидеть там, опустить ноги в холодную воду, помочить голову, а потом встать и, не обуваясь, пройти по не совсем еще остывшему асфальту в парк; сделать полный круг около него, потолковать с ночным сторожем — казахом-стариком, отлично, без запинки говорящим по-русски, покурить, что-то такое от него выслушать, что-то такое ему рассказать и уже усталым, успокоившимся, ленивым и добрым идти и ложиться. Вот этот путь я проделал сейчас. Но когда я подошел к собору, то увидел, что на лавочке со сторожем сидит и еще кто-то незнакомый в стеганой ватной куртке. "Кто же это такой?" — подумал я.

— Нет, это не тот Шахворостов, — сказал сторож. — Этот — Петр Андреевич! Он не особо богатым был. У него всего один колониальный магазин на базаре, а ряды не его, а Семена Фомича.

— Все Шахворостовы богатые, — категорически ответил тот, в куртке, и я вдруг узнал моего кладоискателя.

”Подойти”, — подумал я и кашлянул. Но они разговаривали и не слышали.

— А Петр Андреевич был простой, — сказал сторож. — Мы с ним пили вот так! И эта его дочка, что бухгалтером в утиле работает, всегда со мной здоровается, как увидит.

— Так ты верно знаешь, что она все еще там, на приемном пункте? — спросил старик, что-то прикидывая.

— Хм, странное дело, — усмехнулся сторож. — Пойди посмотри, какая у меня дощечка висит. ”Собирайте рога, кости, тряпки. Получите костюм и велосипед”. И все это нарисовано красками. Иду раз, а она с этой дощечкой мне навстречу: ”Прибейте, дедушка, куда повидней, видите, какая она нарядная. Вся блестит!” Я и повесил возле численника, кто приходит — всегда смотрит.

— Так я завтра схожу, — решил Родионов. — Там их целый грузовик: и бараньих и коровьих. Ну что ж? Ты вот так целую ночь и сидишь на лавочке?

Сторож взглянул на небо.

— Вот сейчас пойду в столярку, лягу, — сказал он, — теперь уже до утра никто не придет. Директор иногда ходит.

— Что это он? — удивился Родионов.

— А кто ж его знает, — ответил сторож, зевая и качаясь от зевоты. — С женой что-то, наверно.

— Да что ты! — радостно воскликнул Родионов.

Но тут я вышел из тени, и они оба смешались. Сторож начал лепить папироску, а кладоискатель шарить по карманам. Я помахал им рукой и сказал:

— Привет вам, громадяне! Все полуночничаете?

— Служба такая, — строго улыбнулся сторож. — Не отойдешь ведь. Вот говорил дирекции: овчарку надо. Как бы нужно! Я бы, скажем, пошел в обход...

— Ладно, дед, — сказал я и сел. — Не крути ты мне шарики, тебе-то и одному тут делать нечего, а то — овчарку ему! Что давно вас не видно? — обернулся я к Родионову.

Он неуверенно посмотрел на меня.

— Я только что из гор, — ответил он, — вот записку вам... — Он полез в карман. — Два раза проходил мимо вашей резиденции. Огонь горит, а голоса не слышно — то ли спите, то ли работаете. Я не решился. Вот, пожалуйста... — И он протянул мне записку.

Выплыла луна, стало совсем светло, и я без труда разобрал убористый, очень четкий почерк Корнилова.

"Дело получается дрянь, — писал он. — Как вы знаете, черт нас попутал открыть огромное скопление костей крупного и мелкого домашнего скота. Сюда их сбрасывали, наверно, веками (попадаются и черепа диких животных — барсука, волка, лисы). Все это очень интересный материал для тем "Охота и животноводство диких усуней" и "История фауны голоцена". После того как все это зарыли, я приказал тихонько выбирать целые черепа и плюсны ног. Но тут кто-то распустил слух, что мы опять раскапываем скотское сапное кладбище. Паника началась страшная. Колхозники перестали к нам ходить, жена бригадира прислала за самоваром, а про стаканы сказала: пусть остаются, мне их не надо. Козлову (это, помните, тот, который интересовался красавицей) запустили в голову кирпичом. Кто, за что, он не говорит, но ясно: колхозные ребята. Поговорите с директором — может быть, он приедет с милиционером".

Я сунул письмо в карман и сказал:

— И на кой черт ему понадобились эти кости, ну, зарыл бы их с самого начала, и все! А то ведь вон что получается.

Родионов встрепенулся и так обрадовался, что схватил меня даже за руку.

— Да ведь и я ему говорил: "Зарой!.." — азартно воскликнул он. — На кой черт вам эти коровьи лопатки? Это что, вещь! Это древность? Археология? Э, да что! — Он досадливо махнул рукой и вдруг ска-

зал своим обычным тоном, скрипучим и злым: — Вот бригадир Потапов вчера в город поехал докладывать.

— О чем, — спросил я, — кому?

— Ну о чем? О том самом! — ответил он сердито.

— А кто вам про это?.. — спросил я.

Он помолчал.

— Никто, — сказал он сухо, — сам знаю!

Тут мне что-то пришло в голову, и я сказал:

— Это Михаил Степанович вам сообщил.

Он не ответил, только быстро посмотрел на меня, и я понял, что угадал.

"Здорово! — подумал я. — Везде он успевает!"

Дед-сторож сидел на лавочке и преувеличенно громко зевал. Ему давно хотелось идти в столярку на боковую, но при мне покинуть пост он не решался.

— Ну ладно! — сказал я. — Утро вечера мудренее. Пойдемте спать.

— Куда это? — спросил Родионов удивленно.

— Ко мне.

Он вдруг как-то потерялся, словно обомлел, и робко поглядел на меня.

— Да ведь поздно, — сказал он. — Я к вам лучше завтра, если позволите.

— Идем, идем, — сказал я категорически и дотронулся до его руки. — Вы ведь не здешний, так куда вы сейчас пойдете?

Он переглянулся со сторожем.

— Вот и ему не даете спать! Идемте!

Входная дверь была открыта. На пороге Родионов остановился и стал разуваться. Я хотел ему сказать, что это уж лишнее, но он замахал на меня руками, поднялся на цыпочки и проследовал по коридору в чулках. Бригадир Потапов лежал по-прежнему на боку. Но я сразу увидел, что он уже просыпался: на столе лежали его часы с откинутой крышкой и стоял наполовину пустой стакан чаю. Родионов, как вошел, так и остановился посреди комнаты. Я указал ему на стул. Он сел. Все бесшумно, быстро, предупредительно.

— Чаю? — спросил я.

Он покачал головой.

— Ну, стаканчик-то?! Я поставлю на плитку, — сказал я.

— Да! — воскликнул он.

— Тише, — шикнул я, — спят!

И тут за стеной опять запели:

Все люди-то спят...

— Страшная песня, — сказал я, совершенно забыв про то, с кем говорю.

Но он мне неожиданно ответил:

— Ужасная! Я когда был маленький, так прямо замирал от нее. Да затем ее и поют, впрочем...

— Зачем?

— А вот чтоб напугать: у ребенка дух захлестнет— он прижмется, как заяц, и заснет.

Я в недоумении посмотрел на него. Это мне еще в голову не приходило.

— Да ведь их несколько, таких песен, — улыбнулся он. — Вон про козлика есть, так та еще страшнее.

— Это что: "Жил-был у бабушки серенький козлик? — спросил я. — Вот как, вот как, серенький козлик?"

— Нет, нет, это не та, — ответил он. — Тут вот что...

Он подумал и запел: голос у него был тихий, приглушенный, пожалуй, даже сиплый, но пел он хорошо, и мне сделалось страшновато. Ночь, тишина, все спят, и только в этой комнате какой-то недобрый, колючий старик поет за стеной...

Сложил эту песню, безусловно, гений. Никаких наших штучек он не знал, никакими художественными средствами не пользовался и все-таки сумел достичь поистине страшной выразительности. Страшное заключалось в самой монотонности этой песни, в гипнотизирующих повторах ее (ведь она, черт ее побери, колыбельная), которые каждый раз звучат поиному, но все страшнее и страшнее. И есть в этой песенке еще какой-то пафос пустоты: вот лес, горы,

поля, непроглядная тьма, и из этой тьмы раздаются разные звериные голоса. С первых же строк чувствуется, как холодно, страшно этому серому козлику блуждать по лесам и долам. Сейчас мне очень трудно точно вспомнить, что же именно пропел старик. Ведь это народная песенка, и поэтому всюду она поется по-разному. Но вот примерно, что я услышал:

Ох ты зверь, ты зверина,
Ты скажи свое имя...
Ты не смерть ли моя?
Ты не съешь ли меня?

Это обычным дребезжащим голоском заблудившегося козлика ("козлетоном"). И из непроглядной тьмы (только, как свечи, горят звериные глаза) отвечает сиплый волчий голос:

По лесам я брожу,
Каждой костью дрожу,
Мне в обед сотня лет,
А покоя все нет.

Тут голос волка прерывается, на секунду он как бы забывает обо всем, кроме своей волчей доли, и тоскливо повторяет:

Все нет, нет и нет.

А затем волчий голос взлетает, как топор, и бьет уж наотмашь:

Да, я смерть твоя!
Да, я съем тебя!

— И остались от козлика рожки да ножки, — сказал Родионов своим обычным голосом и пощупал рукой чайник.

— Сейчас, сейчас поставлю, — сказал я.

— Вот такая-то песня, — вздохнул Родионов, и по его голосу я понял, что он все еще находится под свирепым обаянием этой колыбельной.

Я отошел, поставил чайник и вернулся.

— А вот Потапов, — сказал я, — сегодня свою смерть за собой в мешке таскал.

И только я сказал это, как Потапов (он до сих пор лежал совершенно неподвижно) поднялся и сел.

— Наша смерть в игле, — сказал он, — а игла в яйце, а яйцо в щуке, а щука в море. Вот так бабки нам сказывали. Здравствуйте, граждане! — Он зябко передернул плечами. — Замерз что-то. То ли устал, то ли опять начало трясти.

— А тебя что? Трясет? — быстро спросил Родионов.

— Ужас как, — ответил Потапов и доверчиво взглянул на Родионова. — Я ее, проклятую, в Галиции в шестнадцатом году захватил. Понимаешь, сырой воды выпил из колодца, и в тот же вечер меня и забрало. Уж трясло, трясло... Как солнце заходит, так я без памяти, рубашка как из ведра! Хины я этой проклятой пуды, ну, просто пуды съел! Оглох даже! Приехал домой, так родной шурин не узнал: "Нет, говорит, это не ты, это еще какой-то". Вот этим и спасся.

— Хорошее спасся! — удивился я.

— А вот видишь, жив, — улыбнулся он. — Э, да что с вами, молодыми, говорить. Там весь наш полк подорвался. Там, знаешь, какое дело было? Там очень ужасное дело было! Там целые дивизии в котлы шли... Там нас немец как хотел, так и бил. Дисциплины никакой, а шпионаж этот наскрозь, наскрозь! А это все Сухомлин производил. Он от Гришки Распутина за нас, говорят, сто миллионов золота получил. Вот он знает.

— Буровишь ты невесть что, — с досадой сказал Родионов. — При чем тут Сухомлин? Тут царизм...

— А Гришка кто? Не царизм? — быстро спросил Потапов.

— А Гришка — простой сибирский мужик, конокрад. Но только что гипнозу много имел, вот он Алису и того! А что в штабах происходило, он того знать не мог. Эх, вроде грамотный ты человек, газеты читаешь, а...

Я подошел к плитке, снял чайник, всыпал прямо в него горсть мелкого чая и стал разливать в пиалы.

В этих людях еще жило, продолжалось и волновалось прошлое, то, что для меня вообще не существовало.

— Пей вот! — сердито приказал Родионов. — Тебе сейчас обязательно нужно домой; приехать, сухой малины заварить с медом и чашек пять опрокинуть, а потом — в полушубок и пропотеть хорошенько. Проснешься здоровым! А так толку не будет. Если она точно пришла...

С минуту мы все молча пили.

— Сухомлин, — повторил Родионов, усмехаясь. — Ты мне про него не говори. Я его на Кавказском фронте вот как тебя видел. — Он усмехнулся. — От него крест получил! Вот так же проснешься ночью, выйдешь на улицу — а ночи там ясные, ни облачка! Стоишь и думаешь: а уж, верно, стоит где-то у стеночки та австрийская винтовочка, в которой лежит моя смертушка. Стоит и дожидается своего часа. Он в то время из австрийских нас бил! Точный бой, за версту снимает. Вот и выходит: ты тут стоишь, а смерть твоя в окопе: ее из Берлина привезли, в австрийское дуло вложили, турку в руки придали. А задумал ее царь Николай да и кайзер Вильгельм из-за австрийского принца в Сербии. Когда ее обговаривали, тебя не спрашивали, а умирать — так небось сразу позвали. Понял? Вот в чем дело! А ты Сухомлин! Это что?

— Это, конечно, так, — согласился бригадир.

— Ну, вот то-то, что так, — ответил Родионов. — А Сухомлин — дело пятое. Из-за этого я и к Красной гвардии примкнул. Понял?

Бригадир что-то тихо ответил. И вдруг они как-то разом сблизили головы, стаканы и очень хорошо заговорили о брате бригадира. Как же это могло так выйти? Почему? И кто в этом виноват, если он не виноват?

Я увидел, что им не до меня, и тихонечко вышел на улицу. Уже почти рассвело. Небо было высоким, и хотя казалось оно еще тускло-зеленоватым, но на горизонте уже ползла и разливалась светло-розовая полоса, как будто над горами медленно раскрывалась огромная перламутрица. Два старика сидели за столом, пили чай и толковали о жизни. Оба они любили ее и старались сделать как можно более понятной, честной и чистой, и оба они не знали, как это сделать. А там в горах ворочался и не спал Корнилов. Что-то ничего путного у нас не получалось с древним городом, а время все шло и шло, и он начал терять всякую надежду. Директор тоже не спал и если только не лежал на диване с мокрым комком на лбу, то ходил по кабинету большими бесшумными шагами и думал. Думал о маленьком, горбатом архитекторе, о том макете, который он нам показал сегодня; о наших раскопках; о том, что истрачено столько денег, а результатов никаких; что мы его обязательно впутаем в какую-нибудь дурацкую финансовую историю; потом (сердито усмехаясь) об удаве и о том, как со всем этим покончить; опять об архитекторе в связи с проектом нового здания музея и реконструкцией города и, наконец, о том, что все это неважно и ненужно, потому что реконструкции не будет и скоро грянет война. Директор думал о ней и ходил. ходил по комнате, подходил к столу, пил прямо из горлышка холодный горький чай и прикидывал, что же тогда произойдет. Что будет со мной, с Корниловым, со всем музеем в тот день, когда заработают призывные пункты, подвалы окажутся вдруг не подвалами, а бомбоубежищами, а он не директором музея, а командиром какой-то части. Он думал об этом и не спал. Зато, очевидно, крепко спала за стеной и ни о чем не думала его жена Валентина Сергеевна. А в другом конце города спала Клара — длинная, тонкая, сильная, вытянувшаяся на кровати, как в строю. А еще дальше, в горах, спала племянница бригадира Потапова, которая

так хорошо умела смеяться, когда надо было работать. Она, верно, тоже сейчас бормотала и улыбалась во сне. Тихо и мирно спали наши женщины, веря в нас, в нашу мужскую силу, доброту, ум, мужество и в то, что мы сумеем не допустить в мир ничего плохого.

А где-то там, верст за двадцать, в глухом урочище, на берегу грязной речонки, под огромными голубыми валунами спала уже второе тысячелетие та, которая когда-то была первой красавицей, принцессой, невестой, а может быть, еще и колдуньей.

Все вокруг нее было овеяно темнотой и тайной. Она не была похоронена и оплакана, над ней не возвели погребальной насыпи, не поставили надгробного камня. В день свадьбы она вдруг пропала из глаз людей. И два тысячелетия никто не знал, как же это случилось и где она находится. При жизни она была высокая, с тонкими пальцами, продолговатым лицом, и все считали ее, конечно, красавицей. Сыплет дождик, летят мокрые листья, идут низенькие тучи, грязь прямо хлещет с гор жирными потоками. Но она надежно укрыта валуном, и две тысячи лет, прошедшие над ней, ничего тут не изменили. Еще только две-три бляшки из ее свадебного убора попали нам в руки, все остальное цело. Ее еще не нашли и не ограбили. Придет время, и все триста ее золотых украшений — кольца и серьги — полностью переселятся в витрины музея. А сейчас она все еще невеста. И я только стою и гадаю, какая же она?

Вот в это время и прошли около меня две женщины. Одна, та самая, которую за глаза мы звали "мадам Смерть". Я за последние два года видел ее только однажды — в ту ночь, когда увозили завхоза. Но никаких сомнений у меня это не вызвало. Я ведь тоже был понятой. А она была машинисткой особого отдела, и поэтому все, что выходило из ее рук, было секретным, важным и особенным. Полчаса тому назад она закончила печатать длинную бу-

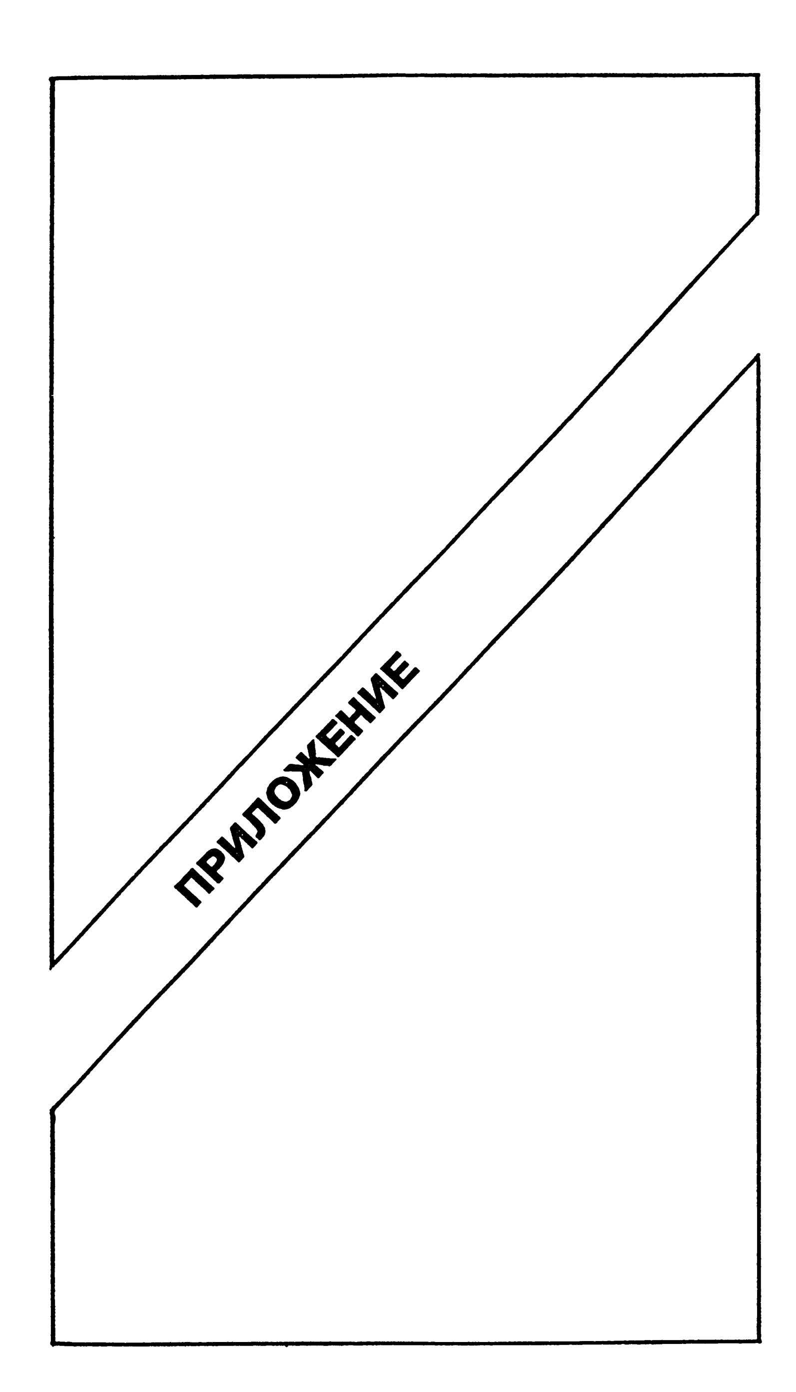
магу, где упоминалась моя фамилия. В бумаге этой описывались наши поступки, приводились отдельные фразы и делался вывод, что мы люди опасные, ненадежные и доверять нам нужно с осторожностью, а одному так и совсем нельзя даже доверять. Машинистка неплохо, пожалуй, ко мне относилась и даже рискнула раз меня предостеречь, но я не послушал, и теперь она, печатая бумагу, думала только о том, чтобы все буквы выходили четко, интервалы и красные строки были расположены правильно, а заголовок и поля достаточны для резолюции.

А рядом, в другой комнате, сидела женщина — красивая молодая блондинка, задумчиво курила и ждала эту бумагу. Ей надлежало сейчас же ее принять и приобщить к чему-то. Она знала всех упоминаемых в этой бумаге и полностью понимала, что по крайней мере для одного из них все это означает. Именно поэтому она была слегка смущена, огорчена... и даже, пожалуй, чуть-чуть взволнована и курила. С человеком, фамилия которого упоминалась в этой бумаге чаще всего и ради которого, собственно говоря, вся бумага и была составлена, ей редко случалось разговаривать. Тем не менее однажды она целый вечер просидела в нетрезвой компании, специально слушая его. Тогда был он, бригадир Потапов, ее начальник, и она, Софья Якушева, работница особого отдела, только недавно, после окончания института, принятая на службу и выполнявшая свое первое задание. И поэтому сейчас ей, должно быть, казалось, что не все в этой бумаге изложено правильно, что из нее ушло что-то очень важное, а появилось что-то совсем лишнее. Герой этой бумаги, обрисованный (вернее, сформулированный) со зловещей традиционной безличностью тех времен (он, оказывается, ”восхвалял”, ”клеветал”, ”дискредитировал”, ”сравнивал”), очень мало напоминал ей того, кто вызвал у нее за оживленным столом неясную, несильную, но все-таки достаточно определенную симпатию.

А к четырем часам утра бумага была напечатана, проверена и отложена в особую папку с надписью: "На визу". И вот теперь, в половине пятого, они обе прошли мимо меня, обе меня сразу узнали и поздоровались. Все было, как и раньше.

Над городом опять стояло высокое холодноватое утро. Пробуждались первые птицы, спешили первые прохожие. Где-то далеко-далеко на высокой чистой ноте звенел первый трамвай, и мы втроем стояли, смотрели на небо, дышали острым воздухом и весело говорили о том, что день установится ясный и погожий.

И хорошо бы сегодня всем троим выбраться в горы.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ЗАПИСОК ЗЫБИНА

Два человека, две встречи из моего не столь уж далекого прошлого стоят у меня перед глазами, и я собираюсь о них рассказать.

Я встретился с этими людьми при обстоятельствах, о которых мне придется еще много говорить потом. Поэтому сейчас я скажу только, что выслушал эти рассказы в конце сороковых годов, на Севере, в месте, не указанном на карте ни кружком, ни крестиком. А здесь нужно было не крестики ставить, а водрузить крест — огромный, гранитный, такой, который можно было бы видеть за пятьдесят верст, столько в этом месте было положено жизней. Да и положено-то как?! Глупо, походя, без всякой пользы и нужды.

Лагерь, в котором я очутился, был крошечный, степной, жалкий, не лагерь, а так, лагеришко, затерянный где-то на грани Сибири и Дальнего Востока. И было-то в нем всего-навсего четыре отделения. Смехота, и только! А тот лагерь, из которого я прибыл, имел добрую сотню отделений и занимал пространство, равное Западной Европе. И звали его "Золотая Колыма". Там была тайга, глухая темень, болота, лесные речки, медведи, глухомань. Отойдешь десять шагов от дороги — и подавай голос, а не то потеряешься.

Здесь же мерзлая равнина, ветер гонит по насту мелкую колючую пыль, и она звенит и поет. И заледенелый курай тоже под ветром звенит, как стеклянный. Ветры гуляли по этому пространству беспрепятственно. Всю ночь около ограды что-то пело, жужжало, завывало, говорило человеческим голосом, а наутро ворота приходилось откапывать. Сугробы вы-

растали в трехэтажный дом. Посмотришь со степи и не поверишь, что за ними живут люди.

Лагерь был сельхозом. Летом и осенью мы работали в поле, сажали и убирали картошку, сеяли сою, фасоль, горох. Что же мы делали зимой, я сейчас положительно не могу припомнить. Но что-то делали всегда, немного, но день был занят полностью.

В это время лагерь стоял ободранный, голый, страшный. Летом он походил на станционный поселок средней руки; стояли какие-то скамеечки, щиты ударников, доска для газет, крытые уборные, еще что-то. У землянок были табуреты, лесенки (мы жили на три метра под землей), у клуба — плакаты. К зиме же ничего не оставалось, растаскивали все. Разжигали костры и варили картошку, бобы, сою, немолотую рожь. Конечно, надо было иметь желудок цапли, чтобы переварить это. Но наши все переваривали. Прекратились все катары, язвы, запоры. Не до них, наверно, было. Летом мы еще что-то воровали, что-то комбинировали. К середине зимы сжирали и сжигали все! Вот тогда жили уж только на пайке. Все свободное время лежали: лагерь-то был инвалидный, освобожденных-то хватало. Лежали молча. Во-первых, все уже переговорили, а во-вторых, просто было холодно. Надо было укутаться с головой во все тряпье, что имелось, и лежать, не двигаясь,— так, чтобы не растратить тепло. Топили кураем. Он горел красивым, белым, высоким огнем, трещал, стрелял, пускал фейерверки, но толку-то от него было чуть. Даже печка, и та нагревалась еле-еле. Ну а около печки, конечно, лежали блатные и всех желающих погреться гнали дрыном прочь. Связываться с ними в ту пору еще не решался никто. И воды не хватало тоже. Сколько ее ни качали из единственного колодца, а все было мало. Так что и кипятком согреться было можно только раз в сутки. Холод в бараке стоял какой-то странный, не сильный, но пронизывающий, гнилой. Каждое утро после развода на работу мыли

полы. Выплескивалось на пол несколько ведер воды, а потом жидкую грязь сгоняли резиновой шваброй в щели пола. С мороза ведра дымились, и доски дымились тоже. Крошечная желтая лампочка, похожая на ссохшийся лимон, едва-едва пробивалась через туман. Около нее всегда висели мутные, желтые, перламутровые радуги. Другого края барака не было видно вообще. Пахло мокрыми, размочаленными досками. Укройся с головой и лежи так, и слушай: вот булькает вода, смешки, переговоры — это дневальные с обеих сторон сошлись посередине барака, стукнулись швабрами, встали и закурили. Значит, через пять минут можно будет подняться, еще через полчаса — выйти (а попробуй-ка спрыгни на мокрый пол раньше! Если так уж тебе приспичило — скачи через головы); еще через час оставшихся вызовут в санчасть. Но идти туда бесполезно: больница полна.

Барак, как свайная постройка, стоит над озером многолетней грязи. Грязь подступает под самые доски, и когда спрыгиваешь с лестницы на пол землянки, навстречу тебе бьют грязевые ключи. Оживает барак только тогда, когда приходит дальний этап. Тогда все окружают новеньких: свежие люди, новые знакомства, сногсшибательные известия о новом кодексе, о пересмотрах, о том, что прокурор, посещая такую-то тюрьму, сказал, улыбаясь: "Подождем еще этот год, а потом..." Мы слушали, иронически улыбаясь, отмахиваясь, посылая их всех к черту... ("Что? Опять новый кодекс — самый высший срок пять лет? Знаешь что, а пошли бы они... С 38-го года слышим".) И верили! Боже мой, как же верили! Как твердо каким-то уголком ничем не замутненного сознания знали, что будет что-то, что непременно должно быть что-то, — справедливость обязательно восторжествует! Нельзя же так — 10, 15, 25 лет! Кто же это выдержит? Да и за что выдерживать-то? Но в амнистию не верили тоже, да и не хотели ее. Лет пять тому назад, когда я впервые прибыл на Колы-

му и был еще "оленем с неотрубленными рогами"[1], со мной заговорил сосед по нарам, бухгалтер вещевой каптерки, желтый, прокуренный старик. Я ему рассказал об огромной всенародной амнистии, проект которой лежит на столе вождя, он посмотрел на меня с усмешечкой и сказал, подчеркивая каждое слово: "Так что вы, молодой человек, тоже из "желающих освободиться по амнистии"? Так знаете, кто вы такой? Прочтите первые буквы, и вы поймете кто!"

Нет, в амнистию здесь никто не верил, и, повторяю, мало бы кто и принял ее (за что нас прощать-то?!), но во все остальное: в новый кодекс, в разгрузку, в пересмотр дел и просто в то, что возьмут да и выгонят, — в это тайно верили все. Но тайно! Тайно!

Хорошим тоном считалось ровно ни во что не верить и махать рукой на все. И только один раз я услышал нечто совершенно противоположное. Вот об этом случае я и хочу рассказать.

Однажды из госпиталя привезли несколько человек. Этап пришел ночью, новеньких наскоро рассовали по баракам, и в тот день их никто не видел, а на другой как-то уж и интерес прошел: не с воли же они! И вот однажды, сразу же после развода, в бараке хлопнула дверь, кто-то остановился на пороге и назвал мою фамилию. "Дверь, гад! — отчаянно крикнул дневальный. — Лето тебе?!" Стояла дождливая, грязная, промозглая осень, и барак был полон туманом. Я приподнялся с нар и крикнул: "Сюда, сюда!" Он подошел ко мне. Это был высокий жилистый человек лет пятидесяти пяти, длинное сухое лицо, впалые щеки, какая-то ржавчина на щеках. А вообще его лицо напоминало мне чем-то старый зазубренный косарь. Такие есть в каждом бараке. Во время генералки ими скребут полы и столы. Мы по-

[1] Так в лагере воры зовут новичков. "Ты давно с воли? Год? Так тебе еще десять лет упираться и упираться рогами (работать). Ты сначала сдай рога в каптерку, на холодное, потом и говори со мной".

здоровались. Он сел. Я спросил, не хочет ли он закурить. Он поблагодарил ("У меня есть, есть"), достал жестяную коробку из-под зубного порошка, слепил папироску и закурил.

— Вам привет, — сказал он.

— От кого? — спросил я.

— От вашего бывшего начальника, — и он назвал фамилию директора.

— Как?! — схватил я его за руку. — Разве он?.. — И в ту же минуту узнал его — замнаркома просвещения Мирошникова.

Я начал было его расспрашивать, но сразу понял, что он ничего не знает: с воли давно и в последнее время директора видел мало. Знает его больше по армии.

— Он сумел доказать, что он советский человек, а я нет. Меня тогда, правда, тоже не взяли. Но вот видите, через несколько лет все равно вспомнили. — Он улыбнулся. — А начальник ваш вообще открутился, и выговора не дали. — Он глубоко затянулся, подумал и печально, но твердо отрезал: — Сумел!

Говорил он ровно, спокойно, так, как будто это его совершенно не касалось. И было в его тоне что-то очень странное, такое, какого я ни от кого еще не слышал. Я даже не знал, что же именно, но не так, не так вот говорят лагерники о своем деле!

— Вы что же, признали себя в чем-либо виноватым? — спросил я.

— А во всем, — ответил он охотно. — Что мне предъявили, то я и признал. — И опять-таки сказал он это очень спокойно и ровно, бесстрастно, так, как будто говорил не о себе, а о другом.

— У них, сволочей, все признаешь, — усмехнулся кто-то рядом на нарах. — Что родную мать убил, и то признаешь. Это тут некоторые пыль пускают, а там они... — Это прямо относилось ко мне, это я якобы ничего не признал и ничего не подписал. Никто мне в этом не верил, а кое-кто так считал мои слова даже личной обидой. (Все подписали черт знает что, а

ты вон какой храбрый, лучше нас всех, что ли? Знаешь? Вот выйдешь из лагеря, женишься, так жене своей будешь рассказывать, а нам погодишь — не глупее тебя.)

— Да нет, меня пальцем не тронули, — ответил мой гость. — Когда мне только сказали: "Вы обвиняетесь в измене Родине, согласны ли давать показания?" — там ведь сначала деликатно, — я ответил: "Давайте бумагу и чернила, я что вам надо, то и напишу".

— И правильно, что зря тянуть, — подхватил кто-то сбоку. — Все равно ведь заставят.

— И написали? — спросил я.

Он махнул рукой и пренебрежительно усмехнулся.

— Написал, конечно!

— Что же?

— Шпионил в пользу Германии.

Я подумал: "Значит, из вояк" — и спросил:

— Вы окруженец?

Он засмеялся.

— Нет, куда! Я инвалид! Меня из дому взяли.

Я посмотрел на него во все глаза. Неужели я таки наконец встретил настоящего шпиона?

— А начальник мой что же? — спросил я невпопад.

— А что он? Его и тогда не взяли, и сейчас не тронули, значит, сумел доказать, что он человек нужный. А вот брат-то его туда пошел, — он ткнул пальцем в пол. — Вы что, не знали? Как же, как же, расстреляли у него брата! Вот тогда его и перебросили к вам в музей.

— Да за что же брата?! — спросил я.

— Ну, как за что? — ответил он удивленно. — Прочесывали армию, а он не прошел проверку, не показался внушающим доверие, а чин большой, девать его некуда, вот и расстреляли.

— Постойте, постойте, — сказал я. — Какая проческа армии? От кого ее прочесывать-то?

Он посмотрел на меня.

— От хлама, от старого мусора! От всего, что вредит ее боеспособности, от тех, кто еще до сих пор не пережил в душе партизанщину, гражданскую войну. Вот этих и выкидывали раньше всех. А потом принялись за нас. Значит, мы тоже не внушали доверия. — Он подумал. — Ну, конечно, и ошибки были! Дело-то огромное. Но в общем-то правильно! — (На нарах молчали — слушали.)

— Все-таки я чего-то не пойму, — сказал я, — ну, человек устал, отяжелел, весь в прошлом, в общем, не внушает доверия, так уволь его из армии, дай ему пенсию, пусть отдыхает! Сажать-то его зачем?

Он засмеялся.

— Эх, какой вы быстрый, — сказал он хитро. — Как же это так? Дать пенсию, уволить. А ведь он герой, про него в песне поется, у него вся грудь в орденах, его именем города названы. А вы так просто — взять и выкинуть. А он будет служить наглядным примером и агитировать. И посеет колебания, понизит боеспособность армии. Нет, так не выходит. Вождь все это очень здорово учел, он десять раз отмерил, а потом уж резанул.

— Слушайте! — воскликнул я. — Вы что, все это — серьезно?

Он усмехнулся.

— А вы думаете, шучу? — сказал он невесело. — Разве этим шутят? Нет, мы все должны здесь погибнуть! Все до одного. На наших костях и возникнет коммунизм. Всем нам единым памятником будет построенный в боях социализм... Вот так.

— Ну, нет, — ответил я. — Нет, к чертовой матери. Не принимаю я этого долга! И никому я свою голову не задолжал! И долгов таких не делал! Нет, нет! Вы как хотите, а я буду жить! Пусть тот, кто должен, тот и сдыхает, а я... Нет, нет и нет!

Он натянуто улыбнулся и встал.

— Буду рад, буду рад, — сказал он. — Дай Бог, чтоб вам удалось. Вы посильнее нас, стариков. Вот

вашему начальнику удалось же! Брат погиб, а он... Ну желаю, желаю. — И он быстро пошел от меня, стуча палкой по полу.

А я стал думать. Было что-то очень нехорошее в том, как он говорил о моем начальнике и его погибшем брате. Что-то настораживающее, туманное, намек какой-то, что ли? Мысль, недовысказанная до конца? Но так ничего додумать не успел. Позвали завтракать.

* * *

Целый месяц я его не видел, а потом мы встретились в бане. Баня! О ней надо говорить особо. Баня была одним из самых больших несчастий, которое только может свалиться на голову лагерника. И, вероятно, не начальство было в этом виновато. Война-то ведь только-только кончилась, одежды не было, белья не было, мыла не было, и дров не было, словом, ничего не было. Вошебойка работала только в лазарете, а лазарет переполнен. Ну, что делать-то? А делать было что-то надо. И начальство делало, оно проводило и отражало мероприятия. Баня была крохотной, темной, с побитыми окнами, с провалившимся полом (досок-то нет). А самое главное — топить было нечем, вместо дров — курай. Приходилось изворачиваться. Поднимали, положим, какую-нибудь одну бригаду, человек пятьдесят — семьдесят, и гнали в профилактический пункт — в пустой недостроенный барак. Набивали этот барак доверху, и партию за партией пропускали через баню. Чтобы вымыть и обработать бригаду в пятьдесят человек, надо было не меньше трех часов. Значит, 50 моются, а остальные — сидите и ждите, пока не кликнут. Но пятьдесят человек — это тоже случай оптимальный. Но вот два раза в месяц идет мыться весь лагерь — 1100 человек. Баня работает 12 часов в сутки, заход — 50 человек. Ну-ка сосчитайте, что это составит. И по двое суток иногда приходилось ждать очереди. В свой барак немытых не пуска-

ли, сиди и жди. Все бы еще ничего — но сам барак-то походил на решето. Мы растаскали с него все: и крышу, и наружные двери, и пол, и нары — остался один настил да стены с оконными проемами. Когда их затыкали телогрейками, становилось совсем темно. Значит, вот: холод, темнота, теснота и духота. К стене не прислонишься, — как горный мох, нарос иней, из бачка не напьешься — лед! Так вот сидишь 20, 30 часов. И вот кто-то около меня в темноте произнес: "Боже мой, до чего это ужасно!" Чего в лагере не любят — это таких вот выкриков. Сиди и молчи! Не у тещи ты в гостях, и всем тошно. Но слово "ужасно" — было сказано как-то совершенно по-иному, не как выкрик, а как оценка, как слово, исходящее от того, кто созерцает все это со стороны. Поэтому я лениво ответил:

— Это еще, батя, не ужас, ужас, батя, там, в бане, будет.

Он повернулся. Я его не видел, но почувствовал, как коротко и резко стукнула его палка.

— Плевал я на вашу баню, — сказал он мне резко, но опять как-то совершенно не по-лагерному. — Не в ней дело.

— А в чем? — спросил я лениво.

Он смолчал. Он как-то очень зло смолчал, не смолчал даже, а просто прервал разговор.

— Слюней, милый, у тебя не хватит плеваться, — сказал сверху добродушный старческий голос.

— Средства ужасны, — объяснил тот же голос после небольшой паузы. — Те средства, которые приходится применять. Никто и никогда из наших учителей не думал, что социализм будет построен таким путем. Но они не могли пойти на это, а мы можем и правильно делаем.

И он вздохнул — скорбно и мудро. Я все еще не понимал, кто это, и потому спросил:

— Мы? То есть кто это — мы? Вы да я, что ли?

— Ну, конечно, — ответил он, — вы да я, власть-то народная! — И он даже усмехнулся (и тут я узнал его).

— Что городит, падла, что городит! — крикнул кто-то около моего лица. — Сажал, сажал, да и сам в мешок попал! — Это уже встрял кто-то здорово понимающий дело: почти в каждом лагпункте бродило по парочке таких вот всепонимающих непробиваемых болванов. На воле они занимали большие посты, и когда их выкинули из кресел, они себя почувствовали неуютно и зябко — как черепахи, с которых содрали панцирь. Но они не сдавались. Они ходили по лагерю и учили.

— Никакой паники! — учили они. — Все правильно! Все правильнее правильного. Вождь очищает тыл от врагов, нытиков и старого хлама. Останутся молодые проверенные кадры, и с ними он будет строить социализм.

— А можем ли мы, — спрашивали они далее, уже хитро прищурясь, — сказать, что здесь все невиновны? А если есть хоть один настоящий враг — то я сам...

— А вы не знаете, — загадывали они еще, — сколько нужно человек, чтобы построить мост через Волгу? Тысячи! А чтоб бросить на него бомбу? И одного, пожалуй, хватит. А?

В лагерях этих людей ненавидели до дрожи, жигали ногами, как собак, гнали ночевать к параше, нарядчики и бригадиры присылали их на самые тяжелые работы. И все равно они гордо несли свой несгибаемый героический идиотизм, пока не сбрасывали его в могилу. И нельзя было понять, что же это такое — маска, приросшая к коже? Трусость? Ухищрения нечистой совести? Аполитичность? Полная политическая неграмотность (но ведь зубрили же они, ослы, хотя бы политграмоту?), та непробиваемая твердокаменная человеческая глупость, которая сильнее всего потому, что она и в самом деле героична? И сейчас, когда я вспоминаю прошлое и стараюсь разобраться в нем, найти всему какое-то психологическое обоснование, то все-таки не все понимаю до конца. Тогда же мне было просто не до этого, я об-

ходил этих людей. Но сейчас что-то толкнуло меня заговорить, и я заговорил. Я его спросил, а не думает ли он, что средства, которые потребны для строительства социалистического общества, враждебны и противоположны тому, что здесь происходит, что даже с хозяйственной точки зрения нет большего преступления, чем в эпоху развернутого строительства затоварить такую огромную рабочую силу, превратить специалистов в землекопов и разнорабочих. Такими средствами, сказал я, разрушить можно что угодно, а построить возможно только вот этакий барак, да и то он завалится через два года. Он усмехнулся и спросил: не говорит ли с ним такой-то, — и назвал меня по фамилии. Я сказал, что да, это я. Тогда он меня спросил: а не слыхал ли я, что существует революционная целесообразность и что она превыше всех законов. Я ответил, что да, слышал, знаю.

Он спросил меня, как же я тогда понимаю, что это такое? Я ответил, что это основной закон прифронтовой полосы, той поры, когда фронтом становится все государство, а короче, это — сама революция.

Нары вверху надо мной заскрипели, кто-то резко сел или лег и сказал со злым восхищением: "Вот ведь Сидоры Поликарповичи, и нашли где баланду разводить!"

— Так, значит, вы признаете, — спросил мой собеседник, — что существуют и законы революции?

— Да, безусловно.

— Так что же вы тогда порете ерунду? — закричал он. — Видите ли, почему его осудили без суда. Вреден был, вот и осудили. А вы в революционное время юриспруденции захотели, обоснований, адвоката! А людям некогда вам адвоката искать, они делают революцию и плевали на ваши претензии. Вот сиди ты здесь и жди!

— Но постойте, — сказал я, сбитый с толку, — революция-то кончилась в 22-м году вместе с гражданской войной.

— Ах, вот как? — спросил он с ласковой, злой иронией. — По-вашему, она скончалась, а что ж у нас такое сейчас? Контрреволюция, что ли?

Я ответил:

— Республика.

— Ах, республика? — фыркнул он. — А это не одно и то же?

— Нет, не одно и то же, — ответил я, — революция не строит, она ломает старое, а потом приходит государство и создает свои законы. Революционные меры после окончания революции превращаются в контрреволюционные, потому что их сейчас же присваивают политические авантюристы. То же самое и с революционной целесообразностью. Она несовместима с законами.— И вдруг я услышал, как он выругался, — скверно, длинно — и соскочил с нар и стукнул своей деревяшкой.

— Тише ты, чума, — крикнул кто-то около него, — ногу отдавил!

— Вот! — крикнул он торжествующе. — Вот для кого нужны эти лагеря! Для таких, как вы! И правильно, что вас сюда сажают. А я бы и сажать не стал, я сразу бы к стенке ставил.

— Тю, чокнутый, — беззлобно сказал около меня кто-то из стариков, — орет!

А он уже стоял на полу, надо мной, и размахивал палкой.

— И нас правильно сажают! — кричал он. — Так нам и нужно, старым дуракам! Сопли перед вами распустили! Мальчишки-несмышленыши, пожалеть надо! Еще исправятся. Пошлем в Алма-Ату. А там сейчас ему место учителя или врача: пожалуйста, живи, агитируй, вражина! Стрелять вас надо было, как в 18-м году! Пачками! Против кого ты, сволочь, язык высунул, против кого пошел? Против меня ты, что ли? Ты против революции пошел! Ее ты отпеваешь!

— Да тише ты, падла, — страдальчески крикнул кто-то снизу.

А он все кричал.

— Говорил мне о вас директор, мол, парень горячий! Горячий. А я, дурак, еще говорю: "Скажи ему, пусть поосторожнее". Какой там, дьявол, поосторожнее, он знает, что делает! Сразу надо бы мне в органы бежать. А мы, дураки да слюнтяи...

И как только он сказал про органы, весь барак зашевелился, заскрипел, загудел, задрожал. Вверху зажглась спичка, и я увидел его. Он стоял, опираясь на трость, и весь трясся мелкой злобной дрожью. Еще одно мое слово, и он бы, конечно, бросился на меня. И сейчас же около моего лица послышался мягкий скачок — это соскочил с нар Чиграш, самый старый и уважаемый вор лагпункта (ему было, пожалуй, лет под тридцать). Мы с ним дружили. Я редко видел даже и не в лагере человека более вежливого, мягкого и обходительного. Никогда он не повышал голоса, не ругался, никогда ни во что не мешался: лежал на нарах и читал книги. Он из барака вылезал только по нужде. В столовую же не ходил вовсе. Санитары приносили ему котелки рисовой каши и особой больничной баланды. Он всегда состоял на диетпитании. А сейчас я не узнал его голоса. Это было что-то очень мягкое, округлое, мяукающее, каждое слово кончалось мягким знаком. Так говорят блатные, когда не бьют, а убивают.

— Ты чего же, падла, — сказал он, — фитиль, палкой в лицо мне лезешь?! Не научили тебя еще свободу любить?!

И сразу в темноте что-то произошло: пронесся какой-то вихрь, стукнула палка, что-то тяжело обрушилось на пол. И опять около меня послышался мягкий кошачий прыжок. Это Чиграш прыгнул на нары. Стало совсем тихо. Потом кто-то жульнически воскликнул: "Упал кто-то, кажется. Эй, кто там упал?" "Зацепился за нары", — ответил ему простуженный бас. И барак сразу ожил: "Так нужно вставать, что же лежать-то? Эй, душа милая, вставай, докторов-то нету". "Это новенький, новенький", — зашумели около меня. Я сполз с нар и подошел к Чи-

грашу. ”Спичку!” — сказал я. (Только у него одного и были спички.) Он сунул мне в руку коробок и выругался: ”Падла, сука”. Слов крепче, как и всякий хороший вор, он не произносил. Я чиркнул спичкой и при ее свете вдруг как-то по-новому увидел наш барак: нары, уходящие в непроглядную тьму, высунувшиеся из них, как из глубоких нор, головы — стриженые, обритые, желтокожие, глазастые. Все они жадно смотрели вниз. А там в позе мирно почивающего человека лежал новенький. Все это вырвалось на миг из темноты, каким-то высоким, рваным желтым лоскутом метнулось вверх к потолку и пропало там. Барак опять зашумел: ”Да пусть лежит, пусть”,— крикнул кто-то. ”А сдохнет — стащат в столярку”. (Гробы у нас стояли в столярке.) ”Белкин придет, он его пожалеет”. (Белкин — наш опер — здоровая, добродушная, всегда пьяная орясина, о нем мне сейчас придется рассказывать.) Я опустился в темноте на колени, нащупал голову упавшего и буркнул: ”Вставайте”. Он молчал, потом вдруг оттолкнул мою руку и сел. Просидел так с минуту неподвижно (кто-то сверху пыхнул трубкой и осветил нас), оперся на мое плечо и встал. ”Упал”, — сказал он мне негромко. ”Ничего, три к носу — заживет!” — весело крикнул кто-то, и его перебил чей-то степенный голос: ”Здесь, мужик, надо под ноги смотреть, а плевательницу (он выразился, конечно, иначе) на замок запереть. Вредная она у тебя. А не то другой раз так зацепишься, что и голова отлетит. Понял?”

Он хотел что-то ответить, но я стиснул ему плечо. В это время дверь отворилась и на голубом, очень светлом квадрате вовсю разблиставшегося солнца и снега появилась фигура заведующего баней.

— Шестая бригада, — сказал он, — пошли.

Баня! Мне и сейчас становится холодно, когда я ее вспоминаю! Единственная мысль, с которой мы в нее входили, — это ”Скорее, скорее!” Через все галопом! Первое помещение — раздевалка — скидывай,

вешай все на кольца и иди в моечную. Там холодно и дует. С подоконника свисает кряжистая, похожая на корневище, черно-бурая сосулька. У входа раздают дубовые шайки и зеленое мыло. Его намазывают лопаточкой на ладонь. Около огромного деревянного бака стоит водолей — одноглазый сизолицый циклоп — и командует парадом. Вода тепленькая, желтенькая, литр на человека: мой руки, лицо, обливайся, чтоб не вернули санитары, и лети дальше. Третье помещение — парикмахерская. Она всех больше. Здесь бреют и обрабатывают, и комиссуют, и выдают прожаренную одежду. Три лавки разделяют это помещение на три отсека.

Первый — санобработка — лежит на лавке голый доходяга, и санитар выскребает его бритвой. Лезвие у бритвы черное и тупое. Санитар бреет сплеча, только клочья летят. Доходяга орет. ''Не дергайся, падла, — кричит санитар, — сейчас вот отмахну все...'' — и, сделав еще несколько взмахов, обтирает бритву о бедро клиента: ''Следующий''. Обработанный встает и, весь в бурых и белых клочьях, идет к парикмахеру. Парикмахер — мелкий чахоточный татарин с машинкой в руках. Он сажает клиента на табуретку и начинает стричь. Одной рукой он сжимает ему голову, другой гонит по ней машинку. Стрижет полосами: одна полоса, другая, третья! Все! Катись! Машинка старая, чиненная-перечиненная, ее все время заедает и забивает. Татарин, по-собачьи оскалясь, выдирает ее из головы вместе с волосами. Доходяга орет. Тогда парикмахер, оскалив мелкие зубы, пристукивает его машинкой по черепу и стряхивает с табуретки. В следующем отсеке перед окошечком, где раздают одежду, творится что-то уж совершенно невообразимое, свалка на футбольном поле. Здоровенные молодцы из той страшной породы, которую выращивают лагерные кухни, баня и санчасть, хватают вещи и кольца за кольцами швыряют в толпу. Кольца раскаленные, не дотронешься. Голые отскакивают, визжат, пищат, сбивают друг друга,

ползают по полу, отыскивают свои метки. А над ними ухает вторая, четвертая, восьмая связка, и уж кого-то придавили к земле и он орет благим матом, кто-то влез в чужое, кто-то кому-то дал в лоб, и пошло, и пошло. На полу двое стариков налетели друг на друга, брызгаются и душат. ”Я тебя убью, гад”, — шепелявит один. ”Да я сам тебя убью, паразитина!”— мирно отвечает другой. И оба не могут подняться. А связки летят и летят. Шестая, седьмая, восьмая, четырнадцатая! Все! Окошко захлопывается. Я тоже стоял и ждал своих вещей. Но у меня поверх всего висела узкая заметная красная майка, поэтому я смотрел на эту кучу малу, а в нее не лез. И вдруг через вой и ор я опять услышал то же слово ”ужас”. Я обернулся. Это был он, конечно.

— Вы смотрите, — сказал он мне, — нет, не на этих, а туда-туда! В тот угол.

Я поглядел.

Это был уже четвертый отсек — дверь в тамбур. Около двери стояла лавка, на лавке сидели двое — полная, крупная, круглолицая, сероглазая красавица и в дымину пьяный опер Белкин в мокрой прокислой шинели и ужасных сапогах. На красавице была шубка с седоватым иглистым воротником — бобер, серая шляпка и боты с каракулевой опушкой. У нее были тонкие руки в черных тугих перчатках и держала она их поверх колен. А опер был грозно пьян, пьян в дымину, в гробовину, в свет и воздух, он шатался даже сидя, его несло по лавке, он смотрел на красавицу невидящими глазами и рубил резко и решительно: ”Марья Григорьевна! Я вас люблю! Чтоб вы там не... не... не... но (пауза, он думает). Люблю! (Глубокомысленно морщит лоб.) Понимаете, вся моя жизнь, Марья Григорьевна... (Думает и ничего не придумывает.) ... Люблю!

— Нет, Владимир, — говорит она печально и проникновенно. — Нет, это у вас все от одиночества.

Крик, мат (лагерный мат, то есть что-то совершенно особое), летят раскаленные кольца, пышет су-

хим жаром. Клубок голых доходяг подкатывается под самые ноги Марьи Григорьевны, к ее серым каракулевым ботам. И тогда опер привстает и, сам не замечая того, деловито пинком отбрасывает клубок. Все откатываются назад.

— Тише вы, огни, — орет парикмахер и потрясает машинкой. — Эх, заеду сейчас кому-нибудь в лоб.

А на лавке серые глаза, полуопущенные ресницы, длинные льдистые иглы воротника, душистые перчатки и тот же голос, отдаленный от нас на тысячи-тысячи верст, на целые десятилетия, — ленинградский, петербургский, санкт-петербургский — грудной глубокий голосок с голубой набережной Невы, из самой глубины белых ночей.

— Нет, Владимир, это я все приписываю вашему одиночеству, у вас нежная душа...

Отворилось окошко, потянуло пережаренными семечками, замелькали руки, тюки одежды, головы. И больше я уже ничего не видел.

Как ничего не видели и те двое в своем прекрасном далеке.

Когда я вышел на улицу, около двери стоял он, тяжело опирался на трость и, очевидно, специально поджидал меня.

— Что же это такое? — спросил он с таким глубоким удивлением, что я усмехнулся.

— Наш опер, — ответил я, — опер и новая начальница спецчасти.

Не отрываясь, он смотрел на меня.

— Так слушайте, что же они делали, в любви объяснялись, что ли? — спросил он.

— А, чепуха! — сказал я. — Он уже на ногах не держится, но смотрите: она человек новый, начнет нас гонять в пустой барак...

И тут к нам подошел Чиграш. Он видел и слышал все. В эту минуту я вспомнил, что он стоял в стороне у окна и молчал.

— Ну что, Сидор Поликарпович, — спросил он громко и злорадно. — Насмотрелись? Понравилось? Такие бабы у вас были? "Ужас", — обратился он ко мне, — а, фофан?! Теперь "ужас"! А там, что гыркал? "Бдительность, бдительность! Будьте бдительны, товарищи. Враг не дремлет".

— Ну ладно, брось, — сказал я тихо. — Что тебе он?

— Да мне-то ничего, — вдруг сразу успокоился Чиграш. — Пусть сдыхает — стащат в инструменталку. А только чуешь, что он там творил, пока сам не попал. Эх, счастье твое, что лагерь тут не тот, ты бы у меня... — И он быстро отошел в сторону.

Пока он говорил, старик стоял, опустив голову, и молчал. Лицо его было совершенно неподвижно, как будто он прислушивался к чему-то очень важному и отдаленному, получал какое-то разъяснение, инструкцию, директиву.

— Пойдемте, — сказал я. — Вы с ним поменьше говорите. Знаете, какой это народ.

Он вскинул голову.

— Да разве я боюсь чего-нибудь, — сказал он пренебрежительно. — Пускай что хотят делают, черт с ним! Что, нож у него? Да черт с ним, с ножом, но вот это, это... Они же советские люди... Начальники... Им поручено... А они...

— А тебе что было поручено, гад? — спросил Чиграш, останавливаясь. — А ты что?.. А, что, гад?

Старик посмотрел на него, хотел что-то сказать, но вдруг повернулся и пошел, тяжело опираясь на палку.

"Да, — подумал я тяжело. — Это называется понял. А ведь был же начальником. Политику делал, людей воспитывал, эх!"

На другой день рабочие принесли из овощехранилища богатую поживу. Что-то там случилось на вахте, их обыскали с пятого на десятое, и они сумели приволочь целое богатство — картошки, свеклы, бобов, моркови. А мой напарник — одноглазый кал-

мык из Астрахани — притащил самой лучшей, рассыпчатой крупной картошки. Мы отломали доску от обшивки барака, разожгли печку и сварили целый котелок, а потом заварили кипяток пережженной коркой и сели чаевничать. В это время, когда мы, добродушные, распаренные, переполненные всем хорошим, сидели на нарах, он и подошел ко мне. Я предложил ему сесть, он сел. Я спросил его, где он был. Он ничего не ответил и потом сказал: ”Вы знаете, я вспоминаю про один разговор с вашим директором. Однажды я пришел к нему, а он лежит на диване, подходяще выпивший, — на тумбочке бутылка. А с ним давно такого не случалось, с тех пор, как он на Валентине Сергеевне женился, того не было. ”А, проходи, проходи, садись”. Ну, сел. ”Ну, с чего это ты?” — ”А вот лежу и думаю: как, правильно все у нас идет — нет, как ты думаешь?” — ”А ты как?” — ”А я вот думаю, что не везде правильно. Вот на моего говорят и то и се, и линии партии он противодействует, и на власть, как пес бешеный, бросается. И толкуй не толкуй ему — ничего он, дурак, не понимает. А я ему все равно верю”. Очень мне тогда, знаете, обидно показалось — я ведь Степана по гражданской знаю, он человек крепкий, его не собьешь, а тут вдруг такое... ”Дурак, — говорю, — ты пьяный, верить-то в церкви можно попу, а тут другое дело — ты у него в думках был? Отвечать за него согласен?” А он мне: ”Вот я про это и толкую, надо отвечать нам за людей или нет? Как ты мне на это скажешь? Стой, стой. Вот ты мой старый боевой друг, а тебя, скажем, забирают, спросят за тебя с меня или нет?” Отвечаю: ”Нет”. — ”Ну как же нет-то? Вот я с тобой как с братом жил, пили вместе, по бабам таскались, толковали, и ничего такого за тобой не замечал, спросят за это или нет?” — ”Ну, тогда спросят!” — ”Ага, спросят! Значит, выходит, должен я перед партией за друга отвечать! Это правильно! Ну а перед своей совестью за партию, как? Перед ней не должен, что ли? Видишь, что выходит”. ”Нет, — говорю, — не

особо, что-то ты мудришь уж больно сильно. Ты толком говори". — "Я толком и говорю, тебя знаю, и я не в счет — они тебя в первый раз видят, они в счет. Своим глазам я не верю, а их совести — вот как! Перед ними я обязан вот как перед тем попом лбом бить. Нет, не выходит так что-то". — "Да перед кем — ими? Дурак, кто они-то? Советская власть они". "Советская власть — вот она! — ткнул в портреты. — А они — надо еще посмотреть, кто они. А то каждая свинья орет: Я! Я! Я власть! Я все понимаю! Вон Харкин в органах работает, а как был орясина да подлец, так таким и остается. Что же я перед Харкиным, что ли, должен преклоняться? Перед этой клизмой Гуляевым, что у них за главного?" — "Дурак, — говорю, — что ты с пьяных глаз бормочешь? Его Советская власть поставила, ее и уважай". А он мне: "Это вот батюшку или отца дьякона архиерей рукополагает, так на того с неба благодать вместе с саном сходит. А у нас так, грешных, не выходит. Дурак так дурак, прохвост так прохвост, и все! Нет, ты мне мозги не засоряй, пожалуйста, не с попами мы имеем дело, а с безбожниками — так на них я и смотрю. И как не был служителем культа, так и не буду!" Обматерил я его тут и ушел. И вас обматерил тоже: вот, мол, чему, оказывается, он тебя учит. Вот так дело было.

Мы помолчали.

— А рассказали вы кому-нибудь об этом разговоре? — Он покачал головой. — А почему? — Он сделал какой-то неясный жест — "Разве можно было?". — А может, сами с ним в чем-то были согласны? — Он развел руками... — Ладно, — сказал я. — Теперь во всем этом уже и не разберешься. Но вот скажите, что сейчас-то натолкнуло вас на эти воспоминания? Эти двое на скамеечке? Баня?

Он опять долго молчал, а потом ответил:

— Да.

— Но какое же баня имела ко всему этому отношение?

Он удивленно посмотрел на меня.

— Какое? Да ведь... — И вдруг запнулся и замолчал.

Он работал в Центральном Совете Осоавиахима, но что катализаторы бывают не только в химии, этого он не знал.

* * *

Чтоб довести эту историю уже до самого конца, мне придется перенестись еще лет на десять вперед, значит, в наше время. В 1956 или 57-м году я снова побывал в Алма-Ате и встретился с друзьями. Оказалось, что иных уж нет, а те далече. Но кое-кто остался. Уцелел и мой директор. Он постарел, поседел, осунулся. В военные годы ему пришлось очень, очень туго, он был секретарем обкома в одной из самых хлебородных областей Сибири и постоянно перевыполнял планы. Можно же представить, сколько часов в сутки работал этот неуемный человек. Во всяком случае, когда я его встретил, он уже совсем поседел и даже слегка волочил левую ногу. Но характер остался прежний: ясный, насмешливый, с лукавинкой. Да и вкусы не переменились. Так же, как и раньше, он считал Ротатора крупным талантом, а меня ругал за то, что у меня мало картин и я не зажигаю.

— А ты посмотри, какую Ротатор дал прекрасную статью о партийности в искусстве, — сказал он.

— Как, — спросил я, — разве он теперь и об этом пишет?

Директор задорно посмотрел на меня.

— А как же? Все, что ему поручают, то он и пишет! И так хорошо пишет! Образно, неожиданно, пылко. Как это у него там о социалистическом реализме? Стой, стой: ”Социалистический реализм — это тот драгоценный сплав, из которого руки мастера вольны ваять...” И так далее. Ты в слова-то вслушайся — ”Вольны ваять”. Разве не красота? Плохо, а?

— Очень плохо, — ответил я, — никуда, то есть, не годится. Соцреализм — сплав. Какой дурак ему это поручает?

Директор посмотрел на меня, засмеялся и махнул рукой.

— Вот сколько я тебя знаю, всегда ты такой! Все плохо пишут, один ты хорошо. Ну, прямо Мирошников. Все ему плохо. Эх, брат...

— Это какой же Мирошников? — вспоминая что-то очень смутно, спросил я.

— А что, не помнишь разве? — прищурился директор. — Твой друг, там же, где ты, был. Да! Ведь он говорит, что вы встречались! Что-то вы там наговорили лишнего, вас блатные за это лупить собирались, он тебя вроде отстоял. Что, было такое?

— Господи, Боже мой, — сказал я. — Так он жив?

Директор посмотрел на меня.

— Ах, значит, помнишь! Жив, жив. — Он чему-то засмеялся. — Жив, курилка! А знаешь что, зайдем к нему сейчас, он тут за парком. И квартиру ему как раз дали в бывшем архиерейском подворье. Жена у него умерла, дочка замуж вышла, живет теперь холостяком! Давай зайдем. Там у него... Как раз он сейчас не спит. — Он взял шляпу. — Ну, пошли, что ли? К обеду как раз вернемся.

И мы пошли.

Я давно обратил внимание на то, что все старые монастырские, церковные, архиерейские, семинарские, скитские, просто поповские дома обязательно имеют что-то общее. Все они приземистые, вросшие в землю, невысокие, округлые, у всех у них слепые белые стены, широкий двор, а во дворе много пристроек и служб — конюшни, голубятни, амбары. Потолки в этих домах низкие, крыльцо с огромными ступенями, а где-то в доме обязательно есть шаткая, узкая, певучая лестница на подловку, а там темнота, узкие полоски света, и пахнет всюду яблоками. И подвалы в таких домах есть обязательно, и дверцы в подвалах железные, а замки огромные и скуластые, как бульдожьи морды. И растут в подворьях таких домов тихие мечтательные сады с большими кустами чернолистной сирени, с нежными черемуха-

ми на задах, с грачами на ветлах. В палисадниках над скамеечкой печально шуршат розовые мальвы с высокими колючими стеблями, и по ним парами ползают черно-красные солдатики. Все так оказалось и в доме Мирошникова. Мы прошли через залитый солнцем двор и поднялись по белым церковным ступеням на крыльцо. Перед дверью с металлической дощечкой висела железная груша. Директор дернул ее дважды. Отворили нам не сразу, произошла какая-то заминка. Щелкнул запор, и я увидел в образовавшейся щели крупную круглую женщину в сарафане, с голыми сочными руками и шеей, красной от загара. И только что директор что-то сказал, как она радостно воскликнула:

— Входите, входите, пожалуйста, он как раз проснулся. А я вас что-то не узнала, богатым будете.

— У, ты моя радость! — сказал директор нежно. — Вот где настоящее-то богатство! — И он звонко чмокнул ее в ямочку у шеи.

Мы прошли узкий коридор и остановились перед большой белой слепой дверью, на ней была дощечка. Директор стукнул и ткнул ногой, дверь распахнулась, мы вошли в комнату. На окнах висели занавески, и с улицы они мне показались очень темными. Пахло каким-то сладким лекарством. На узком диване под клетчатым пледом лежал длинный человек, около него на стуле стояла баночка с серой мазью. Когда мы вошли, человек медленно поднялся и сел. Одна нога голая до колена. "Степан!" — сказал он радостно. Они обнялись. Произошел быстрый односложный разговор, короткий, как обмен паролями ("Ну как?" — "Да все так!" — "А она?" — "Да видишь: тут она!" — "Ну и все!"). А потом директор сказал:

— Вот, Михаил Дмитриевич, привел к тебе дружка. Узнаешь каторжника?

— Садитесь, — предложил хозяин твердо, суховато, но приветливо. — Вот снимите это притиранье и садитесь.

Я посмотрел на хозяина дома: у него было белое лицо, ясные, медлительные, пристальные глаза с темными подглазьями. Но в общем-то преобладало в нем что-то округленное, спокойное.

— Ну, узнали друг друга? — спросил нас директор.

Я бы, конечно, не узнал его, тот был совсем другой: затаенный, взрывчатый, взметанный. Вообще в том преобладал острый угол, в этом же все образовывали мягкие, закругленные линии, овалы.

— А я вот сразу узнал, — сказал хозяин. — Вы молодец, хорошо выглядите.

Не выглядел я хорошо. Попросту очень скверно выглядел. Я тогда переживал очень неровное, нервное, болезненное время. Сразу сказывалось все: долгая отвычка от общества, никудышные нервы, непонимание многого такого, что другим уже было совершенно ясно. В жизнь я врастал трудно, медленно, делал глупости, досаждал себе и другим. Началась тяжелая, бесплодная, бесконечная история, где все было обречено с самого начала, а я все не мог ничего придумать. В общем, за год свободы я потерял килограмма четыре.

— Молодцом, молодцом вы выглядите, — похвалил меня хозяин. — Посвежел, порозовел, помолодел, успокоился! Что, давно оттуда? — подмигнул он мне. Я ответил, что давно, да не оттуда, в последнее время меня забросило совсем к черту на кулички — к самым берегам Америки.

— А-а! — кивнул он головой. — Понимаю, понимаю! (Во время этого разговора вдруг в дверях появилась опять та же женщина, и между ней и хозяином произошел почти молниеносный немой разговор, обмен какими-то мелкими жестами, кивками. Женщина убежала и зазвенела посудой в соседней комнате.) Да, да... много, значит, вам пришлось пережить, — продолжал хозяин, — много! А я уж пятый год как здесь. Вот видите, комнату получил, пенсия хорошая идет — вот он помог! Спасибо! — Он кивнул на директора. — В общем, живу по-стариковски.

— Мемуары пишет, — подмигнул директор.

— А как же? — строго улыбнулся хозяин. — Должен же я сказать слово молодому поколению. А вы как, все по-прежнему?

Я сказал, что нет, не выходит по-прежнему, и сейчас же осекся. Но он смотрел на меня такими ясными, пристальными глазами, так улыбался, что я неожиданно окончил:

— В жизнь вот не войду.

— Ага! — кивнул он серьезно. — Душа чего-то не понимает и не принимает, правда? Оторвалась она у вас там, вот и мечется по телу.

— Да, — сказал я, — пожалуй, так. Не оторвалась, а...

— Ну, что ж, — развел он руками, — это хорошо, душа по своей природе христианка — сказал Тертуллиан.

От неожиданности я чуть не поперхнулся. А он посмотрел на меня и сказал без улыбки:

— Но вы до этого еще не дошли, кажется?

— До чего — до этого? — пробормотал я.

— А вот до познания истины. — Он встал. — До познания того, что раз ни одна наука и ни одна философская система никогда не может ни решить, ни помирить нас с вопросом вопросов, то есть со смертью, то все оно пустое сопряженье слов, декламация и агитация. И стоит человек таким же голым и несчастным, как и был полмиллиона лет тому назад. Только вместо дубины у него атом.

— Здорово, — сказал я. — Очень здорово!

— Да нет, поговори, поговори с ним, — засмеялся директор, — он тебе все расскажет. Наука не разрешила, а у него и смерть, и жизнь — все вот тут, в ладошке.

— Вот видите: он смеется, — кивнул головой Мирошников. — А потому смеется, что сказать-то ему нечего. Ну, объясни мне, пожалуйста, ты, слепой, упрямый человек, как твоя наука решила вопрос о смысле существования. Вопрос о смерти. Только без трескучих слов, так, по-человечески.

Директор пожал плечами.

— А чего же тут решать. Поживем-поживем — и в ящик!

— А зачем так?

— Да другим надо место освобождать. Ничего умнее не придумаешь. Ну а религия как твоя решает?

— А религии решать нечего, она всегда знала, что смерть — фикция, это чисто человеческое трехмерное представление. Вверху-то ее нет, как нет и времени и, значит, всего преходящего. И для тех, кто умеет смотреть наверх, ее тоже нет. Понимаешь? Но это хоть и просто, а не всем дано. Не посмотреть свинье на небо, — говорит твой дед.

Я поглядел на директора. Он смотрел на меня, откровенно и широко улыбаясь, его забавляло мое недоумение.

— А что вы на него глядите? — сказал хозяин. — На него глядеть нечего, он не был ни в моей, ни в вашей шкуре. Ему не понять.

— Нет, — сказал директор. — И в худшей шкуре был, а не пойму, потому что никогда никаким богам не молился и даже когда верил в кое-какого Бога, то и тогда лоб перед ним расшибал не больно. Знал меру.

— Вот, — сказал хозяин, — вот и в этом дело. Ты не расшибал. Знал меру! Душа у него не воспринимающая, как вот это стекло. Все солнце проходит через него, а оно холодное. Нечем его стеклу задержать, оставить хоть частицу от солнца себе. Стеклянная душа у тебя, Степан.

— Послушание на себя какое-то принял, — сказал мне директор, кивая на хозяина. — Борода к нему бегает, не поп, а шут его знает кто такой. Но шустрый, дьявол! Что ж тут поделаешь. Верь! Не агитирую. Бил поклоны без памяти одному Богу земному, он тебя обманул, а ты человек расчетливый, себе на уме. Раз обманул, другой раз не поверишь. Что ж? Иди дальше, в звезды. Надо ж тебе на кого-то опереться. — Он вдруг улыбнулся. — Смерти боишься ты, товарищ Мирошников, вот в чем все дело. Перед ней хвост поджал. Боишься ведь?

ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО КОНСУЛА

В годы войны мне пришлось побывать на лесозаготовках где-то очень далеко, в районах Восточной Сибири. В моей бригаде было много людей, попавших сюда разными путями войны и мира, были тут и так называемые гражданские пленные, и беженцы, и просто отбывавшие трудовую повинность. Вот тут я и встретил обоих героев всех тех историй, о которых хочу сейчас рассказать. Сначала о первом.

Если вы помните, бригадир ”Горного гиганта” Потапов считал, что все 12 человек, которые с ним были призваны в армию в 14-м году, погибли. Оказалось, что в отношении по крайней мере одного — он ошибся. Один человек уцелел. Он попал в плен, был вывезен в Германию, работал два года батраком у бауэра, потом, после заключения мира, устроился на железную дорогу смазчиком. Там женился на вдове начальника станции, переехал в Берлин, открыл салон для чистки одежды. Дело пошло. Родился сын, кончил школу, пошел в немецкую армию, и таким образом Белецкий — так звали этого уцелевшего — приобрел немецкое гражданство. Человеком Белецкий был очень неприятным, мелочным, кляузным, скандальным, и поэтому мы его фамилию всегда произносили несколько иначе. Он так к этому привык, что отзывался. А лицо у Белецкого было интеллигентное, сухое, с длинными складками на щеках и у рта. Он любил рассказывать о своей жизни в Германии и говорил тогда складно и хорошо. Вот два из его рассказов я здесь и передаю. Конечно, воспроизвести полностью их невозможно. Все дело в интонациях, жестах и в том вели-

ком наплевательстве на все, в том числе и на слушателей, с которым Белецкий все это рассказывал. Первая история никакого отношения к моей повести не имеет, но я ее передаю все равно. Уж больно она хороша.

Декорация все та же, барак, нары. Выходной день, никто не пошел на работу. Белецкий с утра о чем-то думает. Потом подходит ко мне, деликатно подсаживается на самый кончик нар и спрашивает:

— Слушайте, а был в Германии такой профессор — Эпштейн?

Я пожимаю плечами: наверное, не один даже.

Он думает и соглашается.

— Не один, не один, правильно. У нас и аптека рядом была. "Магистр фармации Эпштейн". Я там пурген покупал. Вплоть до разгрома они торговали. Правильно, правильно!

— До какого разгрома?

— Ну, до их разгрома, до того, как подошла ликвидация их расы. Тогда синагоги жгли, стекла били, значит, намек делали: убирайтесь, покуда целы! И много их тогда что-то убегло! Вещи ни за что шли! *Мечтательно*: А какую я тогда обстановку однажды отхватил! Даром! Вся из красного дерева — горит! Только письменный стол — мореный дуб! *Опять думает.* Ну, только это не тот Эпштейн, нет! Тот какую-то особую штуку выдумал. По-русски она... вот два слова... два слова!.. Дай, Бог, памяти! *Трет переносицу и вдруг радостно:*

— "Относительно чего?" Что, есть такая?

— Так ведь это Альберт Эйнштейн, — говорю я. — Теория относительности, одна из самых великих теорий в мире.

Он улыбается — его не проведешь.

— Великая! Потому она и великая, что Эпштейн изобрел. У них все великое. Какой-нибудь доктор или кантор — он доброго слова не стоит, а спросишь о нем у другого еврея, так тот и глаза закатит: "У-у, это такая голова, знаете, какая это голова?" А что

знать-то? что? Голова как у куренка, и смотреть нечего. — Он смеется. — Ну, ей-Богу, правда. Я их вот так знаю! А вот как вы сказали насчет этого Эпштейна-то? Что он открыл такое?.. Относительно чего? Так относительно чего же оно? А?

И смотрит на меня, лукаво сощурившись.

— Ну, это так не объяснишь, — говорю я. — И долго, и трудно, да я и сам не все понимаю.

— А говорите — великое! — усмехается он. — Не понимаете, а говорите. Вот они на том и живут, что никто ничего не понимает. Видел я раз этого Эпштейна. Действительно, скажу вам, "относительно чего".

Я прошу:

— Расскажите. Это интересно.

Он польщен, но пренебрежительно усмехается.

— А у меня все рассказы интересные. Это не то, что здешняя баланда. Так вот, принесла нам его жена платье. Ну, платье, верно, стильное. Тут уж ничего не скажу: файдешин, стального цвета, без рукавов, с бутоном на груди. Так они на него красное вино опрокинули. Ну и испортили, конечно. Там ведь вино не то, что здесь. Настоящее, виноградное, им капнешь, так стирай до дыр, не отойдет. Только я могу помочь. Ну вот, принесла она его и просит, чтоб к Новому году оно было новенькое. А за границей хочешь скорости — плати. Это же Европа, Берлин. Там все роды услуг есть! Все! Я свои прейскуранты там каждый год новые выпускал — особая книжечка. А на обложке — мой салон и я стою возде двери, шляпу приподнял и показываю рукой на вход: "Милости прошу, заходите, заходите". Там ведь все так — никакого хамства. Я вот к этому Эпштейну хожу в аптеку полгода или год, покупаю облатки. Значит, я уже постоянный покупатель. И как Новый год, он мне премию — коробку духов и визитную карточку. "Будьте любезны, передайте с нашим поздравлением вашей супруге". Вот как там! Культура! Германия! Там хамства этого не увидишь!

— А как же вы его магазин-то громили? — спрашиваю я.

Он фыркает:

— Вот сравнил. Это совсем другое дело. Это по приказу делается. А раз приказ есть, значит, ты ни при чем! А так я разве пошел бы? Что я, бандит, что ли? Хулиган? Шпана? Нет, нет, вы с этим, пожалуйста, не спорьте, не люблю я, когда зря спорят. Надо знать, а потом спорить. Там чтоб, например, мат услышать... Да что вы?.. А вот здесь захожу я в столовую утром, а там раздавальщик, мальчишка, сопляк, и он мне, старому человеку...

— Да вы говорите, говорите про Эйнштейна...

— Как же я буду говорить, когда вы все время перебиваете... Вот там этой манеры, чтобы перебивать, тоже нет. Там ты говоришь, а тебя слушают и только. "Я! Я! Я! Яволь! Манн хер!" (По-немецки он говорит скверно, с акцентом, грамматики не знал, так, болван, и не научился ничему за тридцать лет жизни в Европе.) Так, значит, вот мы это платье в срочном порядке вычистили, отгладили, уложили в пакет, и жена говорит мне: "Иоганн (а по-немецки я Иоганн потому, что хотя я Иван, но там это слово не то что ругательное, а нехорошее, вроде как у нас Фриц), завтра день воскресный, — говорит жена, — ты отнес бы сам платье профессору". А мне, понимаете, что-то в голову вошло, я подумал, что она мне про того профессора, который раз меня насчет сына вызывал. Ах, да, да, это, значит, до Адольфа было! Да, да, совершенно верно. Да, да! Потом всех этих Эпштейнов из гимназии вот как повыбрасывали! Чтоб они голову зря ребятам не забивали. Ну а тогда они еще жили! Так вот, мой Роберт чем-то их профессору не понравился. Ну, что-то он там в физическом кабинете сотворил, кажется, мел в кислоту насыпал, вонь пошла. Ну, вот меня и вызывали. В Германии насчет этого — о-очень строго! Очень! Там хулиганья не любят. Как что, так сразу вон!

— А твой сын, значит, не хулиган? — спросил кто-то с соседней нары.

— А мой сын, значит, не хулиган, — холодно отрезал Белецкий. — А вы не перебивайте, пожалуйста, я вот им рассказываю, они интересуются. Так вот, думаю, схожу к профессору на дом, поговорю с ним. Взял платье, уложил его в особый пакет (а у меня особые пакеты были, чтоб платье не мялось, и на них: "Чистите вашу одежду только в таком-то салоне". У меня разные пакеты были — и красные, и синие, и кремовые). Так вот, взял я этот пакет и пошел по адресу. Поднимаюсь по лестнице — звоню. Ко мне эта фрау выходит. "Неужели уже готово, как это хорошо!" Такая красивая была женщина, деликатная, только вся седая и что-то не из евреев, кажется, а может быть... Ну, кажется, нет. "Пройдемте, пожалуйста, в комнату". Проходим. Открыл я пакет, аккуратно вынул платье обеими руками, положил на стол: "Вот, пожалуйста, где пятно было, ищите!" Она так и ахнула: "Ах, как же вы так сделали? А я уже не надеялась, а муж мне говорит: "Перед масляным и винным пятном человеческий разум бессилен. Это его свыше!"

Он довольно хохотнул.

— "Свыше"! Идиот! У меня ничего не свыше, а все как раз. — Схватила она платье: "Одну минуточку!" — и в другую комнату. И выходит с этим самым Эпштейном. Тут я на него посмотрел, — он засмеялся. — Досыта насмотрелся. Да, Эпштейн!

На мне костюм, пальто, шляпа, тросточка, прямо хоть в кирху или в ресторан. А он стоит передо мной в туфлях на босу ногу, штаны какие-то невероятные, волосы как у рабина, и стоит и улыбается мне. "Очень, очень благодарен, мне вашу фирму порекомендовали как лучшую, очень рад, что не ошибся. Раздевайтесь, пожалуйста, проходите". И что-то ей буркнул еще, повернулся, свинья, показал зад и вышел. Ну а вот фрау видит, какой я и какой он, ей, конечно, неудобно, она мне: "Пожалуйста, прохо-

дите в комнату, выпьем чашечку кофе". Она-то, конечно, все приличия соблюла. Не хотел я ни пить, ни есть. Но, однако, из порядочности пошел. Она меня усадила, кофе налила, ликеру подлила, бисквит положила, сама села напротив, все по-культурному. Вот сижу я, пью кофе с ложечки и спрашиваю: "А скажите, пожалуйста, в какой гимназии герр профессор работает?" А она говорит: "А он не работает, он ученый". — "Ах, так, — говорю, — значит, он при академии состоит?" — "Нет, — говорит, — сам по себе". Ну, что ж? Я у них в гостях. Она хозяйка, что я могу ей ответить? Хотя понимаю, что заливает она мне, но молчу.Вот вам я объясняю: там ученый всегда при гимназии, или при университете, или при академии состоит. А так, чтоб нигде — так этого нет. Кто ж ему деньги будет платить? Не государство же! Там хозрасчет полный.

Он подумал.

— Ну, правда, там еще патенты есть: вот, скажем, изобрел ты краску для волос или карандаш от пятен, сейчас выправляешь аттестат такой — патент — изобретение твое, и кто хочет пользоваться, тот тебе плати. Ну, так вы же договариваетесь,сколько. "Значит, — спрашиваю, — господин профессор при своей лаболатории состоит?" — "Идемте, — говорит, — я вам покажу его лаболаторию". Поднялись по лесенке на второй этаж, вошли в какую-то комнатку: "Вот, — говорит она, — его лаболатория". Ну, взглянул я на эту лаболаторию — и все понял. Да!

Уже несколько человек слушали рассказ Белецкого, две головы свесились с верхних нар, несколько человек переползло с соседних лежанок и еще трое стояло перед нарами. Рассказчик окинул всех довольным взглядом, вынул из кармана кисет, высыпал на ладонь махорку и закурил. Все это красиво, выразительно, отчетливо. Он понимал, что он в центре внимания.

— Да, посмотрел я лаболаторию! Ну, лаболатория! Та лаболатория! Ну, ничего нет! Пусто! А мне

в разных лаболаториях приходилось бывать. Так войдешь — там банки, склянки, кислота, зола, горелка горит, шумит, серой воняет. Ну а тут один столик — и ни книжки, ни бумажки, ни чернилки, ни карандашика, ну ровно ничего, одна лампа! — Он помолчал, подумал, покурил. — Ну, абажур, правда, хороший, особенный, чтоб в глаза свет не бил. ”Вот тут, — говорит фрау, — за этим столиком он сидит и целую ночь думает”. Хотел я ее спросить, над чем же он тут думает, когда ничего нет, но воздержался. Там правило: в гости пришел, что тебе ни заливают, ты ничего не спрашивай, понял, не понял, а говори — понял. ”Спасибо, — говорю, — фрау, теперь я все понял”. Ну, пришли мы обратно в столовую, допили кофе, отдала она мне деньги.

— Прибавила? — жадно спросил кто-то.

— Отдала она мне деньги, — жестко продолжал Белецкий. — Пришел я домой, разделся, вешаю костюм на вешалку, а жена спрашивает: ”Ну, как?” — ”Да никак, — отвечаю, — никакого касательства к нашему Роберту он не имеет”. А жена у меня глуповатая, старше меня немного. ”Ну как же, — говорит, — как же? Так все его хвалят, он какое-то изобретение сделал большое”. Я опять ничего не возразил. Она не знает, я не знаю, что ж тут толковать? Ну, потом, вскорости, приходит ко мне один знакомый — газетчик, из наших казаков, спрашивает: ”Правда, вы с Эпштейном кофе пили?” — ”Правда, — говорю, — был с визитом и кофе пил”. Тот сразу ручку вытащил, стал писать. ”О чем же он с вами говорил?” — ”Многое говорил — обещал, что всех знакомых будет посылать ко мне”. — ”О! — говорит газетчик, — это вам счастье.Попросите у него письмо об этом, его все газеты перепечатают, ведь он мировой человек, его Америка знает”. Потом я еще несколько человек спрашивал, все подтвердили: да, для рекламы его письмо было бы первое дело.

Он помолчал, подумал и заключил:

11—166

— Ну вот, так я и видел этого знаменитого Эпштейна.

— Ну что ж, — спросил я. — Дал он вам письмо?

Он улыбнулся.

— Нет, не стал я связываться, посомневался что-то. Ну а потом, вскорости как Адольф пришел, он и тиканул куда-то, верно, кажется, в Америку А потом раз приносит мне сын альбом "Евреи смотрят на тебя" и спрашивает: "С этим ты кофе пил?" Посмотрел я — ну, самый он, только фуфайка другая, шерстяная, смотрит, улыбается, шевелюра, как у рабина. А внизу надпись: "Эпштейн, фальшивый ученый, враг германского народа, еще не повешен". Ну, тогда я понял, чем он за этим столиком занимался. Раз Советы его хвалят — значит, все!

Наступило короткое молчание.

— Листовки он, что ли, печатал? — догадался кто-то.

— Сведения передавал! — крикнул второй.

Все засмеялись. Белецкий полез на нары, вынул из-под подушки брезентовый мешочек, достал оттуда деревянную ложку, пайку хлеба и методически разложил все это перед собой, показывая, что рассказ окончен. Он ждет обеда.

— Дурачье, — сказал он со спокойным презрением, — разве это рассказ? Я однажды с самим фон Папеном в русской бане мылся, из одного крана тазы с ним наливали. Вот это рассказ.

Тут в барак вбежал дневальный и весело крикнул:

— Шестая бригада! В столовую!

В отношении обеда и завтрака чуткость у Белецкого всегда была исключительная. Тут уж он никогда не ошибался — что правда, то правда!

* * *

Второй рассказ Белецкого касается алма-атинского удава.

И тут надо сказать, что я Белецкому очень благодарен. Без него мне бы в этой истории ни за что бы

не разобраться — уж больно причудливыми зигзагами и кругами они пошла по свету. Удав действительно был и оказался чем-то вроде того знаменитого крокодила, который в годы первой мировой войны сбежал в Самаре из бродячего зверинца. Тогда рассказывали, что несколько дней хлестали ливни, и вода в бассейне, в котором плавал крокодил, вышла из краев. Крокодил вылез и уполз в Волгу. Случилось это летом, в самый разгар купального сезона, и паника поднялась страшная. Пляжи опустели. О крокодиле трещали все газеты. Очевидцы его видели то тут, то там. Помню, какая-то тетка рассказывала: проходила она по берегу, а пляж окружили конные жандармы и никого не пускают. Несколько дней тому назад здесь видели крокодила, — и я верю: действительно там его видели. И я его тоже видел. Помню, мы купаемся с матерью, и вот я, весь трепеща, ежась, захожу по грудки в воду и останавливаюсь над туманной глубиной. Колыхаются камни, волнистый светлый песок, черно-зеленые ракушки в глубоких бороздах, а там, дальше в глубину, на грани видимого и невидимого, в таинственном тумане встает что-то длинное, зубчатое, распластанное, черное, на четырех лапах, — ну, точь-в-точь притаившийся крокодил. И я тихо-тихо, задом отступаю к берегу и перехожу на другое место. А матери ничего не говорю — разве взрослым что-нибудь докажешь.

Вот я никогда бы ни в чем не разобрался, если бы не Белецкий.

* * *

Вот теперь я перехожу ко второму рассказу Белецкого.

Декорации все те же. Только вид у Белецкого совершенно иной. Он чуть не задыхается от восторга:

— Так вы, значит, из самого Верного? — спрашивает он, — из самого, самого?! Вот это здорово!

Ни разу не встречал земляка! На какой же улице жили? А раньше как она? А-а, Казначейская! А в каком месте? В парке, у Казенного сада! Против собора? Ну, как же, отлично помню! Там у меня такой роман-с был! Может, слышали купца Шахворостова? Ну, конечно, как же не слышать — свои ряды на всю Торговую улицу, на Хлебном рынке свои лабазы. Так вот, дочка у него была, Ксения. Жива ли, нет, не знаю, спросить-то не у кого! Ведь тридцать пять лет! Ах, Боже мой! Тридцать пять! — Он смотрит на меня подобревшими глазами, лицо у него задумчивое и мечтательное... — Ну, как же, как же, — продолжает он, — я там каждую улочку помню. А в горах вы были? Что есть там сейчас — сады или все уж срубили? Ах, колхоз там! Ну, раз колхоз, то... — Он вздыхает и качает головой. — А там раньше ведь сад Моисеева был! Знаменитая торговля на всю Россию! Яблоки "апорт"! Вы видели когда-нибудь верненский "апорт"? Я тогда с отцом в Семипалатку по Ташкентской аллее ходил, их возил! Во яблоко было! Во! — Он разводит пригоршни, показывая что-то округлое, большое, с добрый фарфоровый чайник для кипятка. — Два фунта! Теперь, конечно, такие только на вывесках увидишь. Это кто ж вам рассказывал, что есть? Как, сами видели? Так это в музее, в музее восковые. Ах, сами срывали? С дерева? (Пауза.) А не агитируете, нет? (Пауза, вздох.) Ну, что ж, я верю. Раз вы говорите, я должен верить. Я всем верю. Я такой человек! Так, значит, сохранились яблочки! Ну, ну! — И он великодушно кивает головой мне и моему напарнику по нарам, дремучему старичку-лесовичку, который вылез из-под нар с самого темного угла, сидит, слушает, смотрит на нас загадочными медвежьими глазками и слегка позевывает.

— Только как хотите, а навряд ли такие яблоки сейчас есть, — говорит Белецкий, — да, навряд. Тут за каждым деревом уход особый нужен. Яблоню-то нужно укутывать, окуривать, окучивать. Кто в кол-

хозе-то этим заниматься будет, кому больно нужно? Тут особая рука требуется — хозяйская, бережная рука. Народ?! Хм! Нет, вы мне про этот народ не говорите! Народ! Ну, вот он ваш народ, сидит, зевает. Он народ, а я хозяин, — так кто больше спину наломает?! А когда вы в последний раз там были? А где? А до щели доходили?! До самой-самой?! Так это далеко, там даже и у Моисеева садов не было. Холодно, высоко. Нельзя! А что вы там делали? Ах, по истории ездили. Ну-ну, понимаю, понимаю! У нас в Европе историю очень ценят, очень! В Берлине музей специальный есть, там в одном зале целый древний дворец привезли и построили, весь из плит. Видели в кино — "Одиссея"? Так вот, в нем он жил. А кого вы знаете из местных верненских? Так, так, так! Ну, это все приезжие, я таких и не слышал. Ну, а вот Шахворостовых, Инфаровых, Ганджу, Безугловых, Потаповых — вы не знали? Про какого-то Потапова из Алма-Аты у нас в газете писали, он там со змеем-удавом воевал. Не знаете это дело?

Я не стал прерывать разговор на полуслове, попросил его рассказать, что все это значит. Кто этот Потапов, почему он воевал со змеем в горах? Какой змей? Какие горы? Как, то есть, воевал? А Белецкий по-прежнему смотрел на меня восторженными, помолодевшими глазами и улыбался.

— Какой Потапов-то? — ответил он. — Там имя, отчество не указывалось. Знал я одного — того звали Иван Семенович, но это не тот. Тот с фронта не вернулся. Нас с ним вместе призвали в 14-м году. Всем по 20, по 21 году было, только мне — 25. Эх, парни были! Я вот на своего сына Роберта смотрю — хороший он, вежливый, деловой, да не такой, как мы. Нет, не такой, кровь немецкая, жидкая.

"Вот тебе и нацизм!" — подумал я и спросил:

— Так, значит, вы в расовую теорию не верите?

Он посмотрел на меня, как на глупого, и скучно вздохнул.

— А что мне верить, — сказал он. — Кто я — Адольф или Геринг? Я — хозяин, глава фирмы, значит, какой закон есть, того я и должен придерживаться. Я не хотел идти в болото, землю рыть. У меня фирма, сын, жена. Мне это ни к чему. Значит, должен был я исполнять закон. Вот и все!

Он с полминуты просидел неподвижно, хмурясь и не смотря на меня. Потом глаза его опять подобрели, и он улыбнулся.

— А про змея у нас много печатали и в газетах, а потом в журналах. Был такой богатеющий журнал, весь в красках, вроде "Солнца России". Назывался "Ди вохе", по-немецки — "Неделя". Так вот, в нем печатали: "Сбежал из города Верного, теперь Алма-Ата, удав и скрывается три года в горах, живет в каких-то потайных пещерах. Колхозники боятся яблоки собирать (вот почему я сразу вам поверил, что там яблоки еще остались). Колхозный бригадир Потапов, — писали, — даже устраивал на него облаву артелью, да не поймали, в землю он ушел". А потом в "Ди вохе" картинка была, на два листа, богатая такая, в красках: ночь, звезды синие, тополя, горы и луна их так освещает, а удав ползет по площади, мимо памятника Сталину. Сталин стоит так — руку держит, а змей голову поднял на него и смотрит. Весь пятнистый, голова огромная. Очень хорошо нарисовано. Там, знаете, как художники рисуют?! Все блестит! Сын мне специально принес этот журнал: "Вот, папа, посмотрите на свои родные места". Так я эту картину велел перерисовать, повесил в рамке в приемной. Когда клиенты приходили, они всегда прежде всего смотрели на эту картину, а я выходил к ним в фойе и рассказывал: "Вот, мол, в этом городе жил и действительно могу подтвердить, что там такие вещи случаются". Многие интересовались. Один профессор по зверям специально приходил меня расспрашивать — какой климат, далеко ли горы, ну и все такое. А потом я здесь одного немца встретил, он тогда в Новосибирске жил. Консулом

был. Тоже не маленький человек. Он мне рассказал, что вся эта история через него пришла к нам. Он там в России вырезки собирал и в Германию одному лицу посылал. А тот и напечатал.

Новосибирский консул — вот он где![1] Я даже вздрогнул.

— Как же его взяли? — спросил я. — Новосибирского-то консула? Его что ж, сразу не выпустили?

— А зачем он будет сидеть, дожидаться, чтобы не выпустили, — усмехнулся Белецкий. — Нет, он мужик головастый! Он еще за год или за два уехал из Москвы. Он в плен попал, где-то на Кубани служил хозяйственным представителем, там его ваши и забрали. Сейчас он в лазарете санитаром числится, его доктор при себе держит, потому что он хорошо латынь знает. Вот будете в лазарете, встретитесь, спросите. Он вам расскажет, он народный человек, поговорить любит.

* * *

В лазарет я попал осенью того же года. Там мне повезло. Я достал толстую общую тетрадку и стал ее заполнять всякой всячиной. Сейчас она лежит передо мной. Чего только в ней нет! И рассказы, и стихи, и драмы из античной истории, и черновики писем, и жалобы, и повести из жизни фашистской Германии. Вот выдержки из одной повести я и хочу привести здесь. К моему рассказу они имеют самое прямое отношение. Я ничего не изменял, ничего не добавил, только выбросил кое-что. В общем, это, конечно, не совсем то, что я услышал. Кое-что додумано и дожато, но читатель уже сам разберет, что к чему. Сейчас мне только хочется рассказать о непосредственном источнике всего этого — о Новосибирском кон-

[1] "Консул" кратко упоминается в романе "Хранитель древностей". Брату бригадира Потапова Петру НКВД инкриминировал связь с этим консулом и отравление по его приказу запасов зерна.

суле. Я его застал в больничной аптеке. Он сидел за столом в пустой докторской комнате и выписывал прописи из истории болезни на отдельную бумажку — пирамидон, дигиталис, аспирин, еще какие-то калики-моргалики, как мы их называли. Мне он понравился сразу — высокий, полный человек с молодым румяным лицом (впрочем, не румянец, а так, прожилки на щеках тоненькие, как коралловые ветки), небольшими гладкими волосами, спокойный и приветливый. Одет он был чисто — в аккуратно залатанный зеленый военный мундир со споротыми нашивками. Я поздоровался с ним, назвал себя и сказал, что мне хотелось бы от него узнать ту историю про удава. Он слушал меня и писал, а потом поднял голову и улыбнулся:

— Неужели это сейчас может кого-нибудь интересовать, а? — спросил он удивленно. — Удав в горах. Это после всего того, что произошло с миром. Боже мой! — Он покачал головой, вздохнул, улыбнулся и опять наклонился над столом. — Впрочем, если вас действительно интересует этот курьез... Только извините, я уж буду писать и говорить. Кто вас ко мне прислал-то?

Я спросил, слышал ли он про Белецкого.

— Про эту гестаповскую сволочь? — спросил он спокойно. — Значит, он еще не сдох? Знаю, знаю, да говорить о нем не хочется. Расскажите лучше об этом феномене. Что у вас там было в действительности?

— Наделал этот феномен у нас шума, — сказал я и начал ему рассказывать. Он слушал и писал.

— Да, — сказал он, — вот он, идиотизм истории! Но ведь самое главное не это, а, так сказать, в исторических выводах из всего этого. Но вот война кончается, и мы возвращаемся к пенатам своим: вы — к себе, а я — к себе. Ну, с вами вопрос ясен. С чего вы кончили, с того вы и начнете. А вот что я буду делать? Открою юридическую контору или опять сяду на судейское кресло, уеду в Аргентину консулом?

Но, во-первых, уже не возьмут — оскандалился, а во-вторых, слишком уж много повидал, и передумал, и нагрешил. Такие, как я, не судят, не обвиняют, не представляют, не защищают. Вот, пожалуй, мое единственное дело — латынь-спасительница! А как я на нее плевал в гимназии, дурак! — Он покачал головой. — Эх, дурак! Потерял свое настоящее место!

Нет, это был, конечно, не нацист.

— Вы устали, — сказал я, — вы просто очень, очень устали.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Это само собой. Но неужели вы думаете, что от этой усталости можно отдохнуть? Нет, она уже на всю жизнь. Я попросту потерял интерес ко всему. Это тоже, конечно, не вполне правильно сказано, но точнее не скажешь. Ах, у меня когда-то состоялся разговор. Я в то время был судьей, а он находился в лагере, это был большой журналист. Вы, вероятно, знаете его фамилию, не буду сейчас ее называть, потому что не в нем дело. Так вот, мне по одному личному, сугубо личному поводу надо было его увидеть. Недостойный был повод, мелкий, глупый, но я все-таки добился свидания. И он тогда мне сказал... — Консул задумался и вдруг удивленно сказал: — А вы знаете, ничего он мне, в общем-то, не сказал, он просто поговорил со мной о моем конце. Да, да, сейчас я понимаю, что это так. Я мог бы его уничтожить одним словом, я за этим вообще-то и приходил, но он об этом даже не думал. Нет, не думал! Ему на все было наплевать. Он был мой двойник, но разница между нами была огромная: он служил абстрактному добру, а я начал уже обслуживать вполне конкретное зло. И вот он мне сказал: "Бегите, нечего вам тут делать. Ваш конец близок". Я не поверил и не сбежал. Да и не сумел бы, конечно. И вот видите, что получилось.

Он говорил тихо, медленно, задумчиво. Это был какой-то очень странный преступник. Такого я еще не видел. Он, безусловно, не признавал ни Гитлера,

ни гитлеризма, ни гитлеровского государства, а служил им, и служил не за страх, а за совесть, служил и потому считал возмездие вполне заслуженным. В общем, это был вполне покорившийся судьбе человек, который имел все — ум, душу, совесть, здравое понимание обстановки — и не имел только одного — самого себя.

Потом таких людей — немцев, австрийцев, белогвардейцев — я стал встречать все чаще и чаще. Они перестали быть редкостью, можно сказать даже так: они стали средним типом европейского обывателя определенного типа. Они действительно ни во что не верили, они действительно ничего не делали. Новосибирский консул оказался только первым из этой категории. Я стал его расспрашивать. На вопросы он отвечал охотно. И скоро из разговоров с ним у меня сложилась довольно обширная запись. Вот один отрывок из нее я здесь привожу.

* * *

Итак, немецкий консул в Новосибирске, тот самый... Впрочем, еще одна оговорка: по странной случайности мы оказались почти знакомы. Его отличный русский язык (ни сучка, ни задоринки) был воспитан именно в России, в Москве на Кузнецком мосту, там он родился, вырос, возмужал, получил первые "впечатления бытия". В доме, мне кажется, 25-м по Кузнецкому, находился магазин его отца "А туалет". Я отлично помню эту громадину — стеклянный аквариум, затененный расписными дымками и флерами и озаренный туманным светом голубых люстр. На витрине целая горка прямоугольных кристаллов — зеленых, белых, розоватых, с вмороженными стебельками ландышей (духи), потом огромные белые коробки, как будто выточенные из слоновой кости (пудра). Розовые пуховики для пудры, золотые карандашики для губ, серебряные карандашики для бровей, крошечные стеклянные баночки, и в них ка-

кая-то очень душистая светложемчужная розовая масса, бескостные тени женских рук (перчатки), серебристо-серые, черные, бурые, красноватые, две фарфоровые совы смотрят друг на друга зелеными глазами, матерчатые цветы фиалок, разбросанные по витрине. В общем, хрустальный дворец, полный сокровищ. Здесь я и повстречал его. Никогда до этого, да и много после, я не видел такого гордого и независимого мальчика, и была на нем не линючая матроска с отложным воротником, как у всех нас, а самый настоящий взрослый костюм. (В те годы наши матери помешались на этих проклятущих матросках. В "Солнце России" появился раскрашенный портрет наследника-цесаревича в такой точно куртке. И вот летом по бульвару зашагали целые шеренги маленьких унылых матросов. Матроски были шерстяные, кусачие, и в них было очень жарко.)

Я стоял с матерью около прилавка — ей показывали страусовые перья в коробках, — и тут появился он. Сначала он, потом велосипед. Он вел его, как пони, под уздцы, ласково и гордо.

Велосипед был новешенький, зелено-красный. До сих пор помню стальную радугу и молнии спиц, когда он появился в стеклянных дверях. В магазине было много народу. Но его увидели сразу, и все замерло. Он остановил велосипед около двери, улыбнулся кому-то из приказчиков, о чем-то спросил, кивнул еще кому-то. Все это гордо, свободно, независимо. Потом кивком он подозвал к себе негритенка в красной курточке, стоящего в дверях (это был единственный в Москве негритенок — бой с круглой шапочкой на виске), что-то приказал ему, и тот вдруг взлетел по винтовой железной лесенке. Вот так мы и повстречались, более чем тридцать лет тому назад. Когда я напомнил ему про это, он сначала, словно не понимая, поглядел на меня, а потом вдруг тихо и подавленно сказал:

— Но неужели такие чудеса бывают на свете? Если б вы знали, что вы мне напомнили. В этот день мне

исполнилось шестнадцать лет, и я получил взрослые подарки: винчестер, кодак и велосипед. Целую неделю я носился с кодаком через плечо на велосипеде. Дачу я, как и все мальчишки, ненавидел. А через неделю была объявлена война, и меня перестали пускать даже на улицу. — Он подумал. — Да, ровно, ровно через неделю. У нас в семье ее никто не ждал. Отец читал ”Русское слово”, ”Утро России” и говорил: ”Это все маневры, это все большие маневры большой политики. Господа выравнивают чаши европейских весов. Вот и все”. Бросал газеты и уходил в магазин. Он подчеркнуто никогда не говорил о войне. Но однажды она пришла и превратила в прах все, что у нас было, да не только у нас. С этих пор мир ни одного дня уж не жил спокойно. — И помолчав, и подумав, он мне рассказал, что в его сознании юность у него делится на два неравных куска: до и после. Кусок до — белый, сверкающий, ослепительный: солнечное зимнее утро, ночной снег с голубой искоркой под полозьями, белейшая масленица, черная икра в хрустале и льду, ломкая от свежести скатерть, ледяное шампанское в серебряном ведре; лето — зеркальные шары в саду, золотое небо, отраженное в пруду, девочка на скамейке с красными лентами в волосах, бело-розовое платье матери, веер в ее руках; и кусок после — черный, страшный, мутный: раскаленный вагон, из которого нельзя выйти на платформу (мало ли что придет в голову какому-нибудь хулигану, мы же немцы), размякшая проселочная дорога, Азия, север, низкое набухшее небо и дожди, дожди — серые, косые, хлесткие. Проснешься среди ночи на степной станции и видишь, как над тобой на закопченном потолке шевелится желтый кружок света, и вся комната полна шороха — тараканы. Затем дощатый настил через лужу, юродивый около колодца, хлеб, плоский, как лепешка, заснешь в пути и проснешься от толчка: подвода мерно покачивается в озере грязи. Город с непонятным названием ”Кустанай”. Это немцев интернировали в Сибирь. И,

наконец, через два года — долгожданное освобождение, такое же черное и страшное. Заляпанный вагон-телятник с бурой, пахнущей сырой глиной, соломой. К стене прилажен огарок. Проверка каких-то документов. Солдаты, пахнущие псиной шинели. Никто ничего не знает, и все всего боятся, и всем на все наплевать. А потом поглотила без остатка всю его жизнь политика. "Первое время, — сказал он, — я был очень далек от нее". А потом все-таки пришлось ввязаться. Наступил 1923 год. В этом году он подал заявление о вступлении в национал-социалистическую партию. Я его спросил: "Почему же именно национал-социалистическую?" Ведь если верить всему тому, что он говорит, то это совсем не похоже на него.

Мы в это время сидели в аптеке и выписывали прописи из истории болезни. Тогда он как будто не расслышал моего вопроса. А после проверки сказал:

— Ну, в общем-то, вы, пожалуй, правы. Нацистом я никогда не был. Гитлер ведь вообще очень несерьезная фигура, он на меня и в 23-м году произвел преотвратительное впечатление. Дрожащий, визгливый, высокопарный, как баба. Он и физически был как-то неприятен — нелепая, вздернутая фигура, широкий таз, узкое мокрое лицо в пятнах, острые собачьи скулы. Да, да, в нем было что-то от худого голодного пса, из тех, которые исподтишка хватают сзади. Помню, как он пробирался по залу с браунингом в руке и весь дрожал не от страха, а от возбуждения. А за ним шли его волкодавы. Нога в ногу — чего, кажется, бояться, но вот я уверен: крикни, стукни, упади около него что-нибудь, и он завизжит и начнет палить. Нет, он меня совершенно не устраивал. Ведь гамбургские-то и мюнхенские рабочие действительно сражались, строили баррикады и умирали. А этот только визжал, рычал и брызгался.

— Но, говорят, он великолепный оратор, — сказал я.

Он усмехнулся:

— Не для меня! Для тех, кто любит, когда на них орут. Меня же это просто утомляет. Это как треск жестяного вентилятора. Нет, тут дело было совсем в другом.

Он подумал и спросил:

— Скажите, вы помните 23-й год? — Я кивнул головой. — И хорошо помните? Сколько вам тогда было? Четырнадцать? Ну-ка, расскажите, что вы помните об этом годе.

Я задумался. Память у меня никогда не была картотекой, скорее это был комок спутанных разноцветных лент — и серых, и зеленых, и красных, и синих. И надо было здорово повозиться, чтоб вытянуть именно нужную ленту.

До половины лета 23-й год я провел в Москве. Было очень жарко, асфальт размяк и весь город пах смолой и жженой резиной. В этом году начали, наконец, чинить города. На всех углах стояли огромные железные кастрюли, и в них кипело и пузырилось черное адское варево. Рабочие в несгораемых брезентовых униформах мешали его железными лопатами. Вокруг них всегда курился синий дым. Работали весело и споро. Варево было густое и зернистое, как смородиновое варенье. Одни его варили, другие лопатами выбрасывали на тротуар, третьи поглаживали деревянными треугольными брусками. Все были чумазые, здоровые, веселые, кричали, смеялись и ругались. Баварский квас они пили ведрами, ну, как лошади (зеленые, красные киоски появились в Москве в ту пору на всех перекрестках). Очень было интересно смотреть, как они обедают, — садятся кружком на землю, раскладывают на газете круглые краюхи черного хлеба, такого парного, пахучего, руками разламывают пополам, посыпают крупной солью и вкусываются в мякоть. В течение одного лета Арбат и Пречистенка — две длиннейших московских улицы — были полностью заасфальтированы. Так что первое воспоминание о 23-м годе — это вос-

поминание о запахах, запахах асфальта и каштанов. И вот почему каштанов: около нас был особняк. Я не знаю, кому он раньше принадлежал, но, наверное, кому-то очень богатому. Все здесь было подчинено каштанам — росписи, фрески, орнаменты, даже чугунная решетка и та переплеталась каштановыми листьями. По их ветвям можно было взобраться на крышу особняка. Там начиналось особое царство: железная узорчатая Венеция. Там были дома, площади, улицы, переулки, переходы, воздушные мостики. Была высокая стеклянная гора, вознесенная над всем, — лестницы там, лестницы здесь. Через одну лестницу можно было вылезти на верхний этаж особняка. Мы проделывали это утром, когда никого еще не было. Какая хрупкая, звонкая тишина царила в ту пору в пустом доме! Голубые плитки звенели на весь дом. Любой шаг отзывался, как звон капели, и все коридоры вели в зал — огромный, метров сто, с высокими готическими окнами, — целое море света стояло в нем в солнечные дни. Мебель была в доме тяжелая, геральдическая, дубовые столы с узорчатыми ножками, стулья с высокими прямыми спинками, шкафы с рыцарскими барельефами. И все это принадлежало нам. На стенах, выложенных золотыми изразцами — с лилиями, каштанами и улыбающимися женскими лицами, мы наляпали самодельные плакаты, лозунги, кумачи, портреты. На дубовые столы разложили разноцветные брошюры. Это был "Дом пионеров". Здесь мне впервые повязали красный галстук. И третье впечатление. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Но об этом даже не расскажешь. Никакими словами не передать того, что почувствовали мы, впервые войдя в эти узорчатые ворота. Год тому назад здесь был злейший пустырь, бурьян, лопухи растут, свалка, какие-то погнутые железные кровати, проржавевшие тазы, дохлые кошки, грязь и запустение. А сейчас стоял город. Дворцы, стеклянные павильоны, театр, цветники, сибирская деревня с избами, сложенными из круг-

ляка, юрты, туркестанский узорчатый павильон, еще какой-то дворец с фонтанами. В огромном машинном зале безмолвно ходили маслянистые поршни и крутилось страшное маховое колесо. У нас дух замирал, когда мы смотрели на все это. Разруха, гражданская война, голод и холод — все как не существовало. Перед нами залитая солнцем и электричеством поднималась наша страна — непоколебимая в своей царственной мощи. И верилось нам, что это такая твердыня разума и красоты, что ей уже ничего не страшно. Это было утро нашего возрождения.

Не помню, как и что из всего этого я рассказал немцу. Он слушал меня, сложив руки на коленях. А когда я кончил, то он сказал:

— А у нас тогда была ночь. Мы погибали от нищеты и голодной собачьей свободы. Вы не знаете, какая у нас нищета, ведь это не те бородатые слепцы с мешком в руках, что поют и стучатся под окнами. Это и не старухи у храма. На таких я насмотрелся в Кустанае. Нет, это что-то совсем другое.

Нищета у нас была тихая, опрятная, старушки в мантильях и шелковых наколках на голове подбирали в мешочки кости и огрызки хлеба, профессора, улыбаясь, продавали спички, у лавок, как в церкви, стояли тихие толпы и ждали. Но хлеб все-таки уже везли под конвоем, в закрытых фургонах. А рядом шагала стража. Везде мелькали солдатские шинели, аккуратные, залатанные. Черт знает, сколько верст прошли они, многострадальные, — от Берлина до Марны, от Марны до Пскова и от Пскова опять до Берлина. А рядом — парадный центр, залитые электричеством улицы, ювелирные магазины, рестораны с выгибающимися кельнерами, ночные бары самых разных специальностей и пошибов, рекламы с пятиэтажный дом, смех, шум, автомобильные гудки. Но иди быстро, не останавливайся, это как мираж — вспыхнет и пропадет. И опять ночь — грязные кварталы, убогие лавчонки, трактиры в узких прокопченных домах, кусты картофеля. Все предместья Берли-

на были засажены этим картофелем. И все равно каждый пятый родившийся умирал от голода.

— В общем, — сказал он, — колонизаторы нас жрали живьем, покупали на мясо наших жен, дочерей, невест, превращали нас в лакеев и продавцов спичек. Жить можно было, только подлаживаясь под них, только продавая, и я понимал, что все больше и больше превращаюсь в продажного немца. Вот тогда я и подумал, что разумного выхода не существует, должна прийти истерика, безумие, нелепость и спасти нас от их сокрушающего разума. И я пошел за безумием. Да, да. Я совершенно сознательно пошел за безумием.

— Но ведь была и другая возможность, разумная, — сказал я. — И, как понимаю, довольно близкая.

— Вот, вот, вот, — воскликнул он обрадованно, как будто я высказал его мысль. — Она бы и была мне страшнее всего. Вы даже, может быть, и не представляете, как близко была эта вторая, как вы говорите, разумная, возможность. В годовщину Красной Армии "Ди вохе" вышел с обложкой, на которой был изображен могучий красноармеец, шагающий рядом с солдатом рейхсвера. Подписи нет. Понятно и так. Министр обороны в рейхстаге во время прений об оккупации Рура заявил: "Надежды на русскую Красную Армию нереальны". Но вы понимаете, что таким нереальностям верят больше всего. А через несколько дней в "Форверсте" статья Каутского: "Не призывайте советских солдат, Россия поссорит нас со всем миром". А когда однажды я пришел к себе в контору, у меня под стеклом лежал номер "Правды" с лозунгами к годовщине Октябрьской революции. И вот один из лозунгов был подчеркнут красным карандашом: "Немецкий паровой молот и русский хлеб спасут мир", и подпись — неизвестная мне — "Сталин". Газету принес отец. Он зашел, не застал, оставил газету и написал на полях: "Прочти и подумай".

Он усмехнулся:

— Мой отец торговал с оккупантами, но к нам, нацистам, как теперь говорят, он идти не желал, он считал нас попросту свиньями, а про наше движение говорил: "Это же свинство, ребята!" Что ж, у него был отличный антиквариат, к нему лились и французские, и бельгийские, и швейцарские франки. Только бордели и антиквариаты давали тогда сверхдоходы, рестораны горели. Я — другое дело, я был адвокатом с ничтожной практикой.

— А как глубоко вы влипли в это свинство? — спросил я.

— Тогда достаточно глубоко, — ответил он коротко. — Так вот, я считал, что яд нищеты, поражения, безработицы, большевизма, позора отравил наш организм так, что мозг у нас уже сдал, вот-вот остановится и сердце. Смерть наступит от отравления трупным ядом. Поэтому я ненавидел и боялся вас и оккупантов. А сознание-то, верно, гасло! Мы сделались морально дефективными. Появились кабачки, где творилось что-то уж совершенно необычайное. Официанты в саванах, у метрдотеля на лице намалеван череп, книги о призраках, мистический роман о глиняном болване, который сокрушит человечество. Протоколы сионских мудрецов. Начались убийства молодых женщин, невероятные, издевательские самоубийства, их мог, правда, внушить только сам дьявол. Или вот такое. В течение почти целого месяца в самых крупных газетах печатались телеграммы о похождениях вампира. Понимаете, женственный юноша в отличном костюме с аристократическими манерами, с мягкой улыбкой и добрыми глазами появлялся на всех дансингах. Он танцевал с самыми красивыми девушками и предлагал их проводить в собственном авто.

А потом девушку, задушенную и обескровленную, находили на обочине шоссе. И вы знаете, я уверен и до сих пор, что что-то подобное действительно было. Ученые писали книги об упадке воли к труду

и о том, что человек разучился, не хочет, не может уже работать. "Что ж тогда будет с миром?" — спрашивали мы друг у друга в своих ночных кабачках. Понимаете, какая невероятная неразбериха, безысходность владела всеми нами.

И вот я думал: нация пропала, интеллигенция проврвалась и проворовалась — ей никто не верит, осталась масса, чернь, плазма. Но ей нужен вождь, какой-нибудь базарный, крикливый пророк, не Гарибальди, не Бисмарк, ни тем более Ленин, а что-то прямо противоположное, примитивное, дешевое, утробное, ну, пивной король, шут, кривляка, петрушка. Мне казалось, что если появится вот такой безродный, беспардонный и бесштанный бог, то он может еще толкнуть нацию на что-то страшное и решительное. Иного выхода я не видел.

Союзники нас жрали по кускам, спокойно, методически, с культурной улыбочкой, и ничего нельзя было поделать. Ничего! Они были кругом правы. Все моральные ценности были у них в кармане, гуманность, договора, право моральное, право юридическое, право международное, право на компенсацию, все, все у них. Мы же были, как говорят воры, "заигранные". Ох, этот страшный 23-й год — оккупация, безработица, рурские расстрелы за саботаж. Ничего позорнее я уже не увижу.

Вот так я и стал нацистом. Я считал нацизм мечом против преступной республики. А вы что думаете, она не была преступна? Гитлер рычал: "Тот факт, что у нас существует парламентаризма, позволяет Штреземану оставаться рейхсканцлером, несмотря на то, что Рейн и Рур оторваны от Германии. И Германия уже погибла. Если положение не изменится, через сорок лет народ созреет для негритянской диктатуры. Он будет приветствовать всякого, кто кинет ему хлеб". Так же думал и я. Теперь вспомните, что я только что сказал вам о базарном пророке, о дешевом боге пивных, который нужен

человеческой плазме, но не мне, и судите меня как хотите.

Он подумал еще и сказал с какой-то горечью и ожесточением:

— И самое главное, я не был глух, я слышал и другие речи и знал, что это правда. "В России борьба за диктатуру потребовала бесчисленных жертв. Но в Германии эти жертвы несет исключительно народ, порабощенный как никогда. Без большевизма, без революции, при складах, забитых сырьем, при заполненных амбарах народные массы голодают, мерзнут и умирают от истощения. Царит неописуемая, небывалая нужда и безработица. Страна отброшена политически, экономически и социально на сорок лет назад. Чем же нам теперь страшен большевизм!?"

Видите, я запомнил почти слово в слово оба выступления. И все-таки я пошел за первым, а не за вторым, хотя понимал, что второй прав. Как, по-вашему, все это связать?

Я молчал.

Он повторил настойчиво:

— Нет, вы же хотите описать все, что здесь видели и слышали? Так вот, как же вы написали бы обо мне? "Классовая ограниченность, безыдейность и страх перед пролетарской революцией толкнули его..." Ну, так, что ли?

Я только плечами пожал. Он меня сейчас утомлял страшно. Говорил он негромко, но горячо и страстно, и я все не мог справиться с чувством какой-то большой душевной усталости и разбитости.

— Какая у вас хорошая память, — пробормотал я. — Вы все помните.

— 23-й год? — воскликнул он. — Все до слова, все, все, все помню. Зато вот о последующем у меня представление путается, тут я многое забыл, спутал. Что ж вы хотите, жизнь вошла в рамки, страх прошел, я не ошибся. Все остальное стало безразличным. А безразличие ведь не помнится. — Он опять подумал. — Но вот как раз история с вашим уда-

вом — эту забавную и глупую нелепость я помню хорошо. С ней, оказалось, связаны некоторые обстоятельства моей личной жизни. Так уж получилось. Но только не сегодня, а завтра, сегодня я устал. — Он провел рукой по лицу, расстегнул воротничок. — Очень устал, — повторил он вяло, — вот видите — даже лоб мокрый.

* * *

Пожалуй, это все-таки повесть, а не человеческий документ. Но вот все мотивировки автора я попытался сохранить — именно так он якобы думал и действовал. Таковы якобы были его побудительные причины. Прошу заметить: "якобы". В какой степени это правильно, я сейчас совершенно не знаю. Надо сказать, что голову он мне забил все-таки изрядно. Поэтому за что купил, за то и продаю. Мне еще придется возвращаться к его запискам не раз. Итак — еще раз: немецкий консул в Новосибирске, тот самый, что завербовал брата бригадира, сидел за столом и работал. Кипа растерзанных газет валялась на полу, другая, еще не тронутая, лежала на столе. Консул брал газету, шумно и резко раскрывал ее, отыскивая глазами место, обведенное синим или красным карандашом, мгновение смотрел на него, потом выхватывал ножницами нужный кусок и клал его в одну из папок. Эту операцию он проделывал уже много лет подряд. Семь подобных папок лежало у него на столе, друг на друге. Все они были разные. На седьмой, самой нейтральной, было написано: "Природа и охота". Эту седьмую папку консул собирал с особой тщательностью. То была папка особого назначения и предназначалась она лицу, которого консул продолжал почтительно, хотя и несколько иронически, называть "Господин шеф". Никакого прямого отношения к нему этот "г-н шеф" не имел, но зато очень многое, что происходило в Германии, имело к "г-ну шефу" самое прямое отношение. И

именно ему консул был обязан всей своей дипломатической карьерой и местом. Это консул помнил хорошо и поэтому всегда рад порадовать г-на шефа какой-нибудь выходящей из ряда вон охотничьей историей.

Как раз в то утро, с которого я начал рассказ, секретарша принесла консулу совершенно необыкновенную вырезку. На последней странице республиканской газеты была помещена заметка — ”Индийский гость”. ”Пятиметровый удав сбежал, — сообщалось в заметке, — из Алма-Атинского зверинца, добрался как-то до гор и вот уже в течение двух лет появляется в районе горных садов, пугая до смерти колхозников и опустошая колхозные курятники. Осенью прошлого года, когда настали холода, он исчез, а весной, как только стаял снег, появился снова — худой, облезлый, почерневший, но быстрый и живой. Его видели то тут, то там, в окружности десяти верст. Женщины боялись гулять и собирать цветы, колхозники работать в саду, а ребята купаться в студеной горной речке. Говорят, в жаркий полдень удав прячется с головой в воду и поджидает купающихся”.

— Поразительно, — сказал консул, прочитав эту заметку. — Чтоб удав мог прожить горную зиму в Казахстане! Да его и у нас в Гамбурге завертывают в ненастный день в одеяло. — Он вырезал аккуратно эту заметку, подписал на обороте красным карандашом все данные: название газеты, номер ее, год, число — и вложил в конверт. — Этой заметкой я кончаю папку, — сказал он. — На этот раз интересного в ней собралось много, старик будет доволен. А история с удавом — это вообще сенсация!

— В Советском Союзе сенсаций не бывает, — улыбнулась секретарша.

— Мировая сенсация! Мировая! — поднял палец консул. — Удавы могут жить в Сибири и ползать по снегу. Такого еще не было слыхано. Зоологи должны будут пересмотреть все свои представления об уда-

вах и о зоне их распространения. Русская зима не в силах заморозить иноземных гадов. Тема для хорошего фельетона или даже памфлета. В Берлине это должно произвести впечатление. Нельзя ли достать где-нибудь и второй экземпляр для меня лично? Я увезу его к себе во Франкфурт.

Во Франкфурте-на-Майне у консула в имении был специальный шкаф с вырезками. ”Канун второй мировой войны (1932 — 1939)” было написано на этом шкафу. Что война неизбежна, в это консул верил твердо и даже примерно указал срок — 39-й или, в крайнем случае, начало 40-го года. Знал он даже примерную расстановку сил. С одной стороны — Германия, Румыния, Финляндия, Австрия, Венгрия, Польша, Италия и Испания, с другой стороны — Франция, Советский Союз, Чехия и Англия. Сомнения у него были только насчет США, и он их заносил то в один лагерь, то в другой, смотря по обстоятельствам. Больше всего, однако, верил в то, что Америка сумеет остаться нейтральной и будет всем продавать оружие. В новой войне, верил он, обязательно применят газы, бактерии, огнеметы. Лучи смерти и энергию внутриядерную отрицал абсолютно и даже не хотел об этом разговаривать. ”Фантастика, — говорил он. — Ну что мы о ней будем толковать, о фантастике! Да сейчас и времени уже нет — поздно изобретать”. В мировую победу Германии он то совсем не верил, то верил только наружно и условно. ”Поначалу да, конечно, победим, но вообще все кончится Азией, — и прибавлял, поясняя: — Желтая опасность”. Но к Шпенглеру и его ”Закату Европы” относился презрительно и считал автора попросту декадентом и болтуном. О других классиках нацизма предпочитал не говорить вообще. Но если кто-нибудь заводил разговор, например, о Ницше, то уныло восклицал: ”Ну, гений же!” Расовую теорию принимал, но ограниченно и считал ее вообще не теорией, а политическим маневром. ”Раз у них коммунизм, — говорил он, — значит, у нас обя-

зательно должен быть расизм. Только такое государство и устойчиво, которое состоит из чистых и нечистых, из сверхчеловеков и подчеловеков. Это и есть государственный динамизм! О, я это отлично понял еще в России". И тогда, когда речь заходила о России, все замолкали. Тут его авторитет признавался всеми. Так шли года, и когда в 37-м году (в это время у него была лучшая адвокатская контора в Берлине) ему предложили занять место председателя суда в одной из земель, расположенных на востоке, он принял этот пост хмуро, сосредоточенно, но без всяких уже колебаний. В это время произошло в его жизни и другое, тоже очень крупное событие: он полюбил еще молодую актрису, из хорошего семейства с известным аристократическим именем, но не вполне ясной репутацией. Пришлось официально развестись с женой (она много лет страдала какой-то изнурительной болезнью), зарегистрироваться с актрисой и перевезти ее к себе. Это была престранная особа — ласковая, податливая и дружелюбная до какой-то поры и совсем другая — холодная, сдержанная, настороженная — с другой, когда отношения начинали клониться к близости. У него уж накопился порядочный опыт в таких делах, он уважал и ценил его, больше всего боялся остаться в дураках. Эта боязнь наконец превратилась у него из инстинкта во вполне осознанный регулятор поведения. Поэтому после одной встречи, затянувшейся чуть не до утра и такой же безрезультатной, как все остальные, он вдруг решительно встал и сказал: "Ну а теперь разрешите вас проводить до дома". А она улыбнулась и сказала: "Глупый! Разве ты не видишь, что я люблю тебя, а иначе бы..." Она так и не сказала, что бы она сделала иначе — ушла бы от него или легла бы с ним. С этого дня она стала его женой.

Вот только ей он и высказал однажды крошечный кусочек того айсберга, который громоздко и тупо уже в течение четырех лет плавал в его сознании. "Ну, если, — сказал он жене, — на их стороне ока-

жется еще право и правда!.." — "Ну и что тогда будет?" — спросила она. Он пожал плечами и ничего не ответил, а через неделю пришлось выехать на место службы. Жена не захотела оставить Берлин, и они стали встречаться только на каникулах. Он с головой ушел в работу, проводил на службе почти весь день, образцово вел дела, раз в квартал посылал отчеты, всегда был ясен, прост и доказателен. Был справедлив, хотя и строг, но объективен. И вот мало-помалу начал рассеиваться тот туман, которым он окружил себя, а айсберг стал делаться все легче, пористее и подвижнее. Он состоял теперь уже не из страха, тоски и сомнений, а просто был куском все больше и больше промерзающей души. Анестизированным и поэтому и малоболезненным куском ее. Но вообще-то рейхссоветник (он получил этот чин) стал веселее, покладистее, добродушнее и общительнее. Теперь на вопрос о Ницше, кроме обычного восклицания "Ну, гений же!", он добавлял: "Но ведь и психопат". Но однажды произошел разговор с женой, который показал, насколько неуместны подобные восклицания. Поздно вечером, лежа совсем голой поверх простыни, она спросила его: "Ну а как, рубить головы вам приходится часто?" При этом она листала журнал, и в голосе ее не было ничего, кроме любопытства. Он бросил приемник, с которым возился, подошел и сел к ней на край кровати.

— А почему ты спрашиваешь? — осведомился он.

— Так! — ответила она безучастно. — Так часто?

— Не часто, — ответил он уже не ей, а себе, — но приходится. Я вообще-то против казни, — продолжал он, не переждав ее молчания, — но возражать против нее можно сколько угодно, а вот попробуй отмени ее.

— А как насчет права и правды? — спросила она, не отрываясь от журнала.

Он подумал.

— Нет, — сказал он, — и там тоже ничего нет.

Она все молчала и листала журнал.

— А за что вы послали в лагерь... (и тут она назвала фамилию одного известного чешского журналиста, осужденного год тому назад).

Об этом деле он знал хорошо, и, хотя не имел к нему никакого отношения, ему было неприятно, что оно получило мировую огласку. Журналист был лауреатом одной из мировых литературных премий, и его арест страшно взволновал весь мир. Все газеты заговорили о продажной нацистской юстиции и полной несовместимости ее с правом.

— Ну что ж, изолирован он правильно, — сказал рейхссоветник. — Для него это могло и так кончиться, — и он слегка ударил ладонью по шее.

— Разве он уж такой злодей? — спросила она.

Он только усмехнулся.

— Разве в этом дело? — усмехнулся он мягко. — Злодей — не злодей, хороший — плохой. Какое все это имеет значение сейчас? Важно, что он несовместим с нашим государством.

— Он лучше всего вашего государства, — сказала она и резко бросила журнал. — Вашего чертова государства! Ох, как я ненавижу вас всех! И тебя, и твоего министра, и того вот дегенерата! — Он ошалел от ее слов, а она махнула рукой и приказала: — Подай мне халат.

Он пошел в другую комнату, принес ей халат, молча положил его на край постели и ушел в кабинет писать. Но не писал, а сидел за столом, смотрел на чистый лист бумаги перед собой и думал. Что-то очень многое приходило ему в голову. Значит, не так он повел себя с ней, что-то не учел, что-то не договорил, о чем-то самом главном не заявил прямо и непреклонно. Ведь, оказывается, совершенно правы те, которые и на людях, и у себя дома, и наедине с самим собой — всегда одинаково ровны, спокойны, преданны и всем довольны. С ними вот не может быть таких неожиданностей. Надо сейчас же сделать что-то решительное, может, просто молча одеться и уехать из дома на всю ночь и на весь день. Может,

подойти к ней сейчас и приказать: "Чтоб это было последний раз, поняла?" Но в том-то и дело. что она ничего не поймет, а просто фыркнет ему в лицо и крикнет что-нибудь еще более страшное! Он посидел, подумал, поковырял что-то на бумаге пером, а потом пошел к ней. Она сидела перед зеркалом в халате и медленно, задумчиво курила. Когда он вошел, она поглядела на него и едва заметно вздохнула. И взгляд, и вздох были очень хорошие, человеческие, простые.

— Садись. — Пригласила она тихо и невесело. Он сел. — К прокурору пойдем? — спросила она.

— Пойдем, — ответил он ей. И сразу же вдруг обрел подходящий тон и слова. — Дорогая, — сказал он ей, — жизнь и без того очень тяжела и сложна, зачем же нам делать ее еще путанее? Что бы я ни думал про себя, я всегда помню, что состою на государственной службе и поэтому...

— Да, — ответила она безучастно. — Да, ты прав!

— И вообще, — сказал он, наклоняясь к ней ближе и целуя ее в ямку в затылке, — вообще привыкай к дисциплине, не распускай язык! Это же смерть! Сегодня ты это говоришь сама с собой, завтра — со мной, а послезавтра — обязательно заговоришь об этом с другими, и случится беда. И из-за чего все? Из-за этого чешского еврея. Да что он тебе?

Она вдруг остро поглядела на него и спросила:

— А испугать тебя по-настоящему? Я сама еврейка по отцовской линии.

— То есть как? — спросил он ошалело и чуть не рухнул на стул.

— А вот так, — ответила она, смотря на него с ласковой насмешкой. — Как это иногда бывает с женщинами — муж у нее один, а отец ребенка другой. Ну, что ж ты теперь будешь делать? Разведешься со мной? — У него пресеклось дыхание, он встал, сжимая кулаки.

— Слушай, — сказал он и услышал свой голос, словно со стороны. — Ты оставь эти штучки раз и навсегда. Ты не понимаешь, чем ты играешь!

— Ха, — усмехнулась она дерзко и насмешливо, чисто по-актерски. — Я играю? А что мне играть? С кем?

"Наврала", — понял, или подумал, или предположил он и тоскливо спросил:

— Ну с чего ты бесишься? Ну кто тебе этот журналист?

Она прикурила от зажигалки и затянулась. Все буйное, дерзкое и насмешливое слетело с ее лица, и оно опять стало спокойным, холодным и безучастным.

— Никто, — ответила она равнодушно. — Но он написал обо мне первую хорошую рецензию! Самую первую!

На рассвете, лежа около нее, он вдруг понял, что этот арестованный и приговоренный к длительному умиранию высокий, немолодой, медлительный чех (про еврея он просто вставил так, со зла, чех и еврей у него постоянно почему-то ассоциировались) был ее любовником. Это пришло к нему внезапно, не как мысль или догадка, а как полная и безнадежная уверенность. И он сразу понял, что это правда. Вторая мысль, которая пронзила его, была: "Ей тогда было 18 лет!" Он ничего не сказал ей ни тогда, ни после, а на следующий день все пошло так, как будто этого разговора и не было. Он ждал, что она напомнит о нем, и у него был уже заготовлен ответ — насмешливый и мягкий. Но она так ничего и не вспомнила, и не объяснила, была очень ласкова, покорна и как-то тихо, но в то же время чуть иронически грустна. На другой день кончился ее отпуск, ей надо было уезжать, но она неожиданно осталась еще на один день. И весь этот день они провели дома, она в халате, он в пижаме. Они рассказывали друг другу то печальные, то веселые и удивительные истории из своего детства и юности, и особенно много и хорошо рассказывала она. И отец в этих рассказах всегда был точно ее

отец, мать — точно матерью, а вчерашних слов будто бы и не существовало. Ему нравились и покорность ее, и неясное сознание вины, и молчаливое обещание, что подобных разговоров — страшных и смертельно опасных — больше не повторится. А потом она улетела, и он вернулся с чувством приятной домовитой грусти и сознанием, что у него все в порядке. И это чувство продолжалось и дома, и на службе, и наедине с прокурором, с которым он договаривался о передаче двух дел на доследование. А пришла ночь, и тоска овладела им и достигла такой остроты, что он вдруг вскочил и забегал по комнате. Хотелось уже не чесать мозг, а просто хорошенько продрать его ногтями. Ну, конечно, она жила с тем евреем (он мысленно все время повторял себе — "еврей"), она хотела остаться с ним, но он по-хамски отделался от нее. Они умеют это делать! И все равно она любит его! Так любит, что даже и скрыть не может. Ее просто бьет лихорадка от любви. Она бесится и выдает себя. А ему, ее мужу, осталось лежать, вспоминать и догадываться. Ему достались одни косточки от нее, а молодость, свежесть слопал тот — толстый, наглый еврей! Жид! Жидина! Мировой образец предателя! Давить их нужно, не сажать в лагеря! Головы им рубить нужно, чтоб они не трогали наших девушек! Пусть дерут своих жидовок! Да ведь у нее самой отец... Или это вранье? Или это не вранье? Стой! Ведь тот-то, тот-то вовсе не еврей, он чех, чех! Чех он, черт его возьми! Ах, дьявол, как можно запутаться в этих бабьих штучках!

Он встал с кровати, пошел к шкафу, вынул бутылку коньяку, налил себе рюмку, выпил, налил быстро другую, за ней третью, четвертую. Затем сел за стол и стал ждать. Но опьянение не приходило. Тогда он встал и прошелся по комнате. Надо сейчас же на что-то решиться. Он подошел к телефону и вызвал Берлин. Тот, кому он звонил, снял трубку сейчас же. Разговор был ночной, короткий, четкий. В деле, которое на днях будет слушаться, сказал рейхс-

советник, есть кое-какие неясности, утрачены какие-то нити, нет промежуточных звеньев, но часто упоминается фамилия одного изолированного. Так вот, не может ли он познакомиться с делом этого чешского журналиста (он назвал кого именно)? ”Пожалуйста, — ответил ему собеседник, — пускай рейхссоветник прилетает в Берлин, и ему будет дано все дело чеха”. — ”А лично с ним встретиться?” — ”Ну, на это надо получить особое разрешение”. — ”А как это сделать?.. Так, так, так! Понятно, понятно! Хорошо!..” Если он действительно окажет такую услугу рейхссоветнику, то рейхссоветник сегодня же закажет билет. ”Спасибо за обещание и помощь. Увидимся завтра!”

Он подошел к постели — твердый, спокойный — лег, открыл какую-то книгу и начал читать. Как-никак эта поездка что-то должна прояснить. Во всяком случае, она — чисто мужской шаг, нечто похожее на поединок. Так он и заснул.

К полудню следующего дня он был в Берлине, и все у него пошло с неожиданной быстротой и как бы само по себе.

В первый же день он увидел шефа. Это был массивный, бровастый человек с лиловыми бабьими щеками и глубоко запавшим носом. Он принял его в какой-то странной комнате, похожей на кабинет, где стоял стол, принесенный из гостиной, а по стенам висели оскаленные звериные морды — волк, кабан, медведь. Под каждым была прибита металлическая дощечка с надписью. В комнате было темновато (горели только две матовые лампы) и страшновато. Сам хозяин ее словно выплыл к нему из глубины комнаты. Разговор начался с пустяков: шеф спросил рейхссоветника об одном его однофамильце, с которым они встречались в 18-м году, и осведомился, не родственник ли тот рейхссоветника, закончился же вот чем:

— Что ж, хорошо, поговорите, — сказал шеф, — поедем вместе. Мне его тоже необходимо видеть, фю-

рер велел показать этого чеха иностранным журналистам. Вся европейская пресса кричит, что его уже нет в живых. Обычный газетный приемчик, конечно. Но основания отказывать в свидании нет. Пусть убедятся! — В это время они уже стояли около головы медведя и рейхссоветник читал дощечку: "Литва, осень 32-го года".

— Это еще не самый большой мой медведь, — похвастался шеф, — самого большого я убил в Польше в 18-м году, я тогда был военным летчиком. — И без всякого перехода спросил: — А вы что, читали что-нибудь из сочинений этого чеха?

Он ответил, что читал книгу его театральных рецензий.

— А что, разве?.. — удивился шеф и вдруг вспомнил. — Ах, да, театральные рецензии! Он ведь был мужем этой самой... ну, ну! — Он щелкнул пальцами. — Да ну же, она ему еще письма из Америки шлет! А, черт! — Он так и не вспомнил ее имя и махнул рукой. — Нет, это все чепуха! А вот у него есть одна книга, — и тут в голосе у шефа дрогнуло что-то похожее на настоящее восхищение. — Книга рассказов о животных, вы читали? Называется — "Необычайные охоты". Он там собрал из газет около тысячи самых странных и невероятных происшествий на охоте. Прекрасная книга. Хотите, дам?

Возвращаясь домой, рейхссоветник думал: "Шеф, вероятно, читает по-английски. А у меня под лестницей лежат три пуда старых английских и американских газет, в них есть специальный раздел — "Охота". Надо вытащить их из кладовой и засесть с ножницами. Это может здорово пригодиться, только бы не забыть".

Свидание с заключенным состоялось на следующий день в конторе. Первым к нему прошел шеф, а рейхссоветник сидел в приемной и слушал. Разговор, к его удивлению, был очень оживленный и даже веселый. Шеф попросту грохотал. И при этом они, наверное, еще оба курили, потому что, когда он вошел,

комната была синяя от дыма. Заключенный №48100 сидел за столом и глядел на него очень светлыми, как неглубокий чистый лед, глазами. Он еще не кончил улыбаться, и, очевидно, ему было действительно весело. Поражала его тонкость, ладность его сложения, продолговатость лица, желтые волосы цвета влажного песка. Даже полосатый арестантский костюм с номером и то сидел на нем ловко и не по-тюремному. Он держал сигарету и курил. Пальцы у него были длинные, белые, не огрубелые от работы, но, очевидно, его на работу и не гоняли. При входе рейхссоветника он положил сигарету и быстро встал. И только по этому движению, очень точному, ловкому, быстрому, можно было понять, что муштру он все-таки прошел изрядную. Но взгляд, который №48100 бросил в это мгновение на рейхссоветника, сразу же вывернул его наружу. Это был неприятный, хорошо натренированный, профессиональный взгляд журналиста. Он как бы сгладил разницу между государственным преступником №48100 и рейхссоветником, который пришел его допрашивать. Может быть, именно оттого следователи тайной полиции начинают допросы с пинков, ударов и крика. И верно, попробуй-ка поговори-ка с таким!

— Здравствуйте, господин... — и тут советник назвал его фамилию, — мы ведь раньше, кажется, с вами не встречались.

Заключенный 48100 посмотрел на посетителя и ответил дружелюбно и просто:

— Это как вам угодно, господин... — И тоже назвал рейхссоветника по фамилии.

И тут произошло необычайное: странное худощавое лицо заключенного вдруг сразу переменилось. Как это бывает в кино, через совершенно чужие черты начали проступать изнутри знакомые очертания какого-то другого лица, смутно знакомого. И это сходство нарастало с каждой секундой, пока советник не вскрикнул: "Вы?!" А заключенный 48100

вдруг улыбнулся совершенно партикулярно и ответил:

— Ах, вспомнили? В свое время я имел даже удовольствие говорить с вами минут десять во время антракта в Маленьком театре. — Он помолчал и добавил: — Если я только не ошибаюсь!

Черта с два он мог ошибиться! Память у таких железная! Собачья! И советник действительно вспомнил, что такой разговор был, и из-за него ему пришлось потом пережить наедине с собой множество неприятных минут. Он тогда выслушал и наговорил много лишнего. И когда через несколько месяцев совершенно неожиданно произошел переворот и к власти пришел фюрер, которого все считали отыгранной картой, ему стало очень не по себе. Какого черта ему нужно было трепаться неизвестно с кем! А ведь он, собственно говоря, даже и не трепался, а просто глупо и слепо поддакивал своему собеседнику — высокому, худощавому, отлично одетому господину с каким-то значком в петлице. То, что говорил этот господин, он, конечно, не помнит, но общий смысл высказываний был ясен. ”Пьесы нет, — сказал господин. — То, что сейчас они показывают, это разрозненные и очень черновые обрывки, выхваченные с самого дна академического издания. Автор — молодой шизофреник, самоубийца, один из злых гениев литературы времен ее великих титанов — Шиллера и Гете. И, наверное, он считал еще себя богоборцем и Прометеем, когда сочинял эту выспреннюю галиматью, переполненную пьяными выкриками и выпадами против человека и человечности. А на самом деле пьеса просто скучна и неумна. Все кричат, никто не говорит спокойно. Но режиссер знал своих покупателей: сумасшедшему ефрейтору и его корпусу бандитов все это должно нравиться. Ведь это совершенно солдатское зрелище! В речах главного шизофреника почти столько же шума и воды — холодной текучей воды, — сколько в речах их вожаков. Это просто удивительно, как интелли-

генция средней руки не понимает, на какого дьявола она работает".

И советник согласился со всем этим бредом: "Да, да, вы совершенно правы, — сказал он. — Это все лягушки, просящие царя. Они всегда кончают жизнь в чьем-то желудке. Уже лучше бы им жить со вчерашним чурбаном — он и стар, и глуп, и безвреден!"

Оба они рассмеялись и разошлись.

Тогда он остался очень доволен своим собеседником и главным образом собой.

А через полгода случился переворот — и он вспомнил этот разговор, стал панически припоминать, кто же из знакомых при нем присутствовал, и гадать: с кем он говорил? Так вот, значит, с кем!

С хорошо наигранной усмешкой он смотрел на заключенного 48100 и быстро соображал: как же вести себя дальше? Сказать, что заключенный ошибся? Пропустить намек мимо ушей? Воскликнуть: "Ну вот, видите, до чего вас довели подобные настроения?" Просто уйти, раз все уж так обернулось?

Пока он размышлял и, улыбаясь, смотрел на собеседника, тот вдруг сочувственно спросил:

— Так что же вы делали все это время?

А рейхссоветник снова встал в тупик, и у него как-то само собой вылетело:

— Да что? Работал, развелся, женился. Моя жена... вы ее, наверное, знаете...

Имя он назвал негромко и почему-то опять улыбнулся. И тут вдруг ответно улыбнулся и заключенный 48100, и очень хорошо, по-простому улыбнулся, так, что сразу исчезло ощущение тюремной камеры и узник снова превратился в светского человека — независимого, вежливого и благожелательного незнакомца.

— Ну, поздравляю! — сказал он. — От души поздравляю! Это вам повезло. Она замечательная актриса и чудная женщина. Я ведь знал ее совсем молоденькой. Она что же, продолжает играть?

Он ответил, что да, продолжает, и назвал несколько ее последних ролей. И заключенный 48100 опять улыбнулся, и теперь уже опять по-иному — гордо и радостно.

— Молодец! — похвалил он ее. — Значит, держится. В их вещах не играет! Молодец! (''Боже, мой, Боже мой, — пронеслось в голове рейхссоветника. — А если и там тоже догадываются об этом?'') Вот посмотреть бы ее хотя бы в ''Норе''. Да нет, видно, уж не удастся. — И он третий раз улыбнулся. Но как-то печально, слабо, почти по-детски, и все-таки такая сила была в этой улыбке, что рейхссоветник понял — ничто на свете не способно побороть его тихую выдержку. И именно потому, что этот человек обречен и никогда уже не выйдет отсюда, райхссоветнику стало жаль его, так жаль, что он на мгновение даже забыл, зачем он пришел.

— Но почему же? — спросил он. — Почему не удастся ее увидеть, ведь против вас нет обвинений. Вы же просто изолированы! Вот если бы вы, например, написали туда...

— Да о чем писать-то? — усмехнулся заключенный 48100. — О том, что я изменил свой взгляд на волчатник? Не буду я этого писать. Ну, скажем, хорошо — напишу, они меня выпустят, что же я буду делать? Писать? О чем же? О ролях вашей жены? Если бы я был еще коммунистом или принадлежал к какой-нибудь партии... А так лучше уж сидеть тут. Постойте, — сказал он вдруг, — я вам расскажу о моей последней статье — уже ненапечатанной, конечно. Вы знаете, у Микеланджело есть статуя спящей, она называется ''Ночь''. Так вот, один из поэтов того времени написал такие стихи: ''Дотронься до плеча спящей, и она проснется''. Но Микеланджело вовсе не хотел, чтобы его спящая проснулась, и он ответил на стихи так:

Не подниму я каменного взора.
О, дай мне спать, молчание храня.
Быть камнем — это счастье в век позора,
Молчи, молчи, чтоб не будить меня!

— Вот! — Он засмеялся снова, и теперь это был звонкий, злой, торжествующий смех. — И я тоже не хочу, чтоб меня будили. Эта камера меня кое в чем очень устраивает. ”Быть камнем — это счастье в век позора”.

Он встал и прошелся по камере.

Советник посмотрел на него почти с испугом. Он отлично понимал, что разговор, с которым он пришел, провалился. Все, что оставалось, — это просто встать и уйти. Но почему-то именно это и было невозможно. И он сидел, придумывая, что сказать еще, и улыбался. И тут заключенный 48100 вдруг махнул рукой и сказал:

— А потом, ведь это еще и бесполезно. Вы видели, кто у меня сейчас был? Ну, так вот, он мне прямо сказал: ”Мальчик мой, — конец! Никто вас никуда не выпустит. Сидите и пишите о зверях. И не слишком о себе. Самое страшное свойство победителей — это что у них отличная память!” Здорово?! — Он засмеялся. — Кто им готовит афоризмы? А в общем, это по-своему довольно добродушная скотина. Но вреда-то он причиняет, конечно, не меньше, чем вот тот параноик. — И он кивнул головой на потолок камеры.

”Гора Берхтесгаден”, — мгновенно понял советник, и у него даже замерло сердце.

— Вы очень много что-то болтаете, — сказал он испуганной скороговоркой. — А потом обижаетесь на правительство!

Тут и был бы самый подходящий момент уйти. И он даже приподнялся, но 48100 вдруг махнул на него рукой и добродушно сказал:

— Да ничего, я не обижаюсь. Вы спросите-ка вашу жену. — Рейхссоветник дико посмотрел на него, и тот объяснил: — Однажды я провожал ее после спектакля, и она мне сказала то же самое. Все дело в том, дорогой мой, что в истории время от времени повторяются такие моменты, когда добродетели приходится просить прощения у порока за то, что она су-

ществует. Это Шекспир сказал. А вы это должны чувствовать особенно.

— Почему? — заносчиво спросил советник. — Почему именно я? Вы, видимо, принимаете меня совсем не за то, что я есть.

48100 удивленно взглянул на него. ("Все это было сделано, сделано, сделано, — твердил рейхссоветник на улице. — Поэтому они и снюхались, что оба актеры, оба они проклятые актеры".)

— Как? — спросил заключенный. — Разве вы не представитель суда... — И он назвал очень точно, какого именно суда и какой земли.

— Да, — сказал удивленно рейхссоветник, — откуда вы...

— Да вот тот, кто был перед вами, тот и сказал мне об этом, — улыбнулся 48100. — Он сказал: "Сейчас к вам придет судья — не распускайте язычок. Рейхссоветник идейный и очень выдержанный человек, если что-то скажете, он сейчас же донесет". Так на чем же я кончил? На Шекспире, кажется. Так вот, самое страшное заключается в том, что эти пороки запутывают в свои сети тысячи хороших, слабых людей и тащат их за собой в могилу. Ну, им-то конец известный. Но вас, скажем, зачем они губят? Ведь каждое судейское кресло — это будущая плаха.

— Очень интересно, — сказал рейхссоветник и встал ("Пусть говорит. Я слушал его для того, чтоб узнать, можно ли допускать сюда иностранцев"). — Ну, ну, дальше.

— А дальше конец: вы — их! Так они считают. Раз вы рубите головы... Кстати, у вас их рубят гальотиной или топором? Везде ведь по-разному.

— Неважно! — крикнул рейхссоветник, срываясь с места.

— Да, конечно, неважно, — согласился 48100. И вдруг его словно передернуло. — Они ведь голову рубят по-особому, так, что топор падает на горло. Но, верно, неважно, неважно. Так вот, они думают, что вы запутаны, запуганы, лишены воли, что самое

главное в вашей жизни — это страх расплаты, сознание того, что обратного пути уже нет — вы их соучастник. Это, конечно, глупость и шантаж. Сколько вы вынесли смертных приговоров?

— Неважно! — снова крикнул рейхссоветник. Но это вышло бессильно и жалко.

— Нет, это важно, это очень, очень важно, — сурово сказал 48100, — десять, сто, тысячу?..

— Пятнадцать, — сознался рейхссоветник. И сейчас же понял, что вот именно этого совершенно незачем было говорить. — Но среди них было десять убийц и грабителей, — сказал он поспешно, защищаясь.

— Отбросим их, — согласился 48100. — Пять! — Он подумал. — Ну что ж, другой бы целую гору черепов наворотил. Но вот имейте в виду, что пяти голов уже достаточно, больше на себя не принимайте ни одной, поняли! — Он говорил тихо, возбужденно, но не говорил, а приказывал. Вытащил откуда-то коробку хороших, дорогих сигарет, закурил одну и протянул коробку рейхссоветнику. И рейхссоветник тоже взял сигарету, закурил. И тогда 48100 вдруг встал и забегал по камере. Бегал, махал своими длинными руками и говорил, говорил, возбуждаясь все больше. И, поддаваясь той неизвестной, высокой и подымающейся силе, которая струилась на него, рейхссоветник спросил 48100 не как судья преступника, а как сообщник сообщника:

— Но ведь если я уйду, на мое место посадят другого, а он...

— Неважно! — закричал теперь 48100. — Если упустите время, вы пропали — вы их! Помните, надо бежать! Бегите, пока не поздно. — Он вдруг остановился и посмотрел на него голубыми, почти безумными глазами и спросил: — А завтра вам пришлют группу из ста человек — саботажников или коммунистов, и что вы будете делать с ними?

— Да, — кивнул головой рейхссоветник. — Это дело уже лежит у меня на столе.

Глаза 48100 вспыхнули и сейчас же погасли. Он подошел к столу, опустился на него и сухо приказал:

— Так уходите, это единственный ваш шанс. Они уже изнемогли изнутри, значит, сунутся в большую войну. И тогда конец. — Он помолчал, вздохнул, пододвинул к себе ящик с сигаретами, снова нащупал одну, взял, закурил и закончил:

— И вам тоже... Около вас на ножке стола звонок, позвоните, пожалуйста.

А Рейхссоветник продолжал сидеть в той же позе, как сидел. Что-то непомерно сильное не позволяло ему окончить разговор, хотя наговорено и выслушано было достаточно. И самый подходящий момент уйти он уже упустил.

— А что у вас с сердцем? — спросил он тихо, отыскивая и нажимая кнопку.

— Ничего, — скучно ответил 48100, — но я сдохну именно от сердца, и это произойдет в самые первые дни войны. Значит, черед год-два. — Тут он снова улыбнулся уже утомленно и как-то очень, очень издалека.

"Вот пускай к нему иностранцев", — каким-то краем мозга подумал рейхссоветник, и сейчас же 48100 ответил ему:

— Поэтому они и хотят пустить ко мне иностранных корреспондентов — смотрите, мол, жив. Но тех-то не обманешь, они сразу все поймут.

Он вдруг взглянул на рейхссоветника и сказал, зевая:

— Да, если бы скорее, скорее уж! Если бы они чуть поумнее и посмелее...

И он снова зевнул.

"Все это сделано, сделано, сделано, — твердил рейхссоветник, идя по тюремному коридору. — Это ложь и игра, просто я встретился с очень умным, сильным и умелым врагом, все это ложь и игра".

Через день его вызвали к шефу. Только теперь шеф принял его не в зале, а в служебном кабинете.

Это был очень маленький кабинет, в нем стояли только стол, телефон да диван. И, наверное, это был еще какой-то очень особый кабинет, такой, где шеф работает по ночам. Когда рейхссоветник вошел, шеф сидел и писал. Увидев вошедшего, он кивком головы указал ему на диван.

— Я сейчас, — сказал он. Потом он вызвал секретаря и подвинул к нему бумажку ("Ну, вот, примерно, так") и обернулся к рейхссоветнику.

— Так как вам понравился этот бесноватый? — спросил он весело.

Легкость его тона обрадовала и успокоила рейхссоветника, и он ответил:

— Он действительно бесноватый, я так от него ничего и не узнал.

— Да? Это бестия такая, это бестия! — убежденно проговорил шеф, смеясь. — И я теперь понимаю, почему его любили женщины. Вот вы мне тогда говорили насчет его театральных рецензий. Да ведь за них он имел любую актрису.

— Вот как? — пробормотал рейхссоветник, улыбаясь и бледнея.

Шеф посмотрел на него, тоже улыбнулся и вдруг спросил:

— Вы рассказывали кому-нибудь о свидании с ним?

— Нет, — ответил рейхссоветник.

— Ну и отлично, — тоже кивнул головой шеф, — никому ничего! Мне только что звонили из тюрьмы. У него сильный сердечный припадок, я велел его отправить в больницу. Но исход, вообще-то говоря, сомнительный, — он посмотрел на рейхссоветника и спросил: — А вы не вынесли такого впечатления, а?

"Конец, — понял он. — Это уж все". И сказал:

— Да, безусловно, вынес.

А сам подумал: "Что же будет с ней, когда она узнает?"

* * *

Он ничего не сказал ей прежде всего потому, что ее не было с ним. Но твердо и бесповоротно решил, и не решил даже, почувствовал, что, во-первых, он, этот чех, с его женой действительно жил, а во-вторых, что это его совершенно перестало волновать.

Большое дело о преступной подрывной организации уже лежало на его служебном столе, оформленное, подшитое и переплетенное. И хотя проходили по нему не сто человек, а всего десятка полтора, он чувствовал: ну вот и подошло к нему то, от чего предостерегал его 48100. Кресло судьи все больше превращалось в эшафот.

К вечеру он унес дело к себе и посмотрел его. Исход был ясен, по крайней мере, для шести человек. Переписка с заграницей, листовки, подрывные речи против фюрера, а в общем, как ни хитри, а голова долой. В крайнем случае можно было свести число смертников до трех, но эти три уже погибли наверняка. Да и участь других двоих тоже была очень сомнительна — не то удалось бы их спасти, не то нет. Итак, после этого процесса его счет бы сразу увеличился до восьми или десяти смертей. Притом такие дела должны были участиться, ибо к началу года приурочивалось издание каких-то чрезвычайных законов о подрывной деятельности и охране государства. Об этом ему сказал прокурор. Он особенно подчеркнул это слово — "чрезвычайных" и пожал плечами: "Что ж поделаешь, ведь и правда живем в предвоенное время", — сказал он. И сейчас, листая дело, рейхссоветник все время вспоминал его — высокого, полнолицего, румяного человека (румянец лежал на его лице багрово-сизыми пятнами) и слышал его голос — всегда уверенный, бодрый, веселый. Уж очень хотелось прокурору хорошей, быстрой, веселой войны. "Что бы подумала она? — пронеслось у него в голове. — Если бы слышала этот разговор!"

И не успел он подумать о ней, как зазвонил телефон. Он снял трубку и сейчас же услышал ее голос: "Здравствуй, милый, — сказала она очень ласково, — у меня хорошая новость, меня отпускают на три дня. Я говорю с аэродрома, через час увидимся, встречай!"

Из самолета она вышла радостная, возбужденная, с букетом роз и сразу же бросилась ему на шею. "Ты знаешь, я буду на приеме, нас приглашено всего сорок человек", — выпалила она после первой минуты разговора. И тон у нее был такой радостный и хвастливый, что он подумал: "Вот так "я ненавижу"!"

Когда они поехали в закрытой машине, она попросила открыть окно и, положив ему руку на плечо, смотрела на мягкие дымчатые сумерки, на тихую, умиротворенную осеннюю природу. Ехали по парку. Становилось прохладно и сильно пахло хвоей и горьким осенним листом.

— Как хорошо, — сказала она и предложила: — Пройдем немного.

Они вышли и пошли по высокой, уже прохладной траве. И тут он рассказал ей о своей поездке и о номере 48100. Она слушала его молча, опустив голову, он не видел ее лица, но сразу почувствовал, как на нее пахнуло из его рассказа спертой тишиной одиночки. Она спросила, каков он. Он ответил: "Живой, разговорчивый, веселый". — "Он работает?" — спросила она, помолчав. "Нет, не работает, — ответил он. — Шеф обещал прислать все нужное для продолжения его зоологических работ". Она сначала недоуменно поглядела на него, а потом улыбнулась:

— Да, ты говоришь о его ранней книге! Он всегда любил зверей, у него дома жила ручная крыса, днем она лежала у него на постели.

При слове "постель" у него опять сжалось сердце. "Была, была, была любовницей", — понял он.

— Что ж они теперь с ним делают? — спросила она.

Он пожал плечами:

— Да ничего особенного. Если сумеет просидеть смирно, придет время, его выпустят.

— А когда оно придет, его время? — спросила она.

Он опять пожал плечами и начал: "Если не будет войны, то..." И вдруг совершенно непроизвольно перебил себя: "Но с сердцем у него плохо".

Она поглядела на него и ответила: "Сердце у него было, как у боксера, значит, эти подлецы..." И она сморщилась, как от зубной боли. "Слушай, сядем в машину".

И дальше они уже ехали молча. Дома он ей сказал, что намерен уйти в отставку. Она сначала изумленно взглянула на него, а потом равнодушно сказала: "Ну что ж, попробуй. — И вдруг очень нехорошо усмехнулась: — А кто ж тебя отпустит, ты же такой хороший судья!" Она ушла в ванную, он сел к письменному столу и стал что-то писать. В полночь она позвала его, уже из кровати: "Подойди, пожалуйста, мне что-то не спится". Он подошел, и она, высокая, стройная, парная от сна, вся в насквозь просвечивающихся дымках, вдруг вскинула длинные лебяжьи руки и обняла его за грудь. Он растерялся от этого объятия, порывистого и виноватого, и только и нашел, что положить ей руку на голову. А она вдруг жалобно произнесла под его рукой:

— Уходи, пожалуйста, от них, уходи скорее.

Не отпуская руки, он сел с нею рядом, и она, касаясь горячими губами его груди, продолжала:

— Вчера в Берлине казнили трех женщин, все жены видных людей, одну я знала, она приходила ко мне за кулисы, и мужа ее знала тоже — он советник министерства общественных работ. Говорят, английская шпионка. Какая она шпионка, просто она назвала Гитлера при друзьях мужа выродком и сказала, что Германия пропадет, если не найдется какой-нибудь настоящий человек с метким глазом.

В нем возмутилась вся осторожность, и он воскликнул:

— Так сказала при чужих людях?

Она подняла на него глаза.

— А ты думаешь, легко все время молчать? — спросила она. — Это тебе легко, потому что ты...

Он довольно долго думал, а потом снял руку с ее головы и сказал:

— Говори, пожалуйста, только о себе.

И вдруг прибавил с внезапно вспыхнувшей злобой:

— А что ты, собственно говоря, знаешь про меня?

Она не ответила, а только звонко поцеловала его в грудь.

Наутро они решили твердо, что он сегодня же подаст ходатайство об освобождении и представит медицинское свидетельство.

Два дня они провели в полном согласии, и он все листал и листал дело и понимал, что без трех смертей здесь не обойдешься никак. В последний день ее пребывания к нему пришел прокурор с женой — красивой, черноволосой, курчавой дамочкой, похожей на чертенка, и они вчетвером устроили нечто вроде крошечного банкета. Сидели вокруг круглого стола в библиотеке, вспоминали о разном, шутили и рассказывали. Прокурор немного опьянел и, отвалившись на мягкую спинку кресла, ничего не говорил, а смотрел на всех присутствующих добродушными круглыми глазами, и глаза у него были, как у очень умной собаки. Тут он решил пощупать, поддержит ли его ходатайство он, повернулся к нему, взял его за рукав и спросил, хорошо ли ему у него.

— Очень! — спокойно воскликнул прокурор. — Тихо, спокойно, уютно. Побольше бы таких вечеров, так ведь устаешь от всего этого. Одни машинки чего стоят! — Он улыбнулся. — Душе нужны тихие, теплые ванны, вот такие, — и он немного помахал рукой перед собой.

— Да, да, — сказал рейхссоветник задумчиво, — вы совершенно правы, тихие, теплые. А ведь я на пятнадцать лет старше вас.

— Мы все вам удивляемся, — почтительно и прочувствованно произнес прокурор. — Поверьте.

— Да, да, — продолжал рейхссоветник, пропустив эти слова мимо ушей. — Так вот, я решил подать в отставку.

Прокурор оторвал голову от спинки кресла и удивленно спросил:

— То есть как в отставку? Когда? — С его лица сразу сошло выражение задумчивости, и голос уже был почти гневным.

— Да вот сегодня подал ходатайство, — ответил рейхссоветник.

— Почему? — спросил прокурор.

— Устал, — ответил рейхссоветник и развел руками.

— Устали? — все еще не понял прокурор. — Но ведь... Нет, это какая-то чепуха! — воскликнул он. — Как же уходить в такое время?

— В какое? — быстро спросил рейхссоветник.

— В военное! Ведь не сегодня, так завтра все мы натянем мундиры.

— Сомневаюсь, — улыбнулся рейхссоветник.

— А вы не сомневайтесь! — резко сказал прокурор. — Мы сейчас не просто судим преступников, а уничтожаем лазутчиков, проникших в наш тыл. Ведь и те пятнадцать человек...

— Что те пятнадцать человек? — резко спросил рейхссоветник недовольно.

Маленькая брюнетка, похожая на чертенка, толкнула локтем его жену, они сразу же обе рассмеялись и закричали: — "Ну, хватит, хватит! О делах без нас".

Но прокурор зажегся уже по-настоящему:

— Те пятнадцать лазутчиков, которых мы вздернем через три дня, — сказал он громко и тяжело.

— Я пока ничего не знаю, — сказал рейхссоветник. — И никого не собираюсь вздергивать. Приговора я не предрешаю.

— Он предрешен историей, — закричал пьяно прокурор. — Всей мировой обстановкой! Той опасностью, которая грозит нашему народу!

— Слова! — тяжело махнул рукой рейхссоветник. И вдруг почувствовал, что его голова зазвенела от бешенства, как от хорошего вина, и весь он вдруг стал легким и приподнятым. — История, мировая обстановка, опасность! Это все, дорогой, не юридические понятия, когда дело идет о жизни человека.

— О жизни врага, — по-настоящему тяжело сказал прокурор. — Мы должны разрубить на теле страны кольца гигантского удава, если голова его еще нам доступна.

— Господи, — сказал рейхссоветник и махнул рукой, — да ведь это же плакат! Красный удав! Это же самый обыкновенный плакат! И наш, и их! Только у нас удав красный, а у них коричневый! Что вы мне суете эти листки под нос? Я сужу по закону, определенному заранее, безлично. Вот и все!

— А политическая задача суда? — прищурился прокурор.

— Вот так я и понимаю политическую задачу суда, — отпарировал он. — И вообще, думать о мировой конъюнктуре — это дело законодателя, а не мое! Я — исполнитель!

— Вы не уйдете в отставку, — ответил прокурор решительно. — Несмотря на все, что вы сегодня наговорили, никуда вы не уйдете, так и знайте.

— Ну, хватит, хватит! — закричали дамы.

И тогда прокурор как-то дерзко и нагло взял бутылку с коньяком, молча налил всем по стаканам и сказал:

— Ну! За...

Рейхссоветник хотел грубо обрезать его, сказать, что здесь не партийный банкет, но кто-то из женщин толкнул его ногой, и он молча выпил. После этого гости вскоре ушли.

Она сразу же подошла к кровати и легла, а он ходил по комнате и взволнованно говорил:

— Вот кретин, вот шут, красный удав, а?!

Она ответила ему уже сонно, лениво:

— Все эти речи делают тебе честь, господин рейхссоветник, но после них тебе уж не удастся спасти от петли ни одного красного.

Он даже фыркнул от неожиданности и негодования.

— А кто тебе сказал, что я их собираюсь спасать от петли? Я хочу их судить, и все.

— А мы же сегодня говорили, что ты именно не хочешь их судить, — напомнила она сонно и повернулась на бок.

...Казнили не трех и не шестерых, а всех пятнадцать, и он ходил смотреть. Оказывается, экзекуция происходила не в помещении тюрьмы, а в особом корпусе во дворе. Там находились четыре камеры и большой зал. Когда он вошел в него вместе с прокурором и взглянул на голые стены, ему сразу стало пусто, одиноко и мерзко. Все помещение было облицовано белыми фарфоровыми плитками и тускло блестело. Пол цементный, окон нет, и вообще весь этот зал напоминал что-то очень обыкновенное, но страшноватое, нечто вроде газоубежища, морга или общественного писсуара, в котором на ночь забыли погасить электричество. В углу стоял небольшой квадратный голый столик. Часть комнаты вдоль была завешена серой холщовой занавеской. Она не доставала до потолка и ходила по проволоке. Над ней горела особо яркая лампочка. Когда они вошли — он, прокурор, начальник тюрьмы, — с лавки, стоящей около стены, поднялись несколько человек в черной тюремной форме. "Сидите, сидите", — сказал прокурор скороговоркой и повернулся к начальнику тюрьмы. Тот слегка кивнул головой, и сейчас же кто-то вышел в коридор, и там приглушенно хлопнула дверь, напевно и хрупко звякнул замок, послышались шаги нескольких ног, и в комнату вошел первый из осужденных. Рейхссоветник смотрел на него во все глаза. Это был совсем не тот человек. На суде он был подтянутый, нестерпимо высокопар-

ный и неспокойный. Он поминутно вскакивал со скамьи, и двое дюжих полицейских еле-еле снова притискивали его к месту. И последнего слова его тоже пришлось лишить, хотя, к великому удовольствию рейхссоветника, он все-таки успел упомянуть коричневого удава, который душил мир. Теперь заключенный был тих и умиротворен. Он шел обычным шагом, и не видно было, чтоб он сознавал, что они последние. На нем были черные бумажные штаны, куртка, туфли. Все новое. Волосы сбриты, руки сзади в наручниках. Полицейские довели осужденного до середины помещения и остановили перед прокурором. Прокурор стоял и смотрел на него с той молчаливой благожелательностью и даже сочувствием, которое обретают судьи и прокуроры, когда передают осужденного в руки палача.

— Ганс Кронфельдер, — сказал прокурор мягко. — Приговор суда сейчас будет приведен в исполнение. Не хотите ли вы сделать какие-нибудь дополнительные замечания или передать личные распоряжения? Я обязан их принять и проследить за выполнением.

Наступила пауза, и вдруг Ганс Кронфельдер сказал:

— Вы банда политических убийц и бандитов. Моя смерть...

Так он говорил еще с минуту, и прокурор слушал его молча и серьезно, с тем же благожелательным вниманием.

— Так, значит, никаких личных заявлений вы не сделали? — спросил он так же мягко.

— Я? Сделаю.

Заключенный повернулся, посмотрел на рейхссоветника и вдруг ловко и легко харкнул ему в физиономию. Рейхссоветник вскрикнул и схватился за щеку. Тюремщики рванули сужденного, и он упал.

— Давайте, — быстро приказал прокурор и махнул рукой. И сейчас же серый занавес, как на эстра-

де, бесшумно раздвинулся, и показалась очень небольшая гильотина — два столбика, внизу промеж них доска с круглым отверстием и платформа в виде желоба. Около нее неподвижно стоял человек во френче и крагах.

На всю жизнь советнику запомнилось его лицо с широким покатым лбом и плоской шишкой посредине. Круглый нос, серые глаза под череп, бугор на горле. Он стоял один. Все было настолько механизировано, что требовался только один специалист. Надзиратели сразу подхватили осужденного за руки, оторвали от земли, понесли на платформу перед станком. Один из надзирателей — третий — вдруг очутился сбоку, поднял верхнюю часть деревянного ошейника, и палач, подойдя, сейчас же ткнул туда голову осужденного. Что-то щелкнуло. Это закрылся ошейник. Осужденный лежал в желобе, голова его была по ту сторону. Руки, скованные на спине, слегка ворочались и поднимались. Палач взглянул на прокурора. Тот кивнул головой. Палач поднял руку (запомнились сильные длинные пальцы) и с силой повернул какую-то железную выгнутую ручку, и сейчас же что-то упало, послышался звук одновременно и твердый, и мягкий — так заступ, с размаху врезаясь в песок, стукается о камень, — и что-то деревянное рухнуло по ту сторону. Осужденный рванулся, согнул скованные кулаки, ноги его быстро-быстро задрожали, и сейчас же из-под ножа веселыми ручейками побежала, затренькала кровь. Два надзирателя схватили обрубок за руки и стащили с гильотины. И только они бросили его на пол за два шага, как палач подошел к стене и что-то повернул. Хлынула вода. Это было так неожиданно, что рейхссоветник вздрогнул. Вода текла, как в душе, весело, звонко, она еще была теплая, наверно, потому что сразу запахло банной сыростью и теплицей. И опять что-то загудело и запело около гильотины. Это вода сбегала в сток. Потом тело подняли за руки и вынесли через маленькую дверку в другом конце помещения.

— Можно следующего! — сказал прокурор начальнику тюрьмы. Но палач, что-то делающий около гильотины, серьезно и важно попросил: "Одну минуточку!" К нему сразу же подошли двое тюремщиков...

Когда рейхссоветник через час сидел в машине рядом с прокурором, в его ноздрях стоял все тот же запах бани и тепличной сырости, смешанной почему-то с терпким ароматом увядающих кленовых листьев. Он был так бледен и подавлен, что прокурор посмотрел на него и засмеялся. "Кровь не пахнет, — сказал он, — но ее запах ощущают новички. Это пройдет". Рейхссоветник ничего не ответил, только отвернулся к окну.

Ехали по окраине, и, как нарочно, мимо автомобильного окна пролетали простые приземистые здания, сложенные из почерневших кирпичей, низко спускающиеся гребни крыш, черные чугунные ворота столетней давности, потом мелькнул постоялый двор с золотым окороком на крючке и двумя жестяными медведями. Мирно, тихо, спокойно, кошки, воробьи, голуби, прохожие. Кто здесь думает об отрубленных головах, о них — о прокуроре и судье, возвращающихся с казни? Черт знает что такое! Дома рейхссоветник долго сидел в кресле, не зная, куда себя девать и что с собой делать. Подумал было о театре. Но только представил себе декольте, накрашенные губы, голые вскинутые ноги, флейту и барабан, наглый яркий свет, как его вдруг охватила такая тоска, такое отвращение ко всему, что едва не стошнило. "Главное — не верю, не верю я тебе", — сказал он кому-то вслух и, опомнившись, замахал руками, закачал головой, сморщился и побежал по комнате. А уже близко к ночи ему позвонил прокурор и спросил, как он себя чувствует. Голос был теплый, заботливый, дружеский. Рейхссоветник бодро ответил, что нормально. Что он делает, спросил прокурор. Ответил, что листает Анатоля Франса. В трубке послышался смешок. А потом прокурор спросил: "Наверное, "Боги жаждут"? Да, это подходит".

Рейхссоветник, который просто ляпнул первое, что пришло ему в голову, осекся и не нашелся что ответить. А прокурор вдруг сурово сказал:

— Не кисните, это всегда трудно в первый раз.

— Да, — ответил он. — Да, в первый раз.

И тут по ту сторону трубки что-то произошло, что-то как будто упало на пол и разбилось. И прокурор заговорил совсем иным тоном:

— Послушайте, я учился в Париже и развозил по утрам тележку с печенкой для кошек. Старые воблы мне бросали из окон монеты в бумажке, но мало, я всегда голодал. И знаете, что мне сказал один французский полковник с нафиксатуаренными усами? "Вам плохо, молодой человек, и я вам сочувствую, вот вам 15 франков, поешьте. Но только не дай Бог, чтобы вы, немцы, опять заимели крепкие штаны на заднице да кусок свиной колбасы в руке. Вас только и можно терпеть вот такими". Так вот, я запомнил его слова. Никогда больше мы не отдадим страну ни коммунистам, ни веймарским пингвинам с жирным задиком. Никогда у нас немцы с болячками около рта не будут больше рыскать по помойкам!

"Нарезался!" — понял рейхссоветник и сказал:

— Но то же говорят и коммунисты!

— А вот коммунистам рубить головы, чтоб они так не говорили! — закричал прокурор. — Да, головы рубить, а кровь смывать, как в сортирах. Вы видели сегодня, как это хорошо делается.

И трубку со звоном упала на рычаг. Он был не только пьян, но еще и, наверное, здорово пьян. И рейхссоветник вдруг вспомнил, что это уже не впервые. По какой-то нужде он звонил ему поздно вечером, и сначала подошел сам прокурор и с минуту бормотал что-то непонятное, а потом вдруг трубку взяла его жена и сказала, что муж болен, у него температура, и он в кровати. Днем рубит головы, ночью напивается до чертиков. Хорошо!

И рейхссоветник отошел от телефона и в самом деле открыл Франса, ту главу, где на казнь ведут

судью, до этого рубившего головы другим, — тоже хорошо и кстати.

А через день пришла газета, и он узнал, что в Берлине что-то произошло. Были арестованы и расстреляны десятки виднейших членов партии. О неизвестных сообщалось очень глухо. Причины были совершенно неясны, хотя о них и писали довольно подробно. Наиболее конкретной из всего была фраза фюрера: "Когда государственные чиновники удаляются с иностранными дипломатами в отдельную комнату и ведут многочасовые беседы, я приказываю их расстрелять, даже если разговор у них зашел об охоте".

Рейхссоветник хотел поговорить об этом с прокурором, но того неожиданно и срочно вызвали в Берлин. Даже не вызвали, а увезли. Просто к вечеру к нему явились двое военных, подали какое-то предписание, выпили вместе с ним и его женой по чашке кофе, посадили в машину и увезли. А через два дня выяснилось, что брат прокурора расстрелян в числе первых жертв, и прокурор больше не вернулся. "Вот и тебя задушил удав", — подумал рейхссоветник. А утром его самого вызвали в Берлин к шефу. Он сразу же вылетел на самолете, и к вечеру этого дня шеф его принял. Состоялся короткий, но дружеский разговор. Шеф вышел к нему в шершавом купальном халате и шлепанцах без пяток. Раскрасневшийся, толстый, свежий, добродушный человек с волосатой грудью и светлыми, влажными еще волосами.

— Ну как, дезертируем, господин советник? — спросил он весело и, сделав ему знак сесть, сам опустился с ним на диван. — Молодчик-то, а? — Он подмигнул. — Я про вашего прокурора говорю, оказалось, что он тоже по уши завяз в этом свинстве. Братец-то посвятил его во все дела, а он молчал. Ладно, пес с ним. — Шеф махнул рукой. — Так вы хотите переходить в другой округ?

И тут рейхссоветник вдруг набрался духу и сказал:

— Я знаю, что такие вещи сейчас не говорят и об этом сейчас не просят. Но освободите меня, пожалуйста, от должности судьи, я больше не могу. Я болен. Эти дела требуют от меня такого напряжения, что у меня уже полгода непрерывная бессонница и головные боли. Я боюсь, что в дальнейшем окажусь совершенно неспособным. Я очень, очень прошу вас. — И он даже руки сложил на груди.

— К чему, — спросил шеф лукаво, — к чему вы окажетесь неспособны?

Рейхссоветник молчал.

— Нет, надо, надо быть способным, — засмеялся шеф, — у вас такая молодая жена! Вы что, ее так и не видели с каникул?

Рейхссоветник что-то сказал.

Шеф задумчиво поглядел на него и вдруг спросил:

— А за границу вы не поехали бы? Вчера я получил письмо из Новосибирска, там консулом сидит мой университетский товарищ, адвокат по специальности. — Он с минуту подумал, а потом добавил:

— Но только жена ваша первое время останется здесь. На ней же весь репертуар.

Рейхссоветник молчал, и шеф подытожил:

— Значит, вы согласны. Отлично! Я ничего не обещаю, это не полностью от меня зависит, но... Позвоните мне завтра в это же время, у меня будет встреча с нашим министром. Таких работников, как вы, у него немного. — Он встал. — Ну вот и отлично, звоните завтра, я надеюсь.

Рейхссоветник вылетел в Новосибирск ровно через неделю. Жена с ним не полетела ни через полгода, ни через год, ни позже. Он видел ее только во время отпуска, но и этого времени было слишком много для обоих. Они не знали, куда его девать и что делать друг с другом. Зато у него была секретарша, которая ведала его папками и вырезками, клеила их, переплетала, делала оглавления. Он был ею доволен! Очень доволен он был ею!

* * *

Фюрер был в ударе, он ходил по комнате и говорил:

— Возможно, очень возможно, что сейчас, на первых порах, я получу полностью все, что требую. Воевать эти господа не хотят и не могут. Но я не позволю, чтоб наш народ, и в особенности молодежь, рассчитывали только лишь на меня, на мое умение разговаривать с этими господами. Немецкий народ должен быть готов к тяжелейшим жертвам и крови. Он должен знать, что наступит и такой час, когда я без колебаний кину в огонь войны сотни тысяч лучших юношей и наведу в Европе порядок. Эти господа говорят, что не могут сейчас отдать мне африканские колонии в Африке, что надо еще ждать! Хорошо! Я согласен получить их в Центральной Европе и Азии, Камерун и Того от меня все равно не уйдут, а пока не до них. В этой войне они нам, пожалуй, и не потребуются.

Ему показалось, что кто-то усмехнулся за его спиной, и он повторил уже зло, не оборачиваясь:

— Да, да! Для наших штабов не нужна ни мебель из черного дерева, ни ручки слоновой кости, ни портфели из крокодиловой кожи. И дамы наши тоже пока обойдутся без туфелек из удавьих шкурок!

"Не любит дам, — подумал шеф, — никак не может им простить прошлого пренебрежения". Но сидящий рядом с ним худой, верткий, маленький, длинноліцый человек сказал спокойно и веско:

— Это, конечно, мы втолковываем народу всеми путями, которые возможны. Но я, откровенно говоря, не хотел бы, чтоб об этом в таких или в сходных выражениях начали трещать наши газеты. К крику об африканских колониях так привыкли, что их уже не замечают, а вот уж разговор о Европе нужно вести поосторожнее.

— И в особенности надо остерегаться, чтоб не всполошить Россию, — сказал сидящий рядом высо-

кий старик в глухой военной форме. — Она-то, безусловно, способна воевать и будет воевать. Стоит нам только завязнуть на Западе, как она ударит нам в спину. А северная война — это такое предприятие, о котором мне и страшно подумать.

— Генерал учитывает только военные факторы, — усмехнулся шеф, увидя, как фюрер быстро и резко отбросил прядь волос со лба, хотел что-то сказать, но воздержался. — Надо посмотреть, что делается в России. Армии обезглавлены, лучшие полководцы перебиты и в колхозах голод, недовольство растет с каждым днем. Страна все больше и больше покрывается концлагерями. Мы внимательно следим за сложившейся обстановкой и делаем все, что можем, чтоб не ослабить этого напряжения. Если так пойдет и дальше, через год-два страна не выдержит внезапного массированного удара.

— Хм, это Россия-то не выдержит? — усмехнулся старый военный. — Голубчик мой, вот эти самые штучки повторяют все безответственные люди в нашей стране не первое уже столетие. А ответственные люди верят им, к сожалению! И получается чепуха. Вы, кажется, сравниваете ситуацию 17-го года с ситуацией 37-го? Это огромное заблуждение. Останутся лагеря или нет, но Россия сражаться будет. Это надо запомнить очень твердо. А то напряжение, которое вы создаете... Ну что ж, честь и хвала вам за это. Серьезное ослабление армии налицо. Но ведь все это может создать только второстепенные благоприятные моменты, а не победу. До победы еще безумно далеко. И помните, пожалуйста, что Фридрих Великий говорил: "Русскому солдату мало отрубить голову, его надо еще повалить на землю". А вот этого мы и не сможем. Сейчас по крайней мере. Вот когда Европа будет в наших руках...

Фюрер сидел на самом краю стола и, наклонив голову, быстро чертил на клочке бумаги какие-то фигурки и — крыши домов, квадраты, башенки, круги. За ним давно уж не водилось такого. Значит,

он действительно волновался. Но сегодня был званый вечер, фюрер принимал гостей, и разговор о политике возник как-то сам собой, помимо его воли. Все это заставляло его быть сдержанным. Воевать с Советским Союзом он решил давно, бесповоротно, считал эту войну необходимой, но говорить о ней не говорил ни с кем. Он знал, что это будет очень трудная, кровавая война, что тянуть нельзя. Россия становится все сильнее и сильнее. Но боялся он этой войны ровно столько же, сколько и желал ее. Не утешали его ни сводки, ни отчеты о внутреннем положении страны, ни донесения военных атташе, которые он время от времени просматривал. То есть тогда, когда он читал эти бумаги, ему казалось, что победа будет за ним, Россия рухнет после нескольких ударов германского меча. Он веселел, с удовольствием позировал своему фотографу и особенно его прекрасной ассистентке. Голова гордо поднята, глаза устремлены вдаль, мощные руки, способные в ладонях удержать земной шар, мирно пока лежат на коленях. Но это продолжалось всего несколько часов. А потом снова приходили неуверенность, страх и беспокойство. И теперь, когда разговор совершенно неожиданно зашел о том же, он повернулся к своему соседу — маленькому толстому человеку, который ведал всеми продовольственными ресурсами империи. И тот понял, что хочет от него фюрер, и, повернувшись к старому генералу, спросил:

— Вот вы за войну на Западе, но не на Востоке. Так как по-вашему, долго Германия может сама продовольствовать свою западную армию? — И так как генерал молчал, строго объяснил: — Два года, а если ввести строгую карточную систему, то, пожалуй, можно дотянуть и до трех. Но это и все. Без восточного хлеба нам не обойтись. Европа ничего не даст. Первые же недели войны превратят ее в развалины. Нет, похода на Россию нам не избежать.

Наступило молчание. Было видно по всему, что генералу что-то очень хочется сказать, но он пересиливает себя и молчит.

— Россия нас пугает примером Наполеона, — вдруг вмешался в разговор редактор официозной газеты, человек с бритым актерским лицом. — Мол, никто не справится с территорией, массовостью и климатом. Воевать с Россией можно только летом, а когда придет зима, все чужие армии замерзнут. Я сам из России и знаю, там верят в эти рассуждения. Существует даже такая книга: в Россию заслали — очевидно, с диверсионными целями — яйца тропических гадов. И вот когда их положили в инкубатор, то вместо породистых кур стали вылупляться удавы, крокодилы, змеи, еще всякие страшилища. В короткое время они захватили всю страну. Жизнь замерла, люди попрятались. А потом ударил мороз, и гады передохли в течение суток. Иноземным гадам не жить на российской земле. Вот такова мораль русских. И, надо сказать, это очень типичное для русского человека рассуждение. Утешительная концепция, конечно, но... — И он развел руками.

И тут вдруг раздался смех. Все обернулись. Смеялся большой грузный человек с бабьими трясущимися щеками, тяжелыми надбровными дугами и коротким толстым носом.

— Стойте, я вас сейчас потешу, — сказал он, полез в карман, вынул толстый старомодный бумажник из крокодиловой кожи. — Я вам сейчас докажу, что удавы отлично переносят русскую зиму, да еще какую! Горную! — Он вытащил газетную вырезку и протянул ее редактору. — Вот вы специалист по России, — сказал он, — почитайте и оцените.

— Позвольте, позвольте, к чему ж это? — сказал редактор недовольно, быстро пробежав заметку. — Ну, убежал где-то из Алма-Аты удав, его ловили, не поймали, он провел зиму в горах, летом появился опять, напугал там каких-то колхозников. К чему все это?

— А ну, прочитайте, прочитайте, — вдруг крикнул старый генерал. — Удав перезимовал в горах! Это, верно, интересно. Как же он по снегу-то ползал? Неужели это может быть? Это же мировая сенсация!

— Сенсация? В России все может быть, кроме сенсации, — сказал редактор и начал читать заметку.

* * *

"Дорогой партайгеноссе, я получил вашу в высшей степени интересную вырезку из русской газеты об удаве, сбежавшем из зоо и перезимовавшем в сибирских горах. Счастлив известить вас, что перевод этой статьи, приложенный вами к тексту, был прочитан мной в одной большой компании, где присутствовал сам фюрер. Все были очень заинтересованы, и особенно интересными оказались некоторые аналогии и сравнения, высказанные, развернутые перед присутствующими одним из самых крупных знатоков России и русского народа.

Вместе с тем было указано и на то, что вся заметка все-таки носит весьма неопределенный характер, и факты, так сказать, изложены с чисто журнальной точки зрения. Не названы фамилии очевидцев, нет географических координат, змей называется то питоном, то удавом, что далеко не одно и то же, не указано зоологическое название животного. Отсутствует даже подпись в конце статьи. Все это, конечно, сильно снижает достоверность присланного вами интереснейшего материала.

Таким образом, я был бы благодарен вам, дорогой партайгеноссе, если бы вы пополнили эти сведения. Поверьте, я понимаю, в каких условиях вам приходится работать, и, однако, не ошибусь, если заверю, что фюрер весьма заинтересован в получении как можно более подробных сведений об этом русском феномене. Ваша милая супруга... Остаюсь с лучшими пожеланиями..."

— Вот дьявол, — выругался консул, когда прочитал письмо. — Откуда же я достану фамилии-то?

Он вызвал секретаршу и показал ей письмо.

— Ну, что ж будем теперь делать? — спросил он. — Накликал на свою шею, а?

Секретарша быстро пробежала письмо и сказала:

— А вот прочтите, — и подала номер "Вечерней Алма-Аты".

"Еще об одном индийском госте" — называлась статья на первой полосе. Консул стал читать и увидел, что это как раз то, о чем его спрашивали. Были имена, был назван колхоз — "Горный гигант", 6-я бригада, было обозначено место, где все произошло, — 8 километров от города в сторону кирпичного завода, была фамилия — Потапов Иван Семенович, консул сразу же занес ее в блокнот. Так звался, значит, тот дурак, который стрелял в удава и промахнулся. Далее сообщалось, что работающая в горах экспедиция Центрального музея, руководимая ученым-хранителем (фамилия) и археологом (фамилия), включила в план своих работ проверку всех сообщений. Если они окажутся достоверными, работники экспедиции намерены принять участие в облаве на животного.

"Наиболее интересным, — говорилось в статье, — является вопрос, как удав провел зиму. Мнения об этом резко расходятся. Так, профессор (такой-то) предполагает, что в горах имеются пещеры, где в течение года держится постоянная температура. Указания на такую пещеру имеются. Так, в 1913 году один из охотников, преследуя подранка (тура), обнаружил такую пещеру, зашел в нее, заблудился и проблуждал три дня. Вышел он за десять верст от того места, куда вошел. Однако в настоящее время месторасположение этой пещеры неизвестно. Об этом, конечно, следует только пожалеть".

Под статьей стояла подпись: "Никс".

— Ну вот, — видите, — сказал консул облегченно. — Это и все, что требуется. Вы гений, Герта. Сегодня же пошлем авиапочтой.

— Авиапочтой? — удивилась она.

Он взял ножницы и тщательно вырезал статью.

— Ну а что? — спросил он. — Обыкновенная газетная вырезка, пусть цензируют!

— Адрес? — спросила секретарша.

— Да! Вот адрес какой же? — задумался на минуту консул. — Ну, надо что-нибудь нейтральное. — Он подумал еще и решил: — Пошлите на имя моей жены. Положите мне на стол заклеенный конверт, я надпишу его. И надо будет сделать перевод статьи. Займитесь этим!

Секретарша посмотрела на него и улыбнулась.

— Положить вам заклеенный конверт? — спросила она, нажимая на каждое слово.

— Да, ответил он сухо, не принимая ее иронии, — положить мне заклеенный, именно заклеенный конверт. И, пожалуйста, скорее.

* * *

Секретарь шефа снял трубку и четко отрапортовал свое имя и звание и сейчас же заулыбался и закивал.

— Здравствуйте, фрау... — сказал он. — Сейчас соединю вас, фрау... Шеф только что приехал. Одну минуточку, фрау...

Шеф лежал на диване (опять заныла нога) и читал докладную записку со всеми приложениями и морщился. И какая, собственно говоря, это была докладная записка? Ему прислали приказ, не подлежащий обсуждению. Значит, все это ненужная писанина, просто-напросто следствие канцелярского мышления двух или трех высокопоставленных чиновников страны. Впрочем, может быть, это было и того хуже. Фюрер просто-напросто брал его в советчики. Вот эта мысль бесила его больше всего... Ведь вот он же не

заставляет за себя отвечать других. Все его решения, определения, акты имеют только одну подпись — его подпись. Конечно, он согласен со всем, что исходит от фюрера. Тот сделан из теста, из которого пекутся вожди. У этого человека есть настоящая последовательность, точное знание того, что он хочет. Он не подвержен колебаниям, у него нет личной жизни. А так как она существует у каждого из них, его сподвижников, то вполне естественно, что он-то полководец, а они его солдаты. И единственное, что требует от них полководец, — это верность, — рассуждать они не должны. Но если бы даже произошло такое чудо и он вдруг начал бы думать и не согласился бы с этим распоряжением, чтоб он мог сделать тогда? Попытаться отговорить фюрера? Но это бесполезно. Дезертировать? Но это значит положить голову под топор. Одним словом, какое имеет значение его согласие и какому дьяволу оно потребовалось? "Я бы никогда не смог стать членом вашей партии, — сказал ему заключенный 48100, о котором он вспоминает все чаще и чаще, — я часто колеблюсь и сомневаюсь, а вы все и для всех уже решили. Как я могу взять на свою ответственность судьбы мира, если в свое время и не смог решить судьбу любимой женщины. Она вышла замуж за вашего судью".

Вот тогда он и сказал ему: "Кстати, о судьбе. Сейчас к вам зайдет один наш судья. Не откровенничайте с ним, у него не тот чин. Поняли?" И 48100 улыбнулся и ответил: "Да, полностью".

Зазвонил телефон. Шеф снял трубку. "Слушаю", — сказал он недовольно и услышал ее голос. Тогда он сел и продолжал слушать сидя.

— Я ничего не понимаю, — весело сказала она. — Мой супруг прислал мне из Новосибирска какую-то газетную вырезку с переводом, очевидно, для тебя. Какая-то мудрость — про сбежавшего удава. В середине статьи рисунок — яблоня, обвитая змеей.

— А-а, — засмеялся он, — райская жизнь в колхозе. А Евы нет?

— Есть, — ответила она. — На ней платочек и юбочка. Она уронила корзину с яблоками.

— Плохая же она Ева, — покачал он головой, на что-то намекая. — Наши Евы удавов не боятся, а?

Они оба немного посмеялись над тем, что немецкая Ева удава не боится.

— Так как, — спросила она, — ты пришлешь кого-нибудь или подождешь меня?

— А что, — спросил он, — не так скоро думаешь осчастливить меня своим посещением?

Вошел адъютант с какой-то папкой в руке. Шеф недовольно махнул рукой, и он исчез.

— Сегодня, во всяком случае, нет, — сказала она. — Кроме всего прочего, у меня поздно кончается спектакль.

— Оставь все прочее в покое, — усмехнулся он. — Ты же знаешь, что оно никогда нам не мешало быть счастливыми.

— Но тогда только ночью, — согласилась она. — Примерно в час или два, после спектакля. Захватить удава?

— Захватывай, Ева.

— До свидания, Удав.

— Ну, ну, — прикрикнул он на нее, — только без имен. Жду! — Он положил телефонную трубку на рычаг и нажал кнопку звонка. Адъютант вошел с папкой и остановился, неуверенно глядя на шефа.

— Ну что у вас? — спросил шеф брюзгливо. Адъютант открыл было рот. — Ладно, идите сюда! — Он выхватил бумагу, бегло взглянул на нее, отбросил на диван.

— Слушайте, Мюллер, — сказал он тяжело. — Неужели мне с вами действительно придется ссориться? Почему вы меня не слушаетесь?

— Я, господин шеф, — начал адъютант...

— Нет, нет, вы совершенно меня не слушаете. Я уж вам сказал, что все подобные бумаги пересылать в подотдел, а не мне. И тем более вот такие! — Он слегка кивнул головой на валяющийся пакет. — Лад-

но, принесите сургуч, — приказал он коротко и начал подбирать с дивана разбросанные листы. Потом аккуратно сложил их вдвое, засунул в конверт и зажег сургуч. Сразу потянуло смолой и лесом. Шеф ляпнул несколько больших киноварных капель на конверт, потом втиснул в них печать и подал запечатанный конверт адъютанту.

— В мой личный архив! — приказал он. — И вызовите машину, поеду домой. Никаких бумаг не посылать, ни с кем не соединять. Меня нет. И вообще идите домой, сегодня вы уже мне больше не потребуетесь.

* * *

Она приехала только в третьем часу. Он сидел на диване и осматривал свои охотничьи ружья. Несколько пустых футляров лежало рядом, а он вертел в руках короткий английский винчестер с желтовато-белым прикладом.

— Здравствуйте, — сказал он, обретая в ее присутствии свой постоянный тон, добродушный и ворчливый. — Что так поздно?

— Никак нельзя было раньше, питончик, — сказала она ласково. — Опять ругались с директором. А ты?

— Да вот видишь — осматриваю свое хозяйство. Март не за горами.

— И куда поедешь? — спросила она.

— Да куда-нибудь туда, — он махнул на восток. — Туда, поближе к твоему мужу и его новым хозяевам. В Польшу или Литву.

Она, сидя рядом с ним на диване, вынула из сумочки конверт и подала ему.

— Читай про своего удава, — сказала она.

И тут он бросил ружье, и ловко обнял ее.

— Удав, — сказала она, смеясь, — ты меня не задушишь, удав? И что я с тобой связалась, удав? Зачем?

— Хм, — сказал он, вставая и садясь, — в самом деле, зачем, а? Зачем я тебе нужен? Просто не понимаю! — Он заглянул в вырезку. — Вот, значит, Ева, а вот удав. Ладно, прочту завтра. Так он в самом деле ничего тебе не написал? Странно! — Он задумался на секунду. — Ну как — интересная история, — спросил он, — прочла?

— Чепуха какая-то, — небрежно воскликнула она. — Бог знает, что тебя заинтересовало!

— Дорогая моя, — сказал он ласково, — это не чепуха! Я запрашивал твоего мужа об этом удаве специально по желанию фюрера.

Она удивленно посмотрела на него и перестала улыбаться.

— Фюрера? Ты мне что-то не то говоришь. Или я совсем дура и ничего не понимаю, или тут у вас есть... — Она не договорила.

— Агентура, шифр? Нет, это не шифр, — сказал он. — Такой организации и таких людей у нас там, к сожалению, не имеется. Удав есть удав. Но, видишь ли, в то же время он не только удав, он еще и символ, и предзнаменование, и психологический флюид, слетевший на фюрера. А фюрер верит в сверхчувственное...

Она смотрела на него все с большим и большим изумлением.

— И ты тоже веришь в сверхчувственное? — спросила она ошалело. Тут он нагнулся и обнял ее.

— Нет, Ева, я верю только в чувственное, — сказал он. — В тебя, Ева.

* * *

Через полчаса из другой комнаты она спросила его:

— Ну, ладно, а что ж тогда этот удав как символ?

Она стояла перед зеркалом и закалывала волосы. Он, умиротворенный, распаренный, подобревший, сидел на диване и опять возился с винчестером.

— Ты все слишком буквально понимаешь, — продолжил он. — Никто никакого влияния на фюрера иметь не может. Понимаешь? Никто! Ни ты, Ева, ни я, удав, ни этот удав в Алма-Ате, ни белая дама Гогенцоллернов — никто! Но фюрер принял рассказ об этом сибирском удаве как какое-то очень знаменательное совпадение. До этого шел разговор о русской зиме и гибели наполеоновской армии в русских снегах. И вот кто-то сказал, что это и есть навязчивая идея русских: поднявший меч на русскую землю погибнет от русского мороза. Кто-то другой вспомнил, что имеется подобный рассказ какого-то русского писателя: иноземные гады гибнут от русского мороза. Но ведь удав не погиб, а выжил. Фюреру это совпадение показалось весьма знаменательным. А в предзнаменование и приметы фюрер свято верит. — Он отбросил винчестер и заключил: — Так что, сам того не зная, твой муж мне оказал порядочную услугу.

— Я могу об этом ему написать? — спросила она.

Он усмехнулся.

— А вы переписываетесь?

— Слушай, — спросила она, — питончик, почему ты такой бестактный, что это, тоже свойство сверхчеловека?

Он снова усмехнулся, и на этот раз — высокопарно.

— Очевидно, это просто свойство всякого генерала. Ничем иным я свою бесцеремонность объяснить не могу. — Он подошел и погладил ее по голому плечу. — Слушай, что ты злишься, разве я не выполняю твои условия? Помнишь, что я тебе сказал в первый день? Определяй наши отношения сама. Что ты можешь мне предложить, то я и принимаю. Если вернется твой муж и ты мне скажешь ”сгинь!” — я сразу же сгину! Заплачу, конечно, но исчезну.

Она прищурилась и прикусила губу.

— Это ты-то заплачешь? — спросила она насмешливо.

— Безусловно, — весело подтвердил он. — Просто буду разливаться, как ребенок, но сгину. Перед этим, конечно, постараюсь с тобой расплатиться на прощание как следует. Вот и все.

Она все глядела на него.

— Хорошо, — сказала она. — Это время приблизилось. Я требую расплаты. Вот ты говоришь, что эта вырезка пришлась тебе очень кстати. Здесь затесался сам фюрер. Значит, ты что-то выгадал. Можешь ли ты мне устроить только одну вещь?

Он задумчиво поглядел на нее.

— Ведь ты опять заговоришь о прежнем. Это чертовски неудобно! Очень, очень неудобно! Притом он в больнице... — Он подумал еще. — Я вот даже не знаю, как обосновать свой приказ о свидании. Почему ты хочешь его видеть? Для чего немецкая женщина хочет видеть врага своего отечества? Ну-ка, скажи!

Она поглядела на него.

— Очень просто, он первый меня заметил и...

— Ах, — с отвращением отмахнулся он рукой, — три К! Вот уж действительно три К... Кюхе, кляйнер, кирхе! Говори это в кирхе своему пастору, это как раз для него. — Он вдруг встал, грубо обнял ее, так что она даже пискнула, и сказал:

— Ладно, что-нибудь придумаем. Если только обещаешь не трепаться...

* * *

Заключенный 48100 лежал в отдельной палате тюремной больницы и смотрел в окно. Он уже давно не поднимался с постели, но сиделок не терпел и все, что нужно, делал сам. Дверь в его камеру открывалась не чаще трех раз в сутки: подать, убрать, положить газеты. Но и газеты от мог читать не больше часа в сутки, затем в глазах начинало рябить, буквы оживали, копошились, ползли, как муравьи, в разные стороны. Тогда он бросал газету, ложился и за-

крывал глаза. При каждом резком повороте у него появлялось чувство высоты, полета и невесомости, кровать исчезала, он парил в воздухе. Все кончалось головокружением и дурнотой. Если же он открывал глаза, то видел, что комната плывет в сигаретном дыму, распадается слоями, как колода карт. Значит, поднималась температура, начинался бред. Бреда он боялся больше всего. В комнате начинало вдруг греметь все — поезда, груженные железом, летели под откос, кто-то лопатой подбрасывал и ловил металлический лом, и он гремел. Гудели и стонали рельсы. А через эту метель, шабаш взбесившегося железа, неслись мысли, обрывки фраз и слов. Говорил кто-то, находящийся в нем самом. Что говорил он, 48100 запомнить не мог. Но это было очень мучительно. Он метался по подушкам, разбрасывал простыни и плакал. А потом приходил день, и температура спадала, он смотрел на небо в окно. Оно стояло перед ним сплошной серой отвесной стеной, и стоило ему поглядеть на него десяток секунд, как оно, словно море, переливалось через подоконник, бесшумно подкатывалось к нему, смывало его с кровати и несло. Сразу отлетало все, оставалась только великая светлая пустота, тишина и высота. К глазку подходили люди: доктор, сестры, надзиратель. Они смотрели на вытянувшегося на кровати человека, на величественное лицо его, словно вылепленное великим скульптором — смертью, и, покачав головой или вздохнув, отходили в сторону. ”Ну, этот уж готов! — говорил надзиратель. — Уже ничего не слышит и не понимает”. Он же слышал и понимал все. Только они находились в одном мире, а он в другом. А потом наступала темнота, зажигали свет, он медленно приходил в себя и брался за газеты. Сидел на кровати и читал. В эти минуты он был опять самим собой. К нему возвращалась его точная беспощадность, глубокое понимание сути явлений в самых отдаленных последствиях. Он читал и понимал все. Понимал, как дорого обойдутся бездарной империи все ее бескров-

ные победы, как перепуган мир, как все ближе и ближе дело доходит до фунта мяса, максимально близкого сердцу. Значит, война! Мысленно он даже назначил сроки. Года два-три — самое большее. Это очень много для него. Доктор обрек его на смерть в течение месяца. Но он постарается протянуть еще годик. И одно только чувство поддерживало его. Если бы его спросили, какое, он не сумел бы ответить. До какой степени все, что происходило в нем, не соответствовало обычным человеческим понятиям. Но скорее всего это было все-таки злорадство. Но какое же бедное злорадство! Без радости, без торжества, без озарения! И все-таки это чувство он не променял бы ни на свободу, ни на здоровье, ни на славу. Таким оно делало уверенным, гордым и сильным его, так поднимало над всеми. И однажды он почувствовал это особенно ясно. Он очнулся от утреннего забытья и увидел около себя женщину. Она сидела на стуле. На ней был белый халат. Все время она ловила его взгляд. Он приподнял голову, взглянул на нее, и вдруг ее лицо увеличилось и полетело к нему, хотя они оба не двигались. Тогда он назвал ее по имени. Она кинулась было к нему, но только дотронулась до края подушки и остановилась. Он улыбнулся ей, оперся рукой о подушку, приподнялся и сел. После, когда он пробовал вспомнить, с чего начался разговор, то удивился тому, что помнил только середину.

— А ты мало переменилась, — сказал он.

— А вот видишь, — сказала она и нагнула голову. — Видишь, сколько их тут? Это с той ночи...

— Да, — сказал он невнятно. — Да, та ночь...

Опять помолчал.

— Я часто встречаю твое имя в газетах, — сказал он, придумывая, что сказать. — Ты молодец!

Она неуверенно поглядела на него.

— А ты давно получаешь газеты? — спросила она, что-то прикидывая.

— Да уж год, — ответил он.

— Значит, ты знаешь, — трудно начала она. — Что мне пришлось играть в...

— Знаю, знаю, — прервал он ее. — Ты вышла замуж, твой муж адвокат по гражданским делам.

Она кивнула головой.

— Я когда-то встречался с ним.

— Ах, вот как! — негромко воскликнула она.

Они помолчали.

— Ты не осуждаешь меня? — спросила она жалобно.

Он поглядел в ее глаза. Они уже не казались зелеными.

— Что вышла замуж-то? — спросил он громко и показал глазами на дверь. — Нет, зачем же?

— Нет, не за это, а за то, что я...

— Ну что ж, — ответил он раздумчиво. — Конечно, ты больше всего нравилась мне в Ибсене и Гауптмане. Но ведь их сейчас на ставят. Хотел бы я увидеть тебя в новой роли.

— Ты еще увидишь, — пообещала она робко.

— Да, надеюсь, — спокойно и твердо улыбнулся он. — Я ведь не преступник, я... как это у них называется? Временно изолированный, так, что ли? Кончится время, и меня выпустят.

— Ну, какой же ты умник! — воскликнула она, — я рада, что ты тоже так думаешь. Ну, конечно, конечно, они тебя выпустят. Зачем ты им?

Глаза ее снова были зелеными. Он глядел на них, на ее чисто вылепленный, не особенно высокий ясный лоб, на ямочки на щеках, которые вспыхивали и пропадали, на тонкие, все время двигающиеся губы (он всегда считал их куда более выразительными, чем ее глаза), на длинные тонкие холодные пальцы и думал, насколько он все-таки мертв! Ничего его больше не интересует! Не тянет, не мучает! Что бы он стал делать с собой, если бы очутился на воле? А она вся подобралась, сделалась уверенней и деловитей.

— Я для этого и пришла, — сказала она негромко. — Ты обязательно должен продержаться. Не из-за

себя, так из-за меня. Я люблю только тебя, и никого больше, понял? Я никогда никого не любила, кроме тебя. Понял? Никогда! Никого! Сейчас я убедилась в этом. Ты выйдешь, я это сделаю, и больше мы с тобой не расстанемся. Я никуда тебя не отпущу. Я увезу тебя к морю. Понял?!

Она вколачивала в него свою уверенность, как в стенку гвозди.

Он ласково сказал:

— Понял, понял, дорогая. Обязательно поедем, я так стосковался по морю.

— Вот ты опять мне не веришь, — сказала она тоскливо. — Слушай, я уж все сделала, я говорила с... (замялась) — ну, в общем, я говорила с одним видным человеком, и он мне обещал. Дело только в докторах. Но им тоже прикажут, и они дадут бумажку.

"Ой, дура, — подумал он. — С кем же она говорила?" Он поглядел на круглый зрачок глазка. Он был слепым и темным, им предоставляли время обо всем переговорить.

— Хорошо, дорогая, — сказал он твердо. — Я все понял. Насчет доктора — это очень умно! Я поеду с тобой, куда ты хочешь, только, пожалуйста, никогда, ни с кем обо мне не говори! Вот этот видный человек, он что — твой муж?

— Нет, это... — начала она.

— Ну, ладно, ладно, — перебил он ее. — Не надо называть имен. Стой! Слушай меня! Ты знаешь историю с Шенье? Ну, великий французский поэт! Он был приговорен к гильотине, но о нем забыли, и он сидел и ждал. И дождался бы не смерти, а свободы. Но, на беду, у него оказался любящий брат. И этот болван подал просьбу о помиловании. И тогда о Шенье вспомнили и немедленно казнили. А через день случился переворот и казнили уже судей Шенье! Доходит до тебя этот пример? Ничего не надо просить! Самое страшное у победителей — их отличная память, и вот я боюсь.

— Нет, нет! — крикнула она. — Не бойся, он большой человек! Он любит твои рассказы! Он...

— Ах, вот ты про кого, — улыбнулся 48100. — Ну, ну! Это другое дело. Ты в самом деле умница. Постой-ка. — Он осторожно оторвал ее руки, как будто для того, чтобы поцеловать их, освободился и блаженно вытянулся во весь рост.

— Ты умница, — сказал он. — Но пока больше ничего не делай. У меня есть с ним своя договоренность, вот я и боюсь, что ты испортишь дело, понимаешь? — И он подмигнул ей. Но она ничего не понимала. Она стояла над ним — высокая, стройная, зеленоглазая — такая красивая, что от нее ломило глаза. Бесконечно далекая женщина, занесенная в его камеру с Венеры или Марса, — нежданная и досадная помеха в его, в общем-то, вполне сносном существовании. Что ее привело сюда? Какого черта она снова лезет в его жизнь, где все уже решено? Любит она все-таки! Как все это ни к чему!

— Ладно, — сказал он ласково. — Расскажи мне на прощание что-нибудь хорошее. Что это мы только о делах? Ты не обидишься, если я повернусь к окну, а?

Он отвернулся от нее и сейчас же увидел небо. Было оно серебристо-серое, неясно мерцающее, как шелк парашюта. Он призывно взглянул на него: "Ну, приходи же!" И сразу же оно перешагнуло подоконник, и все в палате стало небом, светом, пустотой. Ничего он теперь не желал, ничего ему не было нужно, кроме тишины, покоя. А она все рассказывала ему что-то. И он (верно, лицо его — безошибочно отрегулированный в течение жизни механизм) отвечал на ее вопросы и обращения — то улыбкой, то гримасой, то восклицанием. Потом она вдруг встала, подошла и поцеловала его. От этого он очнулся и как-то по-новому посмотрел на нее. Целовала она его так, как никогда не целовала даже в минуты последней близости. И вдруг он вздрогнул по-живому, почувствовал боль, холод, дрожь, увидел прекрасную женщину, стоящую перед ним. Его женщину! На

веки вечные — его! До могилы и после могилы — его! Ту, которая всегда вздымала его дыбом, намагничивала, доводила до бешенства, до драки! И сразу же небо отхлынуло, померкло, и он оказался в своей камере: увидел приотворенную дверь, зеленые стены коридора, начальника тюрьмы в мундире с блестящими пуговицами, понял, что свидание кончилось, что она сейчас уйдет. Он встал перед ней на колени на кровати и глядел на нее блестящими, совсем живыми, осмысленными глазами.

— Милая, — сказал он, — милая ты моя!

Она вдруг всхлипнула навзрыд, прижала его к себе, ее лицо вдавилось в его лицо, а зубы в зубы, и он услышал ее дыхание. Затем пронзающая острота укола, смешанная с запахом ее тела, со вкусом ее крови. С каким-то гигантским снопом света, который как будто взорвался перед его глазами и ослепил его. (Это был не свет, конечно, но иначе он не мог бы передать то, что с ним произошло.) И не успел он опомниться, как она ушла, и дверь захлопнулась. Но теперь в палате не было уже тишины, теперь все грохотало, как железнодорожная станция: снова под гору неслись поезда, груженные железом, снова громыхал железный лист, и через все это он услышал, как, свистя, ухает кровь, увидел багровое пятно на стене. Оно прыгало, как солнечный зайчик. Это билось сердце, и он видел его.

Был вечер, закатывалось солнце, на стуле стоял его обед. Он поднялся и сел, и долго просидел так, присматриваясь к своим коленям и качая обезьяньей волосатой ногой. На ней был выколот удав, душащий обнаженного мужчину.

Так десять лет назад, в горькую минуту последней, как ему казалось, ссоры с ней, он изобразил их отношения.

КОММЕНТАРИИ

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ

Роман начат Юрием Домбровским в Алма-Ате летом 1961 года. Три года спустя опубликован в журнале "Новый мир". Сразу же после публикации Юрий Осипович получил много читательских писем.

Отдельное издание романа вышло в 1966 году.

"Проскочил чудом, еще немного, и вообще не прошел бы!" — отмечали позже критики: хрущевская оттепель кончилась.

На роман в те времена в советской печати появилась одна-единственная рецензия — Игоря Золотусского в "Сибирских огнях". Зато "Хранитель древностей" сразу же был переведен на многие языки — венгерский, итальянский, болгарский, французский.

За границей роман получил много положительных откликов. Очень радовал Юрия Домбровского отзыв Георгия Адамовича:

"...надо надеяться, что в тени Домбровский останется недолго. Это — замечательный писатель, умный, зоркий, душевно-отзывчивый и живой, правдивый, очень много знающий и с большим жизненным опытом. Кто прочтет его книгу "Хранитель древностей", у того не может возникнуть сомнений в его даровитости, при этом не только литературной, но и общей, не поддающейся узкому отдельному определению".

На фоне глухого молчания советской печати зарубежные издания и отзывы были существенной поддержкой для писателя.

Ни в журнальном, ни в первом издании "Хранителя древностей" не было ни эпиграфа, ни посвящения.

Эпиграф (слова из Тацита) был написан на подаренном мне Юрием Опиповичем отдельном оттиске журнального издания "Хранителя древностей". Позже, в изданиях 1989 и 1990 годов, он приводится.

Посвящение моему отцу было написано к готовящемуся изданию ''Хранителя'' в 1969 году. Оно было послано издателю и редактору, но времена пошли другие: Юрия Домбровского печатать перестали.

Моего отца Юрий Осипович не знал, но его трогала и не оставляла равнодушным гибель его в самый первый день войны. У мамы, как у многих вдов того времени, была стереотипная справка ''пропал без вести'', и мы ничего не знали о судьбе отца. Но в середине 60-х годов вышли мемуары генерала Л. М. Сандалова ''Пережитое'', где был портрет отца и подробно рассказывалось о первом дне войны и ее жертвах. Юрий Осипович сразу прислал нам с мамой эту книгу.

В 1990 году вышли воспоминания редактора Павла Косенко ''Письма друга или Щедрый хранитель'', где он цитирует посвящение Юрия Осиповича.

ИЗ ЗАПИСОК ЗЫБИНА

У этого не вошедшего по цензурным соображениям в журнальный вариант отрывка из романа ''Хранитель древностей'' есть еще одно название — ''Баня''.

Как ни болезненно было для Юрия Осиповича его изъятие, он понимал, что редактор А. С. Берзер спасает роман и делает все, чтобы тот ''прошел''. Вот потому продолжение ''Хранителя древностей'' — ''Факультет ненужных вещей'' — он посвятил Анне Самойловне.

ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО КОНСУЛА

Сначала ''История немецкого консула'' была одной из глав ''Хранителя древностей''. В окончательный текст однако не вошла.

''Эти сто пятьдесят страниц, вероятно, тормозят течение рассказа'', — писал Ю. Домбровский П. Косенко.

Впервые опубликовано в № 72 журнала ''Континент'' в 1992 году.

К. Турумова-Домбровская

СОДЕРЖАНИЕ

Домбровский Ю. О.

Д66 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4.: Роман "Хранитель древностей"; Приложение; Комментарии / Ред.-сост. К. Турумова-Домбровская. Худ. В. Виноградов. – М.: ТЕРРА, 1993. – 400 с.

ISBN 5-85255-262-3 (т. 4)
ISBN 5-85255-173-2

Четвертый том собрания сочинений Юрия Домбровского составили роман "Хранитель древностей" и фрагменты из него, в первых изданиях по цензурным соображениям не печатавшиеся.

Д $\frac{4702010200\text{-}010}{А30(03)\text{-}93}$ Подписное

ББК 84. Р7

Юрий Осипович
Домбровский

Собрание сочинений

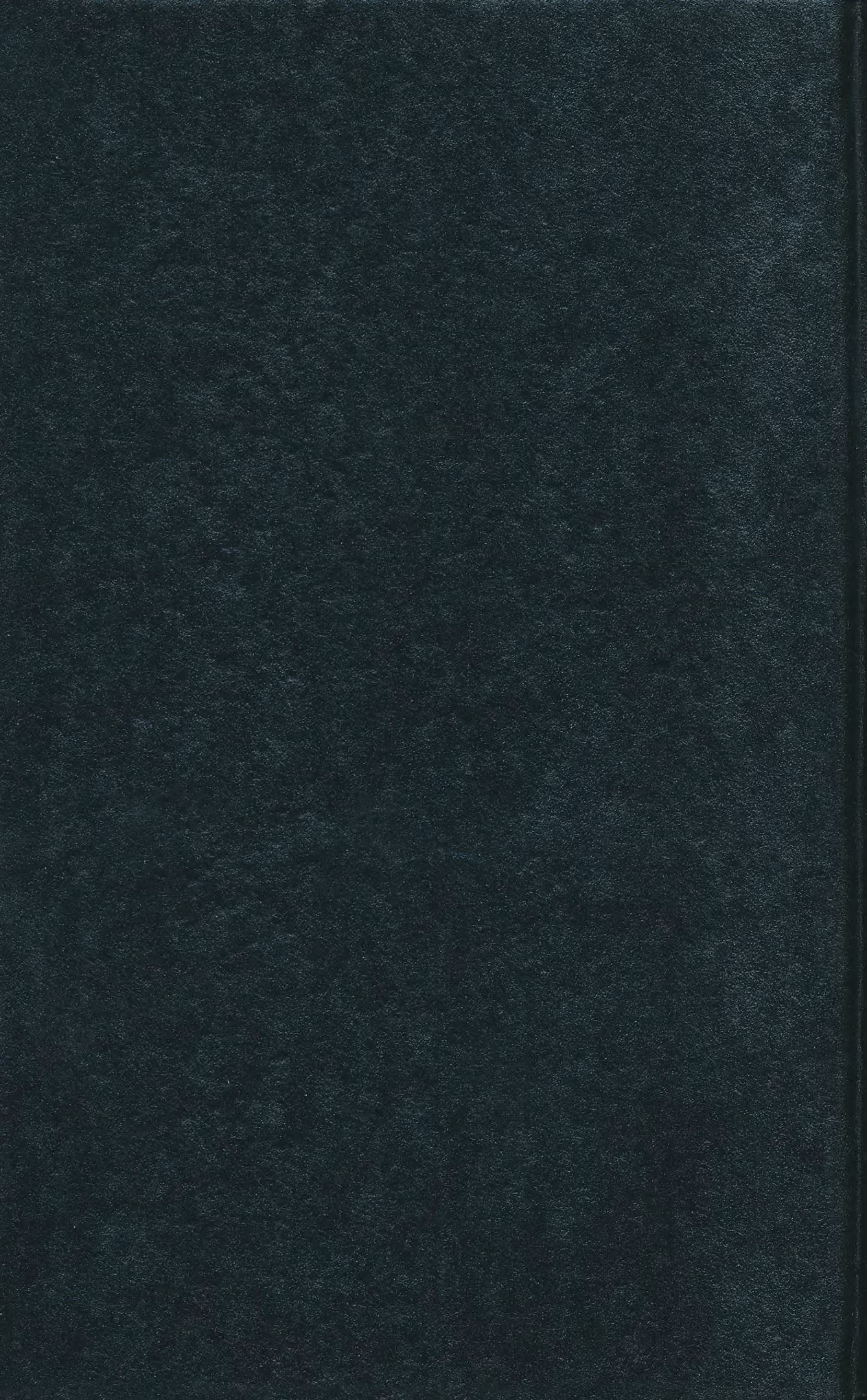
Том четвертый

Редактор *М. Т. Латышев*
Художественный редактор *И. Е. Сайко*
Технический редактор *З. А. Прусакова*
Корректор *А. В. Пятковская*
Набор выполнен МП "Зодиак"
Операторы набора *Н. Н. Калинина, О. А. Шеховцова*

Подписано в печать 30.11.92. Формат 84x108 1/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. л. 19,4.
Тираж 25 000 экз. Заказ 166.

Издательский центр "ТЕРРА".
109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано с оригинал-макета на Можайском полиграфкомбинате
Министерства печати и информации Российской Федерации,
143200, Можайск, ул. Мира, 93.





издательский центр
«Терра»

издательский центр
«Терра»



Юрий Домбровский





Юрий Домбровский

собрание сочинений
в шести томах

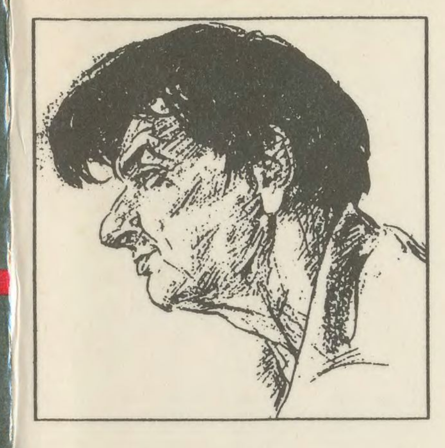
том четвертый

5 6 * * *

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ

роман

издательский центр
«Терра»



А разве быть
талантливым
само по себе уже
не величайшая удача?
Разве вообще может
что-нибудь заменить
художнику радость
общения с сотнями
зрителей?

"Гонцы"
Юрий Домбровский